Новый Журнал

164

THE NEW REVIEW

Основатели М. Алданов и М. Цетлин — 1942
С 1946 по 1959 редактор М. Карпович
С 1959 по 1966 редакция: Р. Гуль, Ю. Деникe, Н. Тимашев
С 1966 по 1975 редактор Роман Гуль
С 1975 по 1976 редакция: Р. Гуль (главный редактор), Г. Андреев, Л. Ржевский
1978-1981 г.г. редактор Роман Гуль
1981-1983 г.г. редакция: Роман Гуль (гл. редактор), Е. Магеровский
1984-1986 г.г. редакция: Роман Гуль (гл. редактор), Ю. Кашкаров, Е. Магеровский
1986 г. Ю. Кашкаров

Сорок пятый год издания

Кн. 164 НЬЮ ЙОРК 1986

РЕДАКТОР
ЮРИЙ КАШКАРОВ
Ответственный секретарь:
Зоя ЮРЬЕВА
Секретарь редакции:
Ксения РАДЫШ

Обложка работы Мстислава Добужинского

Присланные рукописи не возвращаются
и в переписку по их поводу редакция не вступает

THE NEW REVIEW, JUNE 1986

© THE NEW REVIEW

NEW REVIEW (ISSN 0029-5337) is published quarterly by New Review Inc., 2700 Broadway, New York, N.Y. 10025. Second Class postage paid at New York, N.Y. Publication No 596680. POSTMASTER: Send address changes to the New Review, 2700 Broadway, New York, N.Y. 10025.

TYPESETTING BY
ANY PHOTOTYPE Inc.
NEW YORK

СОДЕРЖАНИЕ

Памяти Романа Борисовича Гуля: *В. Пирожкова, Б. Филиппов, Е. Магеровский* 7

Р. Гуль — Моя биография 14

Р. Гуль — Отрочество 33

Р. Гуль — Ледяной Поход 44

Р. Гуль — Из книги «Жизнь на фукса» 65

Р. Гуль — Из книги «В рассеяньи сущие» 76

Р. Гуль — Из книги «Тухачевский. Красный маршал» 80

Из продиктованного Р. Гулем в последние месяцы его жизни . . 88

В. Перелешин — Еще о красоте. Стихи 89

С. Петрунис — Стихи 90

В. Митин — Стихи 92

А, Ровнер — Посмертие 94

И. Чиннов — Стихи 100

Л. Кузнецова — Стихи 101

Ю. Кашкаров — East-West 102

Е. Таубер— Стихи 139

ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ

П. Милюков — Проект манифеста об отречении Николая II. Публикация *Ю. Фельштинского* 140

«Что дали большевики народу». Брошюра партии эсеров. 1921 г. 143

Н. В. Устрялов — Из письма. Публикация игум. *Г. Эйкаловича* 161

Переписка *Светланы Аллилуевой* и *Ольги и Романа Гуля* 167

ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА

Игумен Геннадий Эйкалович. Родословная Софии 196
Ю. Фельштинский. Политика советского правительства по отношению к югославским интернационалистам. 1917-1918 гг. 230

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ

А. Шифрин — Об ухудшении положения заключенных в СССР и об усилении преследования инакомыслящих; *А. Лебедев* — Мои встречи с Рудольфом Штейнером 256

БИБЛИОГРАФИЯ

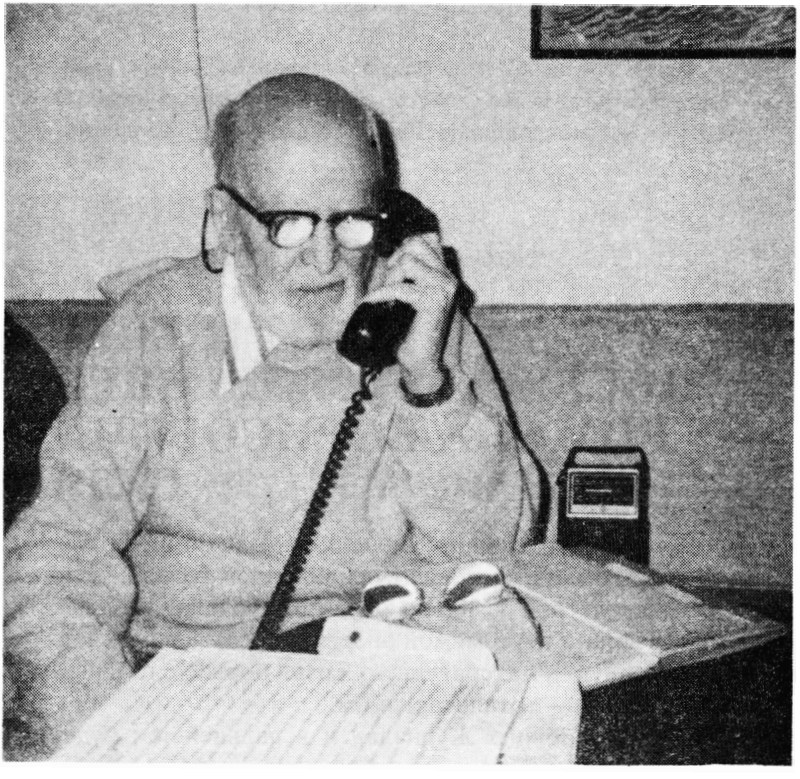
С. Шуйский — P. A. Florensky. Mnimosti v geometrii; В. Завалишин — Книга о лирике Сергея Клычкова; *Э. Штейн* — В безбрежном море зарубежной поэзии; *Э. Штейн* — Русская поэтесса Ольга Капабланка; *В. Нечаев* — Русские художники на Западе; *Т. Фесенко* — Нонна Белавина. Стихи ... 269

ЭТОТ НОМЕР ПОСВЯЩАЕТСЯ ПАМЯТИ РОМАНА БОРИСОВИЧА ГУЛЯ

После продолжительной тяжелой болезни 30 июня 1986 года умер Роман Борисович Гуль, большой русский писатель, многолетний редактор «Нового Журнала», человек сильной воли и неутомимой энергии, посвятивший свою общественную и литературную жизнь борьбе с главным злом XX века — тоталитаризмом.

Редакция «Нового Журнала» и в дальнейшем будет следовать заветам основателей журнала — М. А. Алданова, М. О. Цетлина и их преемников — М. М. Карповича и Р. Б. Гуля, придерживаясь принципа самой широкой терпимости ко всякому инакомыслию — политическому, мировоззренческому, к разным литературным направлениям, вкусам, школам. Единственно кому не будет места на страницах «Нового Журнала» — старейшего русского журнала заграницей, — это сторонникам тоталитарных идеологий, как правых, так и левых, а также тем оппортунистам всех мастей, для которых политика, общественная и литературная деятельность — лишь средство в достижении их мелких честолюбивых целей.

Юрий Кашкаров



(Р. Б. ГУЛЬ 8.I.1986 † 30.VI.1986)

Редакция «Нового Журнала» выражает глубокую благодарность всем, приславшим свои соболезнования в связи с кончиной Р. Б. Гуля.

ПАМЯТИ РОМАНА БОРИСОВИЧА ГУЛЯ

Ушел от нас Роман Борисович, и сразу возникло чувство осиротения. Патриарх русской литературы в Зарубежье, последний крупный писатель и редактор первой эмиграции.

Два номера тому назад мы отмечали 90-летие Романа Борисовича, и вот его нет среди нас. Он достиг возраста, которого достигает далеко не каждый, и тем не менее хотелось бы, чтобы он жил и работал дальше. Дай Бог, чтобы «Новый Журнал», перенятый им от его основателей и ведомый столь удачно много лет, не прекратил своего существования и не сбился бы с того *прямого и ясного антикоммунистического пути*, которым вел его Р. Б. Гуль.

Мы ожидаем обещанного посмертного выхода в свет третьего тома воспоминаний Р. Б. Гуля «Я унес Россию». Слава Богу, он сумел закончить свой труд, который он начал очень поздно. Это — ценнейшие книги, за которые эмиграция, пока она существует, должна быть ему глубоко благодарна. А тогда, когда в эмиграции уже не будет нужды, т.к. Россия станет свободной, — мы верим, что однажды наступит это время, — Роману Борисовичу будет благодарна свободная Россия. По этим книгам она будет изучать ту Россию, которую унесли с собой русские, вынужденно покидая свою родину.

Трудно через несколько месяцев писать о том же самом человеке еще что-то другое, тем более, что написанное к 90-летию Романа Борисовича вылилось из души. Поэтому да простят мне, если я повторю некоторые места из того, что писала к 90-

летию Гуля. Мне они кажутся настолько важными, что не беда, если они будут повторены.

Нам уже приходилось отмечать, что через воспоминания Р. Гуля — а к ним относятся и романы «Конь рыжий» и «Ледяной поход» — красной нитью проходит неудержимое стремление к свободе и чувство независимой личности.

Он принимал свои решения так, как считал нужным. Можно с ним соглашаться или нет — в одном случае приветствовать его решение, в другом, может быть, и нет — это тоже дело каждого, но при всех обстоятельствах Р. Б. Гуль *не шел с толпой и за толпой*, а решал так, как он считал правильным. И если позже замечал ошибку, то и тут *имел внутреннюю свободу в ней сознаться*. Это дано очень немногим. Покойный юбиляр отказался от того, чтобы жертвовать своей свободой и человеческим достоинством, если его народ имел несчастье попасть под ярмо тоталитарной диктатуры, пытающейся задавить в человеке все высокое, *его дух*. Почему нужно, непременно вместе с народом, который к этому насильно и жестоко принуждают, клонить голову, если можно унести Россию с собой на свободу, сохранить ее в памяти такой, какой ее хотелось бы видеть, и не держать язык за зубами; если можно на свободе говорить полным голосом?

Вот поэтому Р. Б. Гуль и назвал свои воспоминания в — подзаголовке — апологией эмиграции. Мы вполне присоединяемся к нему и несем, как эмигранты, выбравшие свободу и унесшие Россию с собой, голову высоко поднятой в противовес всем тем, кто хотел бы эмиграцию унизить или представить ее не имеющей никакого значения. Если бы она была такой, не старалось ли бы советское правительство, имеющее огромную мощь в руках, ее разложить, унизить — уничтожить антикоммунистическую эмиграцию? Не дело нам самим, эмигрантам, помогать этим усилиям врага нашего народа и нашей родины. Нет, *мы присоединяемся к апологии эмиграции Р. Б. Гуля!*

«Жадный до людей», зоркий и умеющий схватывать типы, ситуации, атмосферу, умеющий вживаться в те времена и типы, которых сам он не пережил, Р. Б. Гуль подарил нам ряд замечательных романов об исторических личностях, раскрывая характеры, судьбы и то историческое время, в которое они жили

и действовали, судьбоносное время. Достаточно назвать такие романы, как «Азеф», «Дзержинский», «Бакунин» и другие. В них соблюдена историческая точность, но история живет и захватывает нас, разъясняя нам, родившимся после, то, от чего оказалась зависящей и наша судьба и наша жизнь. Мы, эмиграция второго призыва, должны были снова решать вопрос: свобода или родина — так же, как и все предыдущие эмигранты — именно потому, что тогда — да, еще со времени Бакунина — завязался тот узел, который нас, следовавших за факелом свободы, вывел в эмиграцию.

И в этой эмиграции одним из ее деятельнейших членов и талантливейших литераторов и публицистов был покойный Роман Борисович.

Меня лично связывала с ним настоящая дружба. Когда я была в 1982 г. последний раз в Нью-Йорке, Роман Борисович, прощаясь со мной, сказал: «Это уже наша последняя встреча». К сожалению, он оказался прав. За последние четыре года я не собралась в США.

Роман Борисович был верующим православным христианином, толерантным к верованиям других. Господь принял его душу, а мы, пока мы еще здесь, на земле, его не забудем.

В. Пирожкова

*
* *

Умер Роман Борисович Гуль. Писатель, журналист, редактор-издатель «Народной Правды», главный редактор «Нового Журнала», общественно-политический деятель, основатель недолговечного (пятидесятые годы), но своеобразного и оказавшего влияние на ряд литераторов и публицистов *неонароднического движения,* летописец русской эмиграции в последние годы своей жизни.

В Гуле всегда боролись, временами оттесняя друг друга, сухой поневоле (разве охватишь все факты!) документалист-историограф и художник, сочно и ярко рисовавший людей, встреченных на жизненном пути: добродушного немецкого деревенского жандарма, в конце концов погибшего в гитлеровском

концлагере; хитрого и жадного гасконского мужика, старого, со слезящимися глазами и каплей в носу, но — работягу, циника и острослова, любителя выпить и закусить, особенно на чужой счет; офицера-корниловца; грузинского князя, на привалах лихо отплясывавшего лезгинку и воевавшего в лютую стужу Ледяного похода.

Хорошо и четко нарисованы Гулем в его первой замечательной книге «Ледяной Поход» тыловые крысы деникинской армии, а в «Коне Рыжем» — подтянутые и дисциплинированные садисты-гестаповцы, пыточных дел мастера.

Гуль всегда был неуемно любознательным: его кровно интересует всякий встреченный на его жизненном пути человек; он замечает и крепко запоминает любое явление, свидетелем которого был. Советские и эмигрантские литераторы и артисты, «осколки разбитой вдребезги» русской интеллигенции, театры и печать русского зарубежья, ночные таксисты-бывшие полковники и генералы. Весь этот люд живет и в его художественной мемуарной прозе, и в его летописных хрониках.

В них и Беседовский, один из первых перебежчиков, акробатически перескочивший забор советского посольства в Париже, а затем промышлявший сочинением бойко раскупавшихся «воспоминаний» якобы знатнейших советских вождей. Фальшивки вскоре обличались эмигрантскими правдолюбами, но Беседовский строчил уже новую исповедь нового советского вождя.

Гуль — автор документальных повестей о Бакунине, Азефе, о Дзержинском, Менжинском, о советских маршалах. Его портреты даже таких мерзких чудовищ, как Азеф, ярче, чем портреты террориста-истерика Савинкова и ему подобных. У мерзавцев-жизнелюбов есть какая-то сила, а у мозгляков и неврастеников-палачей типа Дзержинского, Менжинского и им подобных — склизкий и сладострастный садизм. Менжинский, польский дворянин, весь прогнивший от дурных хвороб, лежит — бессильный и неподвижный — на диване и допрашивает, издеваясь и наслаждаясь муками подследственного, зачастую кого-то из своих же бывших сотоварищей.

Мне вспоминается чтение Романа Борисовича в лагере ДиПи «Шляйсхайм» близ Мюнхена в июне 1949 года. Перед большой аудиторией «перемещенных лиц» Гуль читал отрывки из

своего романа об Азефе и Савинкове «Генерал Бо». Аудитория была самая разношерстная: от белградских зубров-монархистов до вчерашних комсомольцев послевоенной эмиграции. Среди слушателей вспоминаю писателей и поэтов как первой, так и второй эмиграции: Ивана Елагина и Ольгу Анстей, Бориса Нарциссова и Ирину Бушман, Геннадия Панина и Евгения Тверского, и еще многих других. Вся аудитория была захвачена как самим повествованием, так и самой манерой гулевского чтения: читал он просто, но выразительно. Говор его был каким-то великорусски-круглым, необычайно подходившим к характеру «Генерала Бо».

А после чтения была беседа, много вопросов, часто и не по существу. Роман Борисович терпеливо отвечал решительно на все вопросы. Это была, кажется, первая встреча Гуля с тогда еще «новой» «второй» эмиграцией. Очень многие из нас, литераторов «второй» волны эмиграции, стали после этой встречи деятельными сотрудниками «Народной Правды» Романа Гуля.

Так и видится он мне — бодрый, энергичный, жизнерадостный. И в Мюнхене, и уже в Нью-Йорке — в его квартире на 113-й улице.

Собрание неонародников. Гуль о чем-то спорит с Александром Федоровичем Керенским. Жена Романа Борисовича, Ольга Андреевна, спокойно и деликатно старается умиротворить спорящих. Керенский, только минуту назад стоявший в непреклонной наполеоновской позе, сникает, улыбается и миролюбиво садится около Романа Борисовича.

Так и видится он мне живым, Роман Борисович, жизнестойкий во всех передрягах нелегкой эмигрантской жизни, всегда занятый работой. И как-то трудно представить, что его уже нет.

Борис Филиппов

*
* *

Ушел от нас на 91-м году жизни Роман Борисович Гуль — один из последних, если не действительно последний из той плеяды колоритных творческих деятелей, которыми была насыщена т.н. «первая волна».

Роман Гуль соединял в себе ряд качеств, которые делали его необыкновенным человеком. Начал он жизнь, как сам описывал в «Коне Рыжем» и других автобиографических произведениях, в патриархальном, традиционном быту, в семье пензенского губернского предводителя дворянства, внуком которого он был. После окончания пензенской гимназии поступил в университет, на юридический факультет, а затем в школу прапорщиков, откуда в начале Первой мировой войны отправился на фронт.

Отвоевав и не приняв большевистского режима, Гуль присоединился к Добровольческой армии и с нею совершил знаменитый Ледяной поход. Увиденное и испытанное им в трагические, судьбоносные месяцы Ледяного похода вызвало у Гуля чувство острого морального неудовлетворения. Гуль решил для себя, что ни с белыми, ни с красными ему не по пути.

Пережив ужасающий эпизод «сидения» в Педагогическом музее в Киеве, Гуль чудом сумел эвакуироваться с уходящими немецкими войсками. Он попал в Германию, где начался следующий отрезок его жизни, в котором обнаружился и расцвел его литературный талант. Начав с работы дровосека (физический труд на лоне природы — важный и повторяющийся момент в биографии Гуля), он быстро освоился в литературно-журналистском мире русского Берлина, главнейшего заграничного центра русской эмигрантской культуры начала 20-х гг.

Художественная литература на автобиографической, а затем — биографической основе становится главной темой творчества.

Литературная работа, сотрудничество в ряде русских газет и журналов в Берлине, встречи и дружба с рядом будущих советских русских писателей-возвращенцев, таких, как Алексей Толстой, «сменовеховцев» и просто «советских» писателей-оборотней типа Константина Федина — обогатили жизненный и творческий опыт Р. Б. Гуля в годы его пребывания в Берлине. С приходом к власти нацистов в 1933 г. Р. Гуль был посажен в первый гитлеровский концентрационный лагерь Ораниенбург, откуда ему удалось, буквально чудом, вырваться и после долгих мытарств переехать во Францию.

Жизнь во Франции — следующий этап биографии Р. Б. Гуля, описанный им во втором томе автобиографической трилогии «Я

унес Россию». Как и в Берлине. Р. Б. быстро вошел в русскую литературную жизнь; Париж 30-х гг. нельзя было сравнить с Берлином начала 20-х годов, где русская культурная жизнь, по ряду свидетельств, била ключом.

В Париже Р. Б. Гуль вступил в русскую масонскую ложу, что вызвало большое недовольство среди тех русских за рубежом, которые усматривали в «свободных каменщиках» организацию, «погубившую Россию».

Предвоенное и военное время Р. Б. Гуль провел с семьей на юге Франции, вблизи от Нерака и Вианна, на ферме.

По окончании войны Р. Б. Гуль возвращается к политической и журналистской деятельности в Париже. В начале 1950-х годов он с женой, Ольгой Андреевной, переезжает в Нью-Йорк. В Нью-Йорке прошла последняя четверть его творческой жизни. Здесь Гуль участвует в ряде антибольшевистских политических начинаний, долгое время сотрудничает на радио «Свобода»; отдает последние тридцать шесть лет своей жизни «Новому Журналу», старейшему на сегодня русскому эмигрантскому журналу заграницей, редактором которого он являлся с 1959 г.

Роман Борисович Гуль был на редкость прямым, честным человеком, посвятившим всю свою жизнь творческому труду на ниве слова в лучших традициях русской бессеребренической интеллигенции. Он был воплощением всего самого лучшего, что было свойственно русской интеллигенции.

Ушел от нас выдающийся человек — все меньше и меньше остается таких в эмиграции.

Е. Л. Магеровский

РОМАН ГУЛЬ

МОЯ БИОГРАФИЯ

До революции 1917 года

Я родился в 1896 году, в Киеве. Свое раннее детство и юность провел в г. Пензе и в Пензенской губернии, в имении отца Рамзай. В детстве я и мой брат Сергей (умер во Франции в 1945 году) часто ездили к деду в уездный городок Керенск Пензенской губернии. С этим заброшенным городком у меня связаны прекрасные детские воспоминания: старый дом, запущенный большой сад, весь старинный уклад той русской жизни. После большевистской революции Керенск из города был «снижен» большевиками в село и переименован в Вад (по реке Вад, на которой он стоит). Переименование было сделано потому, чтобы люди не связывали названия городка с именем премьер-министра февральской революции Керенского, хотя он не имел к городу никакого отношения (впрочем, кажется, его дед, протопоп, был родом из Керенска). Так с географической карты России исчез город моего детства.

Мое отрочество связано с городом Пензой, где я окончил пензенскую Первую мужскую гимназию. Это была старая гимназия, основанная во времена Николая I-го (тогда это был закрытый дворянский пансион). В наше время это была обычная классическая гимназия. Мой отец был юрист, домовладелец и помещик. В Пензе на главной, Московской улице (которую я сейчас вижу, как сон), у нас был каменный белый дом. Были свои лошади, две верховых (для меня и брата), корова, куры, собаки. Так тогда жили все зажиточные пензяки. А в Саранском уезде Пензенской губернии у нас было имение в

* Печатается впервые — *Ред.*

153 десятины, с большим деревянным домом, фруктовым садом, со множеством всяческой скотины; там в юности я охотился с борзыми и гончими.

Отец мой хотел, чтобы я поступил на юридический факультет Московского университета. Я соглашался, хотя к юриспруденции особой склонности не имел. Меня манила жизнь в столице, в Москве. Но когда я был в последнем классе гимназии, в декабре 1913 года отец внезапно умер от припадка грудной жабы. Эта смерть была первым сильным переживанием. Она многое открыла мне, чего я раньше не чувствовал. В 1914 году я поступил на юридический факультет Московского университета. Забыл сказать, что при жизни отца мы семьей (отец, мать и двое нас, сыновей) довольно много путешествовали по России. Часто ездили по Волге, просторы которой до сих пор помню; ездили на Кавказ, где в память врезалась горная гроза, когда мы были на горе Бештау, куда мы ездили на тройке. Бывали в Москве, ездили заграницу — в Германию (там в Бад Наухейме отец лечился почти каждое лето от сердечной болезни; после курса его лечения мы ехали по Европе — в Италию, Швейцарию, Австрию — и возвращались домой в Пензу к началу учения).

В Москве я поселился в знаменитом студенческом районе — на Малой Бронной. Перед университетом я благоговел. Но из профессоров меня увлек только один, читавший введение в философию — приват-доцент Иван Ильин. Впоследствии он тоже оказался в эмиграции и умер в Швейцарии, в Цюрихе, после Второй мировой войны. У Ильина я и стал, главным образом, заниматься философией. Как сейчас помню, Ильин указал мне первые шесть книг для начала занятий: 6-ой том диалогов Платона («Апология Сократа»), «Пролегомены» Канта, историю философии древней Греции кн. С. Н. Трубецкого и еще две-три книги. В это время уже шла мировая война. Когда я перешел на третий курс университета, мой год был мобилизован, и я был отправлен в Московскую офицерскую школу, которую окончил через четыре месяца.

Февральскую революцию 1917 года я встретил уже будучи молодым офицером в запасном полку в своем родном городе Пензе. Весной 1917 года я отправился на Юго-Западный фронт, где в 417 Кинбурнском полку был сначала младшим офицером, потом командиром роты, а затем полевым адъютантом командира полка. Мне нравился стиль моего послужного списка: «участвовал в боях и походах против Австро-

Венгрии». Как известно, Австро-Венгрии давно уже нет на географической карте Европы.

В Москве в годы моего студенчества я бывал в семье инспектрисы Николаевского Института С. Ф. Новохацкой. Она была старым другом нашей семьи еще по Пензе; там она потеряла мужа, бывшего врачом, и со своими четырьмя дочерьми переехала в Москву. К Новохацким я обычно ездил со своим другом детства, бар. Гавриилом Штейнгелем. Я был влюблен в Олю Новохацкую, а Штейнгель — в старшую, Наташу. В 1915 году Штейнгель женился на Наташе, я был шафером, и у меня до сих пор сохранилась большая фотография свадебной церемонии. Увы, почти все люди, изображенные на этой фотографии, погибли в гражданской войне и революции. В 1917 году, когда я ушел на фронт, Оля осталась в институте. И встретились мы снова только через много лет, в Берлине после мировой войны, после двух гражданских войн, после смертей многих наших близких.

Почему я пошел в Добровольческую Армию

Ни до революции, ни после революции я не принадлежал ни к какой политической партии. Отец мой был член конституционно-демократической партии Народной Свободы (русские либералы). В революцию я сочувствовал идеям этой партии и воспринял революцию как демократ. Я был противником монархии, сторонником республики, демократии и социальных реформ. В частности, передачи земли крестьянам, хотя я сам происхожу из помещичьей семьи — у нас в Пензенской губернии было именье. Как демократ, я считал необходимым созыв Всероссийского Учредительного Собрания, которое должно установить в России демократическую конституцию. Так как созыв Учредительного Собрания был лозунгом и Добровольческой Армии, я поехал туда на вооруженную борьбу с большевизмом.

Сначала я был в партизанском отряде полковника Симановского, в рядах которого участвовал в боях с большевиками. Затем этот отряд влился в Офицерский Корниловский Ударный полк. В составе этого полка я проделал знаменитый «Ледяной Поход» по донским и кубанским степям. Участвовал во многих боях с большевиками; под станицей Кореновской, в атаке на красный бронированный поезд, был ранен в бедро.

Летом 1918 года Добровольческая Армия вернулась в Ростов-на-Дону. Меня, как раненого, положили в госпиталь в Новочеркасске. К этому времени Добровольческая Армия политически меня разочаровала. После смерти ген. Корнилова влияние в армии перешло к монархистам. Демократический лозунг созыва Учредительного Собрания стал фиктивным. Монархическая верхушка армии придала ему антидемократический, антинародный характер. В отношении крестьян применялись бессмысленные жестокости, безсудные расстрелы, чем Белая Армия отталкивала от себя самые главные антибольшевистские силы, основную массу населения России — крестьян. Я понимал, что такая армия «реставрации» осуждена на поражение. Осенью 1918 года я подал рапорт об уходе из армии. Я уехал вместе с своей матерью в Киев к родным. В Киеве жила моя тетка, Е. К. Высочанская. Ее муж был полковником артиллерии. Гражданская война в рядах Добровольческой Армии мною описана в книге «Ледяной поход».

Как я попал заграницу

На Украине в 1918 году тоже шла гражданская война, несмотря на то, что Украина была оккупирована немцами. В Киеве сидел гетман Скоропадский. На Киев, при поддержке австрийцев, наступали войска Симона Петлюры. Защищаясь от Петлюры, Скоропадский объявил мобилизацию всех находящихся в Киеве офицеров. И я, как офицер, был мобилизован и назначен в дружину генерала Кирпичева. Дружина была выдвинута на защиту Киева от Петлюры. 14 декабря 1918 года Петлюра взял Киев. Гетман Скоропадский бежал. Все вооруженные части сдались Петлюре. Я в числе многих сотен других офицеров попал в заключение в Педагогический Музей на Владимирской улице. Мы находились там под охраной украинского и немецкого караулов. В это время на Киев с севера наступали большевики. Было ясно, что они возьмут Киев. В этом случае нам, офицерам, грозил неминуемый расстрел. Как я узнал уже много позднее, за нас, заключенных в Педагогическом Музее офицеров, стал хлопотать находившийся в Киеве какой-то немецкий генерал, чтобы представители Петлюры разрешили вывезти нас в Германию. Многие офицеры освобождались за деньги и благодаря украинским связям. Я был в числе тех, у кого ни того, ни другого не было. И 30 декабря 1918 года всех нас, оставшихся в

заключении, человек пятьсот-шестьсот, погрузили в вагоны и под охраной немецкого и украинского конвоя повезли в Германию. Попал я в лагерь для «перемещенных лиц», как их теперь называют. И там, в Гарце, в горах, начал писать свою первую книгу «Ледяной поход».

Как я начал писать? Меня давно тянуло к писанию, с детства, с отрочества, но я и вообразить себе не мог, что когда-нибудь то, что я напишу, будет напечатано, будет как-то, стало быть, признано и люди будут это читать. К написанию моей первой книги меня толкнули два обстоятельства. Первое — я, молодой человек двадцати двух лет, был так потрясен зверством гражданской войны, что чувствовал потребность рассказать о ней правду и рассказать именно так, чтоб люди увидели всю нелепость, глупость и зверство того, что называется словами — «гражданская война». Но непосредственный толчок к писанию мне дала одна книга: рассказы В. Гаршина. В Гарце, в лагере Гельмштедт, где жили русские беженцы, я как-то прочел рассказ Гаршина «Рядовой Иванов». В свое время этот рассказ своим «ужасом» военных картин потрясал дореволюционных русских читателей. Но когда сейчас я его прочел, я подумал: «да ведь если сравнить «Рядового Иванова» с тем, что я видел в гражданской войне, рассказ Гаршина покажется почти детским чтением». И я решил написать правду о гражданской войне.

2-го января 1919 года мы переехали границу Германии. Так началась моя эмиграция. Нас поместили в лагерь военнопленных Деберитц под Берлином. Вслед за нашим эшелоном немцы привезли из Киева в Германию еще четыре-пять поездов с офицерами и солдатами. Гражданская война в Киеве, заключение в Педагогическом Музее, наш вывоз заграницу и помещение в лагерь Деберитц мной описаны в большой статье «Киевская Эпопея» (*см. «Архив Русской Революции, т. II, Берлин, 1921 г.*).

Но когда я начал писать, я понял, какой это труд — «быть писателем». Я не умел выразить своих чувств, не умел построить фразу так, как хотел, она мне не давалась, не умел описать сцену так, чтоб читатель ее увидел и почувствовал. И все-таки с большим трудом, потихоньку, я свою книгу писал. И написал. Она называлась «Ледяной Поход». Так в истории русской гражданской войны называется легендарный поход, зимой, через донские и кубанские степи, от Ростова до Екатеринодара, белой армии генерала Корнилова в 1918 году. Участником этого похода я и был. Написанное мною я читал в лагере Гельм-

штедт, в Брауншвейге, своим друзьям-офицерам, участникам гражданской войны. Они одобряли. Но о том, чтобы напечатать книгу, я и не думал, ибо мы жили полуголодной жизнью в лагере, отрезанные от культурного мира. Я работал у лесоторговца — в лесу обдирал кору со срубленных деревьев. На помощь мне, как всегда, пришел случай. В берлинской русской газете я прочел, что известный литератор и бывший комиссар Верховной Ставки при Керенском, В. Б. Станкевич начинает в Берлине издание русского журнала «Жизнь». Не без волненья я послал Станкевичу одну главу из своей книги и с нетерпением ждал ответа, причем, конечно, ждал ответа «классического»: не подошло. Письмо от Станкевича пришло: он очень хвалил присланный ему отрывок, сообщал, что напечатает его в «Жизни». И больше того, предлагал мне приехать в Берлин на переговоры: может быть, я соглашусь постоянно работать вместе с ним в журнале.

Я с радостью приехал в Берлин. Это был интересный Берлин 1920-го года, еще не оправившийся от войны, я его хорошо помню. Наша встреча с В. Б. Станкевичем и его чудесной семьей — женой Наталией Владимировной и дочерью Леночкой перешла в дружбу на всю жизнь.

В нашей жизни много моментов, которые запоминаются на всю жизнь. Моменты эти бывают и значительные и незначительные. Так вот, я не знаю, как назвать — значительным или незначительным — момент, когда я впервые увидел в журнале «Жизнь» напечатанным то, что я написал. Для писателя, то есть для человека, для которого его писание есть призвание, — появление в печати первого произведения — это всегда знаменательная дата. Я и сейчас помню свое чувство, когда открыл журнал «Жизнь» с моим первым отрывком из «Ледяного Похода». Это было счастье возможности того жизненного пути, который я сам выбрал. Вскоре издатель С. Ефрон в Берлине издал мою книгу «Ледяной Поход». Это было в 1921 году. Книга имела большой успех. Помню, я получил письмо от Максима Горького, в котором он хвалил мою книгу. Хорошо отозвался о ней приехавший тогда в Берлин известный поэт Андрей Белый. На одном литературном собрании в 1922 году я встретил высланного из России известного критика Ю. Айхенвальда. Знакомясь со мной, он сказал хорошие слова о моей книге: «Ваша книга против всякой гражданской войны и против белых, и против красных».

В 1920 году Станкевич предложил мне переехать из лагеря в

Берлин, где он редактировал тогда журнал «Жизнь». Я переехал. Вокруг Станкевича и его журнала образовалась небольшая группа русских демократов-антикоммунистов. Группа называлась «Мир и труд». Политическая позиция группы выражалась в желании внутреннего замирения России после гражданской войны. В первом номере журнала «Жизнь» сообщение от редакции говорило: «Период опустошения и разрушения близок к концу. С каждым днем ярче предчувствуем мы приближение творческого периода русской революции, который несомненно наступит, какой бы политической вывеской не прикрывалась власть». Настроения этой группы были и моими настроениями. В журнале «Жизнь» я опубликовал три отрывка воспоминаний о гражданской войне «Ледяной Поход».

В Берлине я сотрудничал и в других русских антикоммунистических журналах и газетах: «Время», «Русский эмигрант», «Голос России», «Новая Русская Книга». Политических статей я не писал, ибо вообще я не публицист и их не пишу. Я писал художественную прозу и статьи по вопросам литературы. В 1921 году в Берлине в издательстве С. Ефрона (владелец издательства, Семен Абрамович Ефрон, позднее умер в Берлине) вышли отдельной книгой мои воспоминания о гражданской войне «Ледяной Поход» (с Корниловым). Это была моя первая книга. Она была и первой книгой о гражданской войне. Эта книга имела большой успех, о ней много писали. Ряд известных писателей (М. Горький, Ю. Айхенвальд, А. Белый и др.) прислали мне свои письма. Но в правых, монархических кругах книга вызвала возмущение и ненависть ко мне, ибо я рассказал всю правду о жестокости гражданской войны, о безсудных расстрелах крестьян, о тупости политики Белой Армии. Ненависть русских монархистов и фашистов ко мне живет до сих пор в их печати и в кругах таких организаций, как Общевоинский Союз, Высший Монархический Совет и пр. Ненависть эта несправедлива, ибо вся последующая литература о Белой Армии подтвердила то, что я писал в «Ледяном Походе». Я имею в виду даже такие книги, как воспоминания известного монархиста В. Шульгина, воспоминания самого генерала Врангеля и другие.

По приезде в Берлин я вступил в Русский Студенческий Союз, ибо думал продолжать прерванное войной высшее образование. В Союзе я был избран товарищем председателя. Председателем был Евгений Исаакович Рабинович, ныне видный американский ученый по вопросам

атомной энергии и редактор «Бюллетеня Комитета Атомной Энергии».

Мы с Рабиновичем всегда были в хороших отношениях, хотя он и не разделял моей тогдашней веры в то, что в Советской России даже при начавшемся НЭП'е, возможна эволюция в сторону демократии. Из-за политических споров Русский Студенческий Союз вскоре раскололся на три части. Из Союза ушли монархисты. Ушли также члены Союза, стоявшие, как и я, на точке зрения внутреннего замирения в Советской России после гражданской войны. Эта группа студентов выбрала меня своим председателем. Вскоре я совершенно ушел от всяких студенческих дел, ибо решил высшего образования не продолжать, а всецело посвятить себя литературе.

Тогда в Берлине была группа русских молодых писателей, поэтов, художников. Это начало своей эмигрантской жизни вспоминаю с удовольствием, как всякую беззаботную молодость. В 1921 году, пройдя больше 400 километров пешком по Советской России до границы Польши и тайно перейдя границу, ко мне из Варшавы в Берлин приехала моя мать и с ней наша старая няня, Анна Григорьевна Булдакова. А в 1925 году из Советской России, после тяжелой операции, приехала моя теперешняя жена Ольга Андреевна Новохацкая, с которой мы обвенчались в 1927 году. За годы жизни в Берлине я издал сравнительно много книг — «Генерал БО», двухтомный роман, переведенный на девять иностранных языков, «Скиф» (роман о Бакунине), две книги о красных советских маршалах — «Тухачевский» и «Красные Маршалы», которые тоже были переведены на несколько иностранных языков, и другие.

В 1921 г. я поступил секретарем редакции русского эмигрантского библиографического журнала «Новая Русская Книга». «Новая Русская Книга» имеется в Публичной библиотеке Нью-Йорка. Этот антикоммунистический журнал издавался издательством Ладыжникова (владелец, Б. Н. Рубинштейн, погиб во время последней войны в Париже). В «Новой Русской Книге» я писал литературно-критические статьи и рецензии. Как секретарь работал в этом журнале до его закрытия в 1928 году.

«Сменовеховцы» и газета «Накануне»

Так как клевета на меня со стороны монархистов, солидаристов и советских агентов всегда оперировала моим «сменовеховством» и со-

трудничеством в газете «Накануне», то я хочу подробно осветить все это.

В июле 1921 года в Праге группа видных русских эмигрантов издала сборник «Смена Вех». В сборнике поместили статьи проф. Ю. Ключников, проф. Н. Устрялов, проф. С. Лукьянов, проф. С. Чахотин, А. Бобрищев-Пушкин, и Ю. Потехин. По заглавию сборника — «Смена Вех» — люди, примыкавшие к этим взглядам, получили в эмиграции название «сменовеховцев». Позиция группы сборника «Смена Вех» была такова. *Оставаясь антикоммунистами,* сменовеховцы верили в то, что провозглашенная в Советской России в 1921 г. новая экономическая политика (НЭП) является ликвидацией коммунистической революции, примирением власти с населением и постепенным переходом России к формам трудовой демократии. В сборнике «Смена Вех» проф. Н. Устрялов писал: «Коммунизм не удался...дальнейшее продолжение этого опыта в русском масштабе не принесло бы с собой ничего, кроме подтверждения его безнадежности при настоящих условиях, а также неминуемой гибели самих экспериментов... Дело в самой системе, доктринерской и утопической при данных условиях. Только в изживании, преодолении коммунизма — залог хозяйственного возрождения государства».

И веря, что Россия после гражданской войны встанет на путь нормальной хозяйственной и политической жизни, авторы сборника «Смена Вех» звали эмиграцию к примирению с властью в Советской России. Напомню, что положение в России тогда было таково: вся земля была в руках крестьян — это был единственный период во всей русской истории, когда крестьяне обладали всей землей и были довольны своим положением; рабочие не были прикреплены к фабрикам и заводам, а работали где хотели; в искусстве и литературе была относительная свобода; наряду с Государственным Издательством (ГИЗ) открылись частные издательства; в хозяйственной жизни была частная инициатива, многим собственникам были возвращены предприятия и дома; были допущены иностранные концессии. Именно тогда у теперешнего губернатора Нью-Йорка Аверелла Харримана были концессии в России. Существовали уже отдельные концлагеря, но системы принудительного труда тогда не было. Выезд заграницу был несвободен, но все-таки заграницу тогда выпускали сравнительно легко. Веру «сменовеховцев» в эволюцию советского режима разделяли многие иностранные государственные деятели. Заграницей на такой же позиции

стояло несколько русских изданий. В Нью-Йорке, в частности, газета «Новое Русское Слово» и ее редактор М. Е. Вайнбаум.

В марте 1922 года группа «сменовеховцев» (проф. Ю. Ключников, проф. С. Лукьянов, проф. С. Чахотин, Ю. Потехин и другие) стали издавать в Берлине сменовеховскую газету «Накануне». Я подчеркиваю — *сменовеховскую,* а не коммунистическую, как лгали многочисленные доносчики. В Берлине существовала коммунистическая русская газета «Новый Мир», но со «сменовеховцами» она не имела ничего общего. Сотрудничать в «Накануне» стали многие видные русские писатели и журналисты: Алексей Толстой, Ив. Соколов-Микитов, А. Дроздов, А. Ветлугин, Н. Петровская, И. Василевский (Не-Буква) и др. Алексей Толстой редактировал воскресное «Литературное Приложение» к «Накануне».

В это время я работал в журнале «Новая Русская Книга». Однажды, придя к нам в редакцию, Толстой попросил у меня литературный материал для своего «Литературного Приложения». Я тогда как раз писал роман из жизни эмиграции 1920-21 гг. «В рассеяньи сущие» и дал Толстому отрывок. Этот отрывок был напечатан в «Литературном Приложении» к «Накануне» от 28 мая 1922 года.

Вскоре в Союзе Русских Писателей и Журналистов Владимир Татаринов поднял вопрос об исключении из Союза всех сотрудников «Накануне». После напечатания отрывка из моего романа я, считая себя солидарным со всеми сотрудниками «Накануне», пришел на собрание Союза, где должен был обсуждаться вопрос об исключении сотрудников «Накануне». Так как в Союзе у меня было много друзей, которые не хотели моего исключения, то они предложили мне, чтобы я сам просто ушел из Союза. Но я на это не пошел. И в своем выступлении на собрании Союза сказал, что я не понимаю, почему за помещение в газете «Накануне» художественной прозы я должен быть исключен, а один из редакторов газеты «Руль» (ежедневная демократическая газета, издававшаяся в Берлине И. Гессеном, А. Каминкой и В. Набоковым), профессор Каминка, который имел тогда с большевиками торговые операции, может оставаться в Союзе. Это произвело впечатление скандала. Добровольно уйти я отказался. Тогда собранием было принято постановление об исключении всех сотрудников «Накануне» из Союза. Вскоре после этого в газете «Руль» была помещена заметка репортера Бориса Бродского об этом собрании, в которой он приписал

мне, будто на собрании я заявил себя сторонником диктатуры пролетариата»(!?).

Хотя я и не писал политических статей в газете «Накануне», тем не менее один мой фельетон может прекрасно осветить мои политические настроения того времени. Этот фельетон под названием «D-Zug» был помещен в «Накануне» от 25 ноября 1923 г. В нем я описывал свою летнюю поездку по Германии и высказывал кое-какие политические мысли. Я наивно, как я теперь понимаю, писал о том, что мечты коммунистов о мировой революции кончились, и Россия выходит из революционных бурь своеобразной Америкой. Вот цитата из фельетона: «Русские интеллигенты-коммунисты — последние из касты русской интеллигенции, мечтавшей сделать жизнь «для внуков» и тянувшиеся детскими руками к звездам... Непрошенно, нежданно и негаданно в жизнь пришли новые гости. Дали новый тон жизни. Это — люди не метафизически, а буквально выросшие в революции. О, они живут не для внуков! Извините, на себя жизни не хватает. Это — не интеллигентская мечта. Ей подвели итог. Это — Америка с московским масштабом». Полагаю, что этой цитаты достаточно, чтобы показать не только мою тогдашнюю наивность, но и всю лживость утверждений, будто бы я заявлял себя «сторонником диктатуры пролетариата».

Когда в Париже в 1945 г. начала издаваться русская *прокоммунистическая* газета «Русские Новости», главным ее сотрудником (а, фактически, редактором) стал В. Татаринов, репортером — Б. Бродский. Через некоторое время французские власти выслали Б. Бродского из Франции в Советский Союз как советского агента, о чем сообщалось во всех русских газетах.

Работа в «Накануне» дала мне возможность многое узнать о Советской России. Эта газета была допущена к продаже в Советской России, будучи там единственной некоммунистической газетой. Естественно, что целый ряд лучших беспартийных писателей, живших в Советской России, принял участие в «Литературном Приложении» к «Накануне». Там печатались Мандельштам, Пильняк, Федин, Катаев, Никитин, Волошин, Слезкин, Мариенгоф, Всев. Иванов, Булгаков, Лидин, Рождественский, Орешин, Неверов, Чуковский, Никулин, Голлербах и многие другие. Со многими из них у меня установилась дружеская переписка, со многими я познакомился, а с некоторыми и близко сошелся, когда они приезжали в Германию. В те годы заграницу писателей выпускали сравнительно легко. В Берлине я познакомился с

Конст. Фединым, Юрием Тыняновым, Борисом Пильняком, Евг. Замятиным, Ник. Никитиным, Ильей Груздевым и другими. Все это были писатели не только беспартийные, но и настроенные враждебно к режиму. С некоторыми я близко сошелся и они были со мной откровенны. От них я узнал многое о советском режиме и тамошней жизни. В разговоре со мной ни один из них не посоветовал мне вернуться в Россию.

В двадцатых годах в Советской России у меня вышли три книги: «Ледяной Поход», «Жизнь на Фукса», «Белые по Черному» (очерки о жизни русской эмиграции в Африке, написанные мной по рассказу бывшего там эмигранта). «Ледяной Поход» был перепечатан Госиздатом с издания, выпущенного в эмиграции. Рукописи двух других книг я передал моим друзьям, Константину Федину и Илье Груздеву, которые их и провели в Ленинграде через цензуру и устроили их издание. Гонорар за них я получал по почте, тогда переводы делались свободно.

Кончая говорить о «сменовеховстве», я хочу указать на трагическую судьбу политических представителей этого течения. Профессор Н. Устрялов был приглашен советским правительством приехать в Россию. Он поехал и был убит чекистами в поезде. Профессор С. С. Лукьянов вернулся в Россию, был заключен в Ухт-Печерский лагерь, где умер, как сообщают, под пытками на допросах. Профессор Ю. Ключников бесследно исчез в каком-то концлагере. Журналист Литвин был сослан на Соловки. Погибли также многие вернувшиеся в Россию писатели, такие, как, например, Георгий Венус, умерший в тюрьме в Сызрани. Так смертью расплатились люди за свою ошибку — *за то, что они поверили в возможность эволюции советского режима в сторону нормального демократического государства.*

С конца двадцатых годов, когда в России обозначился отказ от НЭПа и новый поворот в сторону коммунизма, я был уже таким же врагом советской власти, каким был в 1917 году.

Литературная работа в Берлине в 1924-1933 гг.

С 1924 года в Берлине я работал как свободный писатель. Мои книги выходили по-русски и на иностранных языках. Все мои книги по-русски выходили в эмигрантском издательстве «Петрополис» (владельцем этого издательства был проф. А. С. Каган).

В 1929 году в изд-ве «Петрополис» вышел мой двухтомный исторический роман «Генерал БО». Этот роман имел большой успех, был переведен на восемь иностранных языков. Главными действующими лицами романа «Генерал БО» являются известные исторические лица: провокатор Азеф и его друг, известный революционер-террорист Борис Савинков. Роман описывает борьбу партии социалистов-революционеров и царской полиции в 1905-1908 гг.

В 1931 году в изд-ве «Петрополис» вышел мой другой исторический роман «Скиф» (об анархисте М. Бакунине, из времен царствования Николая I, 1830-1850 гг.). В 1932 году я опубликовал в изд-ве «Петрополис» книгу «Тухачевский. Красный маршал».

Это была первая книга из задуманной мною серии портретов видных советских деятелей. Когда книга «Тухачевский» вышла, издатель А. С. Каган мне рассказывал, что к нему в издательство приходил Эренбург и сказал, что эту книгу Советы не простят ни автору, ни издателю. Впоследствии книга «Тухачевский» вышла по-французски, по-шведски, по-фински. В Нью-Йорке эта книга была напечатана на идише в газете «Форвертс». В 1933 году в «Петрополисе» вышла моя книга о других советских маршалах — Ворошилове, Буденном, Блюхере, Котовском. Эта книга вышла и на французском языке.

В 1933 году я работал над следующей книгой из этой серии — биографиями вождей коммунистического террора (Дзержинский, Менжинский, Ягода и др.). В этой книге я решил дать историю коммунистического террора, начиная с 1918 года. Но в июне 1933 года из-за прихода Гитлера к власти оставаться в Германии я не хотел. Я хотел с женой переехать в Париж. Многие из моих друзей, русских демократов, уже уехали тогда во Францию. Уехал, в частности, и Б. И. Николаевский, который обещал мне выслать французскую визу. Через некоторое время он мне сообщил, что виза для меня и жены получена, и я могу пойти за ней во французское консульство. Эту визу Николаевский получил через известного французского политического деятеля, впоследствии премьер-министра, Леона Блюма. Но как раз в этот момент со мной произошла неожиданная неприятность: я был арестован гитлеровцами. Мой арест и мое пребывание в концлагере Ораниенбург подробно описаны в моей книге «Ораниенбург. Что я видел в гитлеровском концентрационном лагере». Эта книга была мной выпущена в 1937 году в Париже.

Моя жизнь в Париже, в 1933-38 гг.

3-го сентября 1933 года мы с женой приехали во Францию. В Париже я продолжал свою литературную работу. Я сотрудничал в известной, самой распространенной русской антикоммунистической газете проф. П. Н. Милюкова «Последние Новости». В ней, еще из Германии, в 1932 году я напечатал серию статей под названием «Прыжок в Европу». Это — рассказ о советской жизни бежавшего через Прибалтику в Германию советского юноши Петра Шепечука. С ним я встретился в Берлине у своих знакомых, которые принимали в нем участие. И по его рассказам написал эту рукопись. Она печаталась и по-немецки.

Кроме «Последних Новостей« я сотрудничал и в других антикоммунистических журналах: в «Современных Записках», в «Иллюстрированной России», в «Иллюстрированной Жизни» и др. Писал я также сценарии для кино. В 1933 году я вступил членом в Союз Русских Писателей и Журналистов во Франции.

В 1936 году я закончил свою книгу по истории коммунистического террора и опубликовал ее по-русски. По-русски она называлась «Дзержинский» (по имени первого начальника Чека и организатора красного террора). Все материалы для этой работы я получал из богатейшего архива Б. И. Николаевского. Во французском издании я довел эту работу до террора Ежова (знаменитые Московские процессы и пр.).

В 1935 году я вступил в русскую масонскую ложу «Свободная Россия» (ложа «Великого Востока Франции»). Это была ярко антикоммунистическая ложа. В этой ложе в 1936 г. я читал доклад о терроре в Советском Союзе (из своей книги по истории красного террора). Тем временем в монархической газете «Возрождение» советским провокатором, ген. Скоблиным через своего друга, сотрудника газеты «Возрождение» Н. Н. Алексеева, было сообщено, что я читал «доклад о масонстве в СССР». Привожу это, как один из примеров борьбы со мною советских агентов.

В конце 1936 года благодаря изданному по-французски моему роману «Генерал БО», известный кинорежиссер Жак Федер пригласил меня работать в фильме из русской революции. Это был фильм для Марлен Дитрих и Роберта Доната «Knight without armour» («Рыцарь без доспехов»), который ставился Александром Корда. Я был приглашен

как «technical and dramatical adviser». В Лондоне я пробыл больше полугода. Когда я вернулся во Францию, то на заработанные деньги купил на юге Франции небольшую, в 5 гектаров, ферму Пети Комон около городка Нерак, в департаменте Лот-э-Гаронн. Эту ферму я купил, собственно, для своего брата, который хотел во Франции заняться сельским хозяйством.

Как раз в 1936 году мне, после долгих стараний, удалось через известного депутата французской Палаты Мариуса Мутэ получить визу для моей семьи, остававшейся в Германии. Моя мать, брат, его жена и мой племянник в конце 1936 года приехали во Францию. Брат мой с семьей поселился на ферме Пети Комон и занялся сельским хозяйством.

Приезд моей семьи из Германии дал мне возможность опубликовать мою рукопись «Ораниенбург. Что я видел в гитлеровском концентрационном лагере», которую я не мог напечатать, пока семья оставалась в Германии. Эта моя книга вышла в 1937 году в Париже. В русской демократической печати книга «Ораниенбург» имела много хороших отзывов, но со стороны русских монархистов и фашистов (а в эмиграции их было великое множество) она вызвала брань по моему адресу.

В 1937 году в русском театре в Париже была поставлена моя пьеса «Азеф» (по роману «Генерал БО»).

В 1938 году на ферме Пети Комон под Нераком умерла моя мать и похоронена на кладбище Нерака. Вскоре вспыхнувшая война застала меня и жену на ферме Пети Комон. Все мои политические и литературные друзья тогда покидали Францию, уезжая в Америку. Мы тоже хотели ехать с женой в Америку. Для этого я держал связь с Б. И. Николаевским, который принимал участие в организации этого переезда. Он должен был приехать к нам на ферму, чтобы обо всем переговорить, но приехать так и не смог. И я остался во Франции.

Жизнь во время войны, 1939-1945 гг.

На ферме Пети Комон я остался совершенно без всяких средств. Демократические русские газеты и журналы с занятием Парижа немцами прекратились. Русские монархисты и фашисты пошли с немцами и грозили мне за мою книгу «Ораниенбург». Ферма в пять гектаров прокормить нашу семью не могла. И мы с женой в 1939 году пошли рабочими на стеклянную фабрику в городке Вианн (в том же депар-

таменте, неподалеку от фермы). Работали мы там около полугода. Но фабрика закрылась из-за военных событий. Из-за моей книги «Ораниенбург» я должен был от немцев скрываться. Мы с женой решили превратиться в самых настоящих крестьян. В 1940 году я, мой брат, моя жена, жена брата сняли, как испольщики, большую ферму в 30 гектаров с тридцатью головами рогатого скота. Это была молочная ферма с одиннадцатью молочными коровами недалеко от городка Вианн, в том же департаменте Лот-э-Гаронн. Ферма принадлежала богатому французу Ле Руа Дюпре. На ней, как крестьяне, мы прожили три года. После этого переехали на другую ферму, около городка Кастельжалю в том же департаменте; эта ферма называлась Пайес и принадлежала французу Мобургет. На этой ферме мы дожили до конца войны. Позже монархисты, солидаристы и советские агенты лгали, что я жил «где-то на границе Испании» — между тем во время войны иностранцы не имели права передвижения по стране. Они были прикреплены к месту их жительства.

Возвращение в Париж, 1945-1950 гг.

После окончания войны в июле 1945 года мы с женой вернулись в Париж на нашу старую квартиру (258 рю Лекурб, Париж XV). По приезде в Париж, в 1945 г., я вошел в русскую масонскую ложу «Юпитер» («Великая Ложа Франции»). Через некоторое время я вынужден был из нее уйти. Дело в том, что большинство ее членов стояло тогда на просоветской позиции. На этой почве в ложе у меня произошел конфликт с просоветской группой (адмирал Вердеревский, братья Ермоловы, Шклявер и др.). И так как эта группа в ложе была в большинстве, я, разослав русским масонам циркулярное письмо, протестующее против прокоммунистических настроений этих масонов, ушел из ложи. Документы по этому делу имеются в моем архиве.

По приезде в Париж я связался со своими друзьями в Америке, Б. И. Николаевским, В. М. Зензиновым и другими. В это время я закончил новую книгу «Конь Рыжий» (моя автобиография в художественной форме). Эту рукопись я послал в Америку через Б. И. Николаевского профессору М. А. Карповичу, редактору «Нового Журнала». Она там была напечатана в книгах 14, 15, 16, 17 за 1946 и 1947 годы. В 1952 году «Конь Рыжий» вышел отдельной книгой в издательстве им. Чехова в

Нью-Йорке. Вместо предисловия было напечатано письмо ко мне известного русского писателя-эмигранта Ив. Бунина. Книга имела везде хорошую прессу. Даже военный монархический журнал «Часовой» («La Sentinelle»), выходящий в Брюсселе в Бельгии, сочувственно отозвался об этой книге.

В эти годы я продал один мой киносценарий нескольким французским обществам: Синэ-Альянс, Аталье Франсэз, Виктория Фильм. В те же годы в Париже я занялся и политической работой — впервые в моей жизни. После войны в Западной Европе осталось много советских эмигрантов, и мне тогда казалось, что именно с ними можно начать широкую и активную антикоммунистическую работу. В Париже я познакомился со многими из советских эмигрантов. Оказывал им всякого рода помощь.

В 1946 г. ко мне домой приехал С. Мельгунов, прося меня о совместной с ним антикоммунистической работе. Мельгунов просил меня войти в редакцию антикоммунистических сборников, которые он выпускал тогда в Париже. Но в 1948 г. я с ним разошелся из-за напечатания статьи проф. Карташева о Белой Армии, с которой я был несогласен. Об этом инциденте Мельгунов писал в своих сборниках. После статьи Карташева я вышел из редакции сборников Мельгунова; в них прекратили сотрудничать и мои нью-йоркские друзья.

В конце 1948 года я создал демократическую группу под названием «Российское Народное Движение» и стал издавать журнал «Народная Правда». Мельгунов, человек чрезвычайно пристрастный, начал против меня мелочную травлю. В ней приняли участие окружавшие его монархисты (Цуриков и др.) и солидаристы (Столыпин и др.), с которыми у меня были давние счеты. В конце концов на эту травлю я вынужден был ответить открытым письмом гг. Мельгунову и Цурикову в «Народной Правде» (№ 7-8, 1950 г.).

Самую существенную помощь «Народной Правде» оказывал тогдашний представитель Американской Федерации Труда Ирвинг Браун. С Брауном меня познакомил в Париже американский журналист Леон Деннен (Денненберг). Б. Николаевский и Д. Далин принимали самое близкое участие в «Народной Правде». «Народная Правда» просуществовала с 1948 года по 1952 год. Этот демократический журнал имел большой успех в широких кругах эмиграции. Последние номера я издавал уже в Нью-Йорке. Тут мне поддержку на это издание оказал

«Американский Комитет по борьбе с большевизмом» в лице его тогдашнего председателя Юджина Лайонса.

В 1949 году в Париж приехал Виктор Кравченко на свой процесс. Друзья из Нью-Йорка советовали ему обратиться в Париже ко мне. Кравченко пришел ко мне. Прежде всего ему нужен был секретарь, которому он мог бы *абсолютно доверять* и с которым мог бы работать во время процесса. Я ему привез для этой работы нашего знакомого Александра Зембулатова. Во время процесса Зембулатов, как переводчик и личный секретарь, проделал для процесса громадную работу. Во время процесса я поддерживал с Кравченко непрерывную связь. Как-то ко мне приехал мой друг, известный польский антикоммунист, писатель граф Йозеф Чапский. Он сказал, что в Германии только что вышла потрясающая книга о советских концлагерях бывшей коммунистки Бубер-Нейман и что он может достать один экземпляр книги. Получив экземпляр книги, я тут же отвез его Кравченко. А через три дня сама Бубер-Нейман приехала в Париж из Германии и выступила на процессе с сенсационными показаниями о концлагерях.

В Нью-Йорке, в первое время после моего приезда, В. Кравченко мне помог материально при моем устройстве.

Жизнь в Америке

В 1950 году я уехал из Парижа в Америку. Плыли мы целых 13 дней на голландском пароходе «Виндам», заезжали почему-то на Бермуды, где на берегу меня поразил старый негр в розовых штанах. До тех пор я никогда не видел розовых штанов. Маршрут плавания был интересный. И на 13-й день мы подплыли к Нью-Йорку.

С 1950 года я живу в Америке. Ни одну страну, где я жил в эмиграции, я не любил так, как Америку. И природу, и людей, и стиль жизни, и настоящую свободу человека, которой здесь, пожалуй, даже чересчур много. В Нью-Йорке я продолжал издавать журнал «Народная Правда». Потом стал секретарем редакции «Нового Журнала». О нем обычно говорят, что *это лучший русский журнал не только за рубежом, но и во всем мире,* потому что советские коммунистические журналы продолжают оставаться несвободными.

С 1959 года я стал одним из редакторов «Нового Журнала».

В Нью-Йорке по-русски вышли три мои книги — «Конь Рыжий»,

«Скиф в Европе» и «Азеф», который вышел уже по-японски и выходит в ближайшее время по-английски и по-французски. Кроме редактирования «Нового Журнала» я работал как главный редактор нью-йоркского отдела радиостанции «Свобода».

Свободное время я трачу на то, чтобы получше узнать Америку. А это не просто, ибо Америка велика, а я очень занят. Но путешествия (и далекие, и близкие) — моя всегдашняя страсть, и за годы жизни в Америке я все-таки кое-что увидел. Изъездил Калифорнию, этот изумительный край, с его тысячелетними лесами красного дерева, с его божественным океаном. Побывал в Аризоне, на ошеломляющем по красоте Гранд Кэньон; в Нью Мексико побывал у индейцев, проехал через песчаную пустыню, цветущую красными, розовыми, желтыми кактусами. Побывал и в Пуэрто-Рико, в Сан Хуане, объездил ущелистые, зеленые его окрестности. Пожил и на Вирджинских островах — Сэнт Джон, Сэнт Томас, Сэнт-Круа, и даже на островке Тортола. Узнал ряд интересных городов, таких, как Бостон, Вашингтон, Денвер, Сан-Франциско, Лос-Анжелес и другие, не говоря уже о Нью-Йорке, который люблю и где живу в двух шагах от Гудзона, часто любуясь на его «волжскую» ширь и даль, на его далекие зеленые берега и через них перекинутый Вашингтонский мост. Коротко: *люблю Америку*. И рад, что под занавес своей жизни приехал сюда, в Новый Свет.

Только когда я думаю о своем пути от пензенского именья, от дедовского дома в Керенске до Нью-Йорка, у меня кружится голова. И все ж, несмотря ни на что, считаю свою жизнь счастливой и — если бы было можно — повторил бы ее сначала, от первого до последнего дня.

В ближайшее время выходит из печати 3-й том трилогии Р. Гуля

«РОССИЯ В АМЕРИКЕ» Составители Ю. Кашкаров и К. Радыш

Об эмиграции — Великий исход — На стекольной фабрике — У мадам Пруст — Шато Нодэ — Мсье Ле Руа Дюпрэ — Сережа и граф — Меринов-Шпейер из Тулузы — Ротмистр Рустанович — Пайес — Париж — Мой уход из масонства — Совпатриоты и коллаборанты — В. А. Лазаревский — С. П. Мельгунов — Виктор Кравченко — Н. В. Вольский — Б. И. Николаевский — «Народная Правда» — Лига Борьбы за Народную Свободу — «Новый Журнал» — Переписка через океан Георгия Иванова и Романа Гуля — Томас Витни — Джордж Кеннан — Д. Шуб — Юлий Марголин — Полет в Израиль — К вопросу об «автокефалии» — С. Аллилуева — Переписка Р. Гуля и С. Аллилуевой.

РОМАН ГУЛЬ

ОТРОЧЕСТВО

I

В полутемных сенях дедова дома Анюта подхватила меня подмышки и головокружительно завертела; я хватаюсь за развевающиеся красные розы на воланах ее платья; мне невыносимо страшно от летящих вокруг меня роз и, чувствуя отчаяние, я пронзительно кричу.

Это начало бытия; сознание бессилия донести более ранний осколок...

II

На карте России место, где прошло мое детство, не обозначено толстым кружком. Это — Керенск, уездный город в Пензенской губернии; там у деда на соборной площади стоял, затененный садом, тесовый дом в шуме ветвистых лип и берез; но поездка туда — длинное путешествие.

Тишина на станции Пачелма мертвая.

Гнедая ямская тройка, запряженная в дедушкин тарантас, подъезжая к станционному крыльцу, шумит по булыжникам двора колесами, звенит хомутами и колокольцем под дугой. Осаживая лошадей, ямщик продребезжал особенным «тпррру», кланяясь, снял картуз и уже откидывает потрескавшийся от солнца старый кожаный фартук.

---

* Из журнала «Иллюстрированная Россия», № 25(375), 1939 г. Помещаемый здесь отрывок с тех пор нигде больше не печатался. — *Ред.*

Сон, тишь над Россией, солнце печет, как в печке. Ехать в Керенск долго, пятьдесят семь верст с двумя перепряжками.

Но тройка уже звенит среди желтой ржи. Ямщик не то дремлет, не то правит лошадьми; он то вскрикивает на непонятном ямском языке, то стегает прыгающие крупы пристяжных.

Когда мы въезжаем в село, к тройке под ноги кидаются худые, шерстистые собаки, и еще злей скачут лошади, еще быстрей качается под шлеей потный зад пристяжной с хвостом, подвязанным витушкой.

С завалепок у изб поднимаются мужики и низко, в пояс кланяются тройке; мужики кланяются всякой тройке, потому что тройка — это барин; но в этой тройке по тарантасу узнают, что едут внуки Сергея Петровича. Выкрикивая непонятное, еле долетающее до уносящегося в пыльных облаках тарантаса, вприпрыжку бегут за нами светлоголовые ребятишки.

Рытвистая сельская гать кончилась и колеса сорвались в пыль полевой дороги; умерли крики, грохот, умерло все, остался только уносящийся по ржи звон бубенцов, да под дугой как захлебнулся раз на все пятьдесят семь верст, так и качается, звенит колокольчик.

Саженые еще при Екатерине Великой дуплистые березы обступили по обочинам многоколейную, поросшую зеленой травой большую дорогу. Из-за ржи встает, маша крылом, словно хочет улететь из поля злаков, дальняя ветрянка. Рожь, рожь, рожь и солнце. Это и есть Россия. Никого окрест: встретится едущий шагом, задремавший обратный ямщик. Обгоним мужицкую скрипучую телегу. И опять тишина, рожь, солнце.

Двадцать верст по выбоинам, муча душу, прыгает старый тарантас. А мимо плывут, проплывают Козловка с красным под зеленой крышей дворянским гнездом; широкое Шеино с задремавшим на горе среди темнозеленого парка белым ампирным домом с колоннами; татарское Никольское с полусгнившей кривой мечетью; Архангельское с церковью под луковицей и мелькнувшим куском господского дома Ранцевых.

Но, наконец, изо ржи все-таки вырисовывается Черкасское с выстроенным наподобие рейнского замка пестрокрасным двор-

цом барона Штейнгеля. Здесь, по зеленым от травы улицам села тройка вскачь, с грохотом и дребезгом мчит тарантас, ибо лошади знают, что в Черкасском им — перепряжка.

На широкий двор, в настежь открытые ворота почтовой станции въезжает взмыленная, вспотевшая тройка. Почесываясь, покряхтывая, перекрикиваясь к нам идут в засаленных фартуках, с разноцветными рукавами рубах человек пять ямщиков — распрягать позванивающих, пофыркивающих лошадей.

Я люблю эту почтовую станцию с разнокалиберными экипажами на дворе, телегами, бричками — казанками, тарантасами, дрожками, линейками, со множеством запрягаемых, отпрягаемых пар, одиночек, троек. На двор может выйти и сам Марк Ильич, степенный старик с курчавой бородой, в блесткой поддевке нараспашку, богатый, искони гоняющий почту по уезду. Я давно знаю всех его ямщиков — чернобородого Семена, кривого Федьку, старика Кирилла, но хочется, чтоб запрягли буланых, в легких яблоках, длинногривых степняков Гаврилы. Гаврила — кривоногий запьянцовский ямщик с носом луковкой и клочками рыжей бороденки; никто, как он, не пронесет так на степняках вплоть до самого Керенска.

Задравшего желтый хвост коренника с погнутыми опоенными ногами ямщики подхлестывают, вводя в оглобли; пристегивают пристяжных. В заплатном кафтанишке, туго подтянутом слинялым кушаком, Гаврила с колеса прыгает на козлы. Ямщицким невыразимым движением он разбирает вожжи, подсунув под зад концы , и с гиком, в котором различимо только последнее «с Богом!», тройка выносит тарантас на мягкую площадь и мчит его за село, в даль екатерининской дороги, где в небесном синем зное плавают ястреба, а линия телеграфных проводов изуродована усевшимися на ней воробьями — в тишине полей они спугиваются только приближающимся звоном тройки.

Справа от тарантаса мелькает тощая чащоба осин, это Побитое. Этот дрожащий осинник так зовется потому, что давным-давно на этапном перегоне из Керенского острога тут арестанты убили конвойных и скрылись.

Гаврила посвистывает, Гаврила весел.

Керенск глядит с горы во все стороны обступивших его ржаных пространств. Только в центре немногие дома купцов и

дворян под железными крышами, остальное — солома да бревна. При Иване Грозном здесь на горе стояла царская сторожа; при Екатерине II — крепость; а теперь только затравенелый вал зарос и остался под городом.

Перетрясая кишки, тарантас впрыгивает на Керенскую гать и далеко несется грохот колес по камням, до тех пор, пока тройка не въедет на широкий деревянный мост через реку Вад с окрашенными в красный цвет бревенчатыми перилами. Вот и он, город; безалаберно разбросанные на горе деревянные лавки купцов замысловатой, словно китайской стройки; добротные каменные дома под голубыми, красными, зелеными крышами, два шумных внутри питейных заведения и стаи жирных голубей, кругами режущих воздух над тихим Керенском.

Из рядов лавок, со внезапно усиливающимся звоном, тройка сразу врывается на площадь. Я жду этой минуты с задохнувшимся, зашедшимся сердцем. И вот он, обнесенный русским резным забором, на площади перед собором стоит дом деда в окружении темных, качающихся лип.

Кучер Иван, торопясь, бежит навстречу тройке раскрыть ворота и пристегивает их крюками к тумбам. А на крыльцо вышли встречать, радостно улыбаясь, дед, бабушка, тети, дядя, и сзади них толпится вся прислуга.

III

Высокое солнце залило Керенск с крыш до земли, словно и светит оно только над Керенским. Немотная тишина оковала все. На площади замер кремовый с синими куполами собор; острог с высокой белой стеной, полосатой будкой часового и двуглавым орлом у входа; красный трактир Веденяпина; бакалейная лавка купца Барабанова и перед ней — палисадник с пестрыми циниями.

Раннее утро. Никто в Керенске никуда не торопится. По площади бродят индюшки, куры, поросята, гуси; пробежал исправников рыжий сеттер. Через площадь слышно, как зевает на крыльце купец Засадилов, дремлющий за старой газетой. На допотопной «гитаре», въехав с Дворянской улицы, тарахтит Емельян, единственный керенский извозчик.

А вдали, над крышами домов, на крутосклоне темно синеет монастырский лес, и на опушке его золотится крестами и куполами белый монастырь; оттуда задыхающаяся дородная мать-игуменья Олимпиада привозит бабушке мед и лесные орехи.

На конюшне у деда, в четырех денниках солнце и ветер играют с поднимающейся сенной пылью; здесь застоялись выездные лошади. Пугаясь меня, они храпят и бочатся. Никому эти тонкокровные рысаки, собственно, не нужны, ибо в Керенске неохотно двигаются, а уж если куда и приходится ехать, то, дабы не мучить своих, берут ямских лошадей, а свои держатся только по старой помещичьей прихоти.

В полутемном каретнике вкусно пахнет дегтем, кожей и ремнями; тут музейно замерли тарантасы, коляска, карета, возок, кибитка, линейка, дрожки, шарабаны, брички. Все стоит на тех же местах десятилетиями без движения и все оттого, что керенцы не любят перемен, ценят покой. Да и куда и зачем ехать?

А сад? Как тенист, как зарос, как пригнулись к земле ветвями разлапые яблони под грузом бели, боровинки, антоновки. В сиреневой аллее темнота, и только у балкона пылает пожар роз, левкоев, настурций.

Жизнь прекрасна в несдвигаемой керенской тишине.

Дед, Сергей Петрович — тридцать лет бессменный председатель земской управы, а изредка и предводитель дворянства (хоть этого и не любит дед). И в этой тишине он — самодержная власть. Недаром трясущийся в пыли по площади на паре серых исправник слишком долго и слишком почтительно отдает честь видимой на балконе чесучевой фигуре деда, а торопящиеся обыватели низко снимают картузы и шапки; немногочисленные же керенские городовые, идя мимо балкона до тех пор держат руку под козырек, пока дед не заметит и не кивнет.

Но в фигуре деда нет ничего властного. Правда, он неистовый ругатель, горячка, крикун. Но это — по наследственной дворянской традиции.

Небольшой, щуплый, кареглазый, с очень русским лицом, с седой с чернетью бородой, дед, в сущности, мягкий, а дома с детьми даже нежный человек; здесь по пустякам он может не только расстроиться, но иногда и прослезиться.

В его повадке, манерах, говоре много старины и я его люблю. Вот он маленький, седенький, в желтоватом чесучевом пиджаке, приехав из управы и дожидаясь обеда, сидит у окна; в руках его бинокль, дед глядит в бинокль на керенскую площадь, это его любимый отдых; он на все смотрит и все ругает.

С Почтовой улицы в доморощенных поддевках и дворянских картузах выехали на площадь на вороной кляче в ветхозаветной казанке, одичавшие помещики, отец и сын Лахтины; они славятся небывальщиной охотничьих рассказов, ничегонеделанием и неограниченной способностью съесть и выпить любое количество яств и питей. На обглоданной кобыле Лахтины подобием рыси еле движутся по керенской площади. И не отрывая глаз от бинокля, дед с сердитой издевкой бормочет:

— Ах, российские дворяне, ах, сукины сыны, вот уж поистине прохиндерцы!

Дед сердится, рассматривая хорошо знакомых Лахтиных. А дворяне Лахтины под неслышимые ругательства своего предводителя переезжают на кляче площадь и скрываются за собором.

И еще долго доругивается дед, пока какой-нибудь иной предмет на керенской площади не отвлечет его внимания. Вот на площадь вышла и идет к собору керенская щеголиха, купчиха Крюкова; дед, нахмуря мохнатые брови, рассматривает ее в бинокль:

— Вырядилась! Подумаешь! Футы-нуты! Ах ты скнипа! — шепчет и смеется дед.

Маленький, седенький, кареглазый, он сидит у окна. Перед ним керенская площадь, тишина, далекий монастырь, темнеющее небо, поля, ветер. Вся Россия. Дед стар, помнит и барщину, и крепостное право. Здесь он вырос, здесь и умрет, и знает место своей могилы в белом далеком монастыре.

IV

По пятницам я просыпался от прилива базара.

Площадь забита людьми и лошадьми, распряженными телегами, торчащими в небо оглоблями, привязанными телятами, жеребятами. Рубахи, сарафаны, рукава, платки испестрили всю

площадь; бабы в бусах и жирно смазанных котах сидят на возах, лузгая семечки; ходят татары в цветистых тюбетейках и бесподметных козловых сапогах; у соборной ограды цыгане гоняют подыхающих коней. Мордовки вырядились в янтари и в ожерелья из серебряных рублей. Мещерки в сапогах гармошкой и с поленом на голове, хитро обкрученным белым полотенцем, расходящимся в стороны рогами; пестрота рубах, поясов, юбок. И такой гомон, крик, мычанье, ржанье, хрюканье стоят над Керенском, что далеко они слышны в обступивших город ржаных полях.

В трактире Веденяпина с утра играет тальянка. Тут сторговавшиеся мужики пьют могарыч и вывалившись сильно отяжелевшими, идут вобнятку и от широты разверстой души поют врозь разъехавшимися, расплетающимися голосами.

У деда на дворе в базарный день — столпотворение вавилонское. Сидя на траве, его ждут седобородые старики с медными цепями и бляхами — волостные старшины и писаря. Покуривая козьи ножки, лежат мужики с бабами и ребятишками: мордва, мещера, татары, русские, все съехались из медвежьих углов уезда к Сергею Петровичу; и всех по-очереди принимает дед, растолковывая мужицкие дела и нужды.

Только лишь в сумерки пустеет площадь. Вдали, за рекой Вад гаснут, уплывая, гармонья и частушки. Из острога конвойные выводят арестантов, и серые, в бескозырках, арестанты молча метут и убирают площадь.

V

Поездка в монастырь — пить чай у матери-садовницы Анны — выбивала из колеи всю жизнь в дедовом доме. О поездке говорили загодя: и небо-то ненадежное, кабы дождя не было, и жарко уж очень, мочи нет, быть грозе; наконец, все-таки, несмотря ни на что, путешествие начиналось.

Покрытая синей подушкой, линейка стоит у крыльца. Раскормленный, лоснящийся вороной жеребец всхрапывает и переминается — застоялся. Тети и дядя рассаживаются на линейке, дядя напоминает тетям, чтоб не раскрывали зонтиков, а то жеребец испугается и понесет. Линейка через площадь трогается

к реке, выезжает на окраину и поднимается на крутосклоне к лесу, где в полутора версте от города белеют монастырские стены.

Бледно-одутловатая от полноты, страдающая одышкой мать-игуменья Олимпиада сердечно встречает нас на монастырском дворе и зовет отдохнуть в монастырскую гостиницу. Мощеные чугунными плитами коридоры монастыря гулки. В гостинице пахнет просвирами, цветами и ладаном; окна — в яблоневый сад, где низкокланяющиеся розовые послушницы неслышно скользя уже накрывают под яблонями стол.

До чая тети идут помолиться в храме, а нас с братом мать-казначея ведет вниз, в келью столетней схимницы. При нашем приходе сухонькая восковая старушка поднялась с колен, чтоб благословить нас. В лампадном сумраке ее кельи вместо постели чернеется гроб — кругом тишина, распятие, киот, образа и только из сада долетает пение птиц.

А розовые послушницы, с щеками в легком пуху, с убегающими улыбками и поклонами, уже накрыли у пруда в саду чайный стол. Несут краснеющий угольями самовар и чай начинается — с просвирами, со знаменитым монастырским малиновым вареньем, с анисовыми яблоками, которые мать-садовница Анна колупает ложечкой в чашку. Между яблонь мелькают склоненные черные силуэты послушниц-работниц, поют кругом какие-то невидимые птицы, и солнце наполняет блеском и золотом многодесятинный душистый монастырский сад, обнесенный крепким тыном.

Еще более взрывающим жизнь событием бывала поездка в родовое дедово имение Сапеловку; туда больше раза в лето не ездили, потому что двенадцать верст казались невероятным и трудным расстоянием.

Ехали в Сапеловку на ямских через Каменку, через пленительную Нагорную Лаку, куда даже в жнитво, в июльский зной сходились толпы баб помолиться чудотворной иконе. Об иконе существовало предание, будто в давние времена купец, родом из Нагорной Лаки, стал тонуть в Дону и уж захлебывался, как вдруг заметил доску, ухватился за нее и доплыл с нею до берега. А на берегу увидал на доске стертый лик Богоматери и, поняв это как

знамение, вправил лик в драгоценную ризу и привез в родное село. Молиться этой иконе Донской Божьей Матери и сходились в престольный праздник из соседних сел.

Когда по косо освещенной аллее мы подъезжали к Сапеловке, меня всегда охватывало смутное чувство волнения. Сапеловка — классическая усадьба мелкопоместных дворян. Илистый, сроду нечищенный пруд, с которого, подойдя, спугнешь диких уток; фруктовый сад со знаменитой родительской вишней; уродливые старухи-яблони, накренившиеся до земли под пестрыми пудами яблок; березовые аллеи со стволами, изрезанными порыжелыми инициалами. И в саду — покосившийся дом с двумя колоннами и подгнившими ступеньками.

У въезда в усадьбу, заслышав бубенцы, нас встречает, сняв шапку, однорукий чернявый мужик Алексей, управляющий имением, по пьяному делу потерявший руку на конной молотилке. Его невестка, сбитая босая солдатка с грудями, высоко перетянутыми сарафаном, несет из людской ситника и молока. Мы походим по саду, пособираем яблоков, раек, дуль. И после того, как дядя обошел поля и переговорил с Алексеем обо всем несложном хозяйстве, отдохнувшие лошади с новым перезвоном бубенцов везут нас назад из усадьбы, в Керенск.

В обступившей усадьбу деревне, состоящей всего из тридцати дворов, линейку уже ждут ребятишки и, завидев, кричат: «Барыня, яблочков, дулей дай!» С линейки летят яблоки, райки, дули. Ребятишки давкой подхватывают их, пока в завившейся пыли линейка не исчезнет в поле.

Чтобы не захватить темноты, ямщик трогает все резвей. Когда мы въезжаем на Керенскую площадь, я уже вижу беспокойную фигуру деда, вглядывающего с балкона в бинокль вдаль. И знаю, что как только слезем с экипажа, бабушка взволнованно и недовольно проговорит: «И чего это вы до темноты довели, мы уж думали, случилось что».

VI

— Дети, дети, Юдка идет!

И мы, торопясь что есть мочи, бежим из сада глядеть на

полуголого, обросшего волосом, безобразного юродивого, выкрикивающего на площади нечленораздельные звуки.

Юдку знают все. Из ворот, из калиток божьему человеку выносят кто одежду, кто поесть, и Юдка день-деньской бродит по керенским улицам, пока вдруг внезапно не сгинет, не пропадет куда-то. И тогда керенцы говорят: «Что-то Юдку давно не видать, не помер ли?»

Иногда нас звали смотреть и на проповедника. Рыжебородый, в пасконных портках, в рубахе на одной медной пуговице мужик с волосами до плеч, с острым волчьим взглядом, и в мороз и в распутицу шлепавший босиком, проповедник появлялся, главным образом, в базарные дни. Голосом пронзительным, с повелительным жестом он начинал всегда одну и ту же проповедь: «Мир кончается, кончина приближается, антихрист нарождается, страшный суд на всех надвигается. В его короткую огрубелую ладонь падали семишники, трешники, пятаки перепуганных насмерть баб; а проповедник тут же раздавал медяки кому попало, только усиливая тем бабьи доброхотные даяния.

Реже нарушал тишину и сонность керенской жизни дурачок Ваня Приезжев. Трезвый, он был тих, все понимал, но когда кто-нибудь для смеху подпаивал дурака, Ваня становился буйным и одичалым. Тогда он выбегал на площадь, бушуя и крича, и никто не мог понять, что ему надо. Кончалось же это тем, что трое ражих городовых хватали здоровенного дурака и тащили в узилище через площадь. Ваня, вырываясь от них, оглашал Керенск таким животным воем и плачем, что обыватели в отчаянии высовывались в окна. Наконец, дед, не выдержав, быстрыми шагами выходил на балкон и сердито кричал городовым: «Да, пустите вы его, дурака! Куда вы его тащите!» Городовые отпускали Ваню и вой тихо замирал ко всеобщему облегчению.

Так и шла жизнь. Вокруг города гнулись золотистые поля ржи, серебряные — овса, медные — проса. Арестанты мели базарную площадь. В городском саду керенская молодежь ставила любительские спектакли, там немногочисленные чиновники пили пиво и играли на бильярде. И, неспеша, на земское собрание съезжались со всего уезда гласные.

А когда ветер тянул с реки Чангара, весь Керенск наполнялся терпким запахом конопли.

В такой именно вечер я, уже отроком, уезжал из Керенска на той же гаврилиной тройке, ни о чем не думая, а только остро ощущая всю прелесть и радость всего мира, где нет и не может быть никаких перемен и где все решительно счастливы — и я, и Гаврила, и заплакавший при прощаньи дед, и горничная Анюта, и обогнавший нас бородатый верховой — нáрочный, и решительно весь этот чудный, сладко пахнущий коноплей Керенск.

РОМАН ГУЛЬ
«Я УНЕС РОССИЮ»
Апология эмиграции
Том I. «Россия в Германии». Второе, исправленное и дополненное издание. 364 стр. $12
Том II. «Россия во Франции», 356 стр. $15.

Заказы направлять по адресу:
"The New Review", 2700 Broadway,
New York, N.Y., 10025

РОМАН ГУЛЬ

ЛЕДЯНОЙ ПОХОД

В ДОНСКИХ СТЕПЯХ

В Ольгинской расположилась вся армия. День солнечный, теплый, тает снег, на улицах — черные проталины, в колеях дорог — вода. По станице снуют конные, пешие; кучками ходят казаки, с любопытством смотря на кадетов.*

Здесь армия наскоро переформировывается. Пехота сводится в три полка: офицерский с командиром ген. Марковым, партизанский с командиром ген. Богаевским и ударный Корниловский с командиром подполк. Нежинцевым. В офицерском полку — три роты по 250 человек. В Корниловском — три батальона, всего около 1000 человек.** В партизанском — человек 800-1000. Конные отряды: полк. Глазенапа, полк. Гершельмана, есаула Бокова, имени Бакланова, всего 800-1000 человек. Артиллерия: пушек десять легких и к ним немного снарядов. Обоз сократили. Штатским Корнилов приказал оставить армию.

Через день выступаем в степи, на ст. Хомутовскую. Шумит, строится на талых улицах пехота, скачут конные, раздаются команды, крики, приветствия. Армия тронулась. В авангарде — ген. Марков, в арьергарде — корниловцы.

День весенний. Небо голубое. Большое блистающее солнце.

См. «*Н. Ж.*», № 163.

* Так называли нас на Дону и Кубани.

** Наш отряд влился в Корниловский полк тремя офицерскими ротами.

Прошли станицу — раскинулась белая тающая степь без конца, и в этом просторе изогнулась черной змейкой маленькая армия, растянулись пешие, конные, обозы.

— Корнилов едет! Корнилов едет! — несется по рядам сзади.

— Полк, смирно! Равнение направо!

Все смолкло, выровнялись ряды, повернулись головы.

Быстро, крупной рысью едет Корнилов на светлобуланом английском коне. Маленькая фигура генерала уверенно и красиво сидит в седле, кругом него толпой скачут текинцы в громадных черных, белых папахах.

Генерал поровнялся с нами. Слегка откинувшись, сдерживая коня, кричит резким, не идущим к его фигуре басом: «Здравствуйте, молодцы-корниловцы!» — «Здраем желаем Ваше Высок — дитс» — на ходу, нестройно, но громко и восторженно отвечают корниловцы.

Генерал рысью пролетел, за ним перекатываются нестройные приветствия.

Появление Корнилова, его вид, его обращение вызывают во всех чувство приподнятости, готовности к жертве. Корнилова любят, к нему благоговеют.

Останавливаясь, отдыхая тянется армия. В белой дали показался табун диких коней. Пригнувшись, поскакали за ним кавалеристы.

— Пускай поймают, — иронически ухмыляется верховой казак.

Метнулся табун, в стороны понеслись молодые кони. Кавалеристы гонятся за ними, носятся по степи, но не поймать диких. На взмыленных, тяжелодышащих конях возвращаются к дороге.

К вечеру пришли в Хомутовскую. По улицам мечутся квартирьеры. Не хватает хат. Люди разных частей переругиваются из-за помещений. Переночевали... Ранним утром торопятся, пьют чай, звенят, разбирая винтовки. «Та-та-та» — протрещало где-то.

— Что это? пулемет? — Какой пулемет, на дворе что-то треснуло.

На минуту все поверили. Но вот ясно затрещал пулемет, а за ним с визгом разорвались на улице две гранаты.

— В ружье! — командует полковник.

— «Большевики нагоняют», — думает каждый.

По полосатым от тающего снега улицам бегут взволнованные люди. Вылетают из ворот обозные телеги, бессмысленно уносясь вскачь.

— Куда скачешь! — кричат пехотинцы. — Эта обозная сволочь всегда панику делает!

Быстро идем на край станицы. Мимо нас скачет обоз, вон коляска с парой вороных коней — в ней генералы Эльснер и Деникин. Ей навстречу идет Корнилов с адъютантами: — «По обыкновению наши разъезды прозевали, ничего серьезного, будьте спокойны, господа», — говорит генерал.

Мы рассыпались в цепь за станицей. Редкие выстрелы винтовок, редко бьет артиллерия. Большевики ушли.[3] Все смолкло.

Опять идем по бескрайней белой степи. Один день похож на другой. И не отличить их, если б не весеннее солнце, начавшее заменять белизну ее — черными проталинами и ржавой зеленью.

Прошли Кагальницкую, Мечетинскую, движемся в главных силах. Корнилов идет вместе с нами. То там то сям запевают песни. Кругом дымится, потягивается от солнца черно-пегая степь.

Приостановилась колонна. Около нее стоит Корнилов в зеленом полушубке, в солдатской папахе, в солдатских сапогах — задумался, смотрит вдаль, окруженный молодежью.

За войсками скрипит обоз. На телеге — группа штатских: братья Суворины с какой-то дамой. Подвода текинцев с Федором Баткиным.* Трясется на подводе сотрудник «Русского Слова» Лембич. В маленькой коляске — ген. Алексеев с сыном. Едут кругом подвод прапорщики-женщины. Везут немногих раненых, взятых из Ростова, рядом идут сестры.

В Егорлыцкой, последней донской станице, дневка. Остановились у богатого казака. Хозяйка напекла блинов, пьем чай, разговариваем с хозяином. — А какой у вас пай, хозяин? — У нас, слава Богу, — медленно отвечает казак, — на казака пай

* Баткина ненавидят гвардейцы, но он взят Корниловым и выступает вместе с ним перед казаками.

28 десятин пахотни, а луга общие. — Э, да вы буржуи настоящие. — Какие там буржуи, вот теперь расход большой, — продолжает хозяин. — Снарядить двух меньших пришлось, за коней по полтысячи отдал, кто знает, время лихое, народ молодой, может, еще воевать придется.

Помолчали.

— Ну, говорит, у вас генерал Алексеев-то, — одобрительно покачивает головой хозяин. — А что, речь что ли вам говорил? — Говорил... до слез довел, сам плакал и казаки плакали, ей-Богу. Начал издалече, про нашу историю говорил, потом про войну, про теперешнее. Да я и не перескажу всего, больно хорошо. — А Корнилов говорил? — Говорил, да он не красно, все ругался больше: мерзавцы, подлецы. — Это кого же? — Кого? Известно, кого — большевиков; сказывал, что сам простой казак, ну да не красно он говорит. Матрос после него говорил — хорошо, а лучше всех генерал Алексеев.

Из станицы Егорлыцкой мы должны итти в Ставропольскую губернию. Всех интересует: как встретят иногородние. Ходят разные слухи: встретят с боем, встретят хлебом-солью. Стало известно: к Корнилову приезжала депутация из села Лежанки. Корнилов сказал: пропустите меня, будьте покойны, ничего плохого не сделаю, не пропустите, огнем встретите — за каждого убитого жестоко накажу. Депутация изъявила свою лояльность. Казалось, что все обстоит благополучно.

ЛЕЖАНКА

Мы выступили. Те же войска, тот же обоз потянулись по той же степи. В авангарде ген. Марков. В главных силах — мы.

День чудный. На небе ни облачка, солнце яркое, большое. По степи летает теплый, тихий ветер. Здесь степь слегка волнистая. Вот дойти до того гребня — и будет видна Лежанка. Приближаемся к гребню. Все идут, весело разговаривая. Вдруг, среди говора людей, прожужжала шрапнель и высоко впереди нас разорвалась белым облачком. Все смолкли, остановились. Ясно доносилась частая стрельба, заливчато хлопал пулемет. Авангард встречен огнем.

За первой шрапнелью летит вторая, третья, но рвутся они высоко и далеко от дороги.

Мимо войск рысью пролетел Корнилов с текинцами. Генерал Алексеев проехал вперед.

Мы стоим недалеко от гребня в ожидании приказаний.

Ясно: сейчас бой. Чувствуется приподнятость. Все толпятся, оживленнно говорят, на лицах улыбки, отпускаются шутки.

Приказ: Корниловский полк пойдет на Лежанку вправо от дороги, партизанский — влево, в лоб ударит авангард ген. Маркова.

Мы идем цепью по черной пашне. Чуть-чуть зеленеют всходы. Солнце блестит на штыках. Все веселы, радостны — как будто не в бой.

Расходились и сходились цепи,
И сияло солнце на пути.
Было на смерть в солнечные степи
Весело итти,

— бьется и беспрестанно повторяется у меня в голове. Вдали стучат винтовки, трещат пулеметы, рвутся снаряды.

Недалеко от меня идет красивый князь Чичуа в шинели нараспашку, следит за цепью, командует: «Не забегайте, вы там! Ровнее, господа».

Цепь ровно наступает по зеленеющей пашне. Вправо и влево фигуры людей уменьшаются, вдали доходя до черненьких точек.

Пиу... пиу... — долетают к нам редкие пули.

Мы недалеко от края села.

Но вот выстрелы из Лежанки смолкли. Далеко влево пронеслось «ура». «Бегут! бегут!» — пролетело по цепи, и у всех забила радостно-охотничья страсть: бегут! бегут!

Мы уже подошли к навозной плотине. Вот оставленные свежевырытые окопы, валяются винтовки, патронташи, брошенное пулеметное гнездо.

Перешли плотину. Остановились на краю села, на зеленой лужайке около мельницы.

Куда-то поскакал подполковник Нежинцев. Из-за хат ведут

человек 50-60 пестро одетых людей, многие в защитном, без шапок, без поясов, головы и руки у всех опущены.

Пленные.

Их обгоняет подполковник Нежинцев, скачет к нам, остановился — под ним танцует мышиного цвета кобыла. «Желающие на расправу!» — кричит он. «Что такое?» — думаю я. — «Расстрел? Неужели?» Да, я понял: расстрел вот этих 50-60 человек с опущенными головами и руками.

Я оглянулся на своих офицеров. «Вдруг никто не пойдет, — пронеслось у меня. Нет, выходят из рядов. Некоторые смущенно улыбаясь, некоторые с ожесточенными лицами. Вышло человек пятнадцать. Идут к стоящим кучкой незнакомым людям и щелкают затворами.

Прошла минута.

Долетело: «пли!» Сухой треск выстрелов, крики, стоны...

Люди падали друг на друга, а шагов с десяти, плотно вжавшись в винтовки и расставив ноги, по ним стреляли, торопливо щелкая затворами. Упали все. Смолкли стоны. Смолкли выстрелы. Некоторые расстреливавшие отходили.

Некоторые добивали штыками и прикладами еще живых.

Вот она, гражданская война; то, что мы шли цепью по полю, веселые и радостные чему-то, — это не «война». *Вот она, подлинная гражданская война.*

Около меня — кадровый капитан, лицо у него, как у побитого. «Ну, если так будем, на нас все встанут», — тихо бормочет он.

Подошли расстреливавшие офицеры. Лица у них бледны. У многих бродят неестественные улыбки, будто спрашивающие: «Ну, как после этого вы на нас смотрите?»

— А почем я знаю? Может быть, эта сволочь моих близких в Ростове перестреляла! — кричит, отвечая кому-то, расстреливавший офицер.

«Построиться!» Колонной по отделениям идем в село. Кто-то деланно лихо запевает похабную песню, но ее не подтягивают, и песня обрывается.

Вышли на широкую улицу. На дороге, уткнувшись в грязь, лежит несколько убитых людей. Здесь все расходятся по хатам. Ведут взятых лошадей. Раздаются выстрелы.

Подхожу к хате. Дверь отворена — ни души. Только на пороге, вниз лицом, лежит большой человек в защитной форме. Голова в луже крови, черные волосы слиплись.

Идем по селу. Оно как умерло: людей не видно. Показалась испуганная баба и спряталась. На углу — кучка, человек двенадцать. Подошли к ним — пленные австрийцы. «Пан! Пан! Не стрелял! Мы работал здесь!» — торопливо, испуганно говорит один. — «Не стрелял теперь!» — «Знаю, сволочи!» — кричит кто-то. Австрийцы испуганно протягивают руки и лопочут ломанно по-русски: «Не стрелял, не стрелял, работал».

— Оставьте их, господа, — это рабочие.

Проходим дальше.

Начинает смеркаться. Пришли на край села. Остановились. Площадь. Недалеко церковь. Меж синих туч медленно опускается красное солнце, обливая все багряными алыми лучами.

Здесь стоят и другие части.

Кучка людей о чем-то кричит. Поймали несколько человек. Собираются расстрелять.

— Ты солдат... твою мать?! — кричит один голос.

— Солдат. Да я, ей Богу, не стрелял, помилуйте, невиновный я! — плачет другой.

— Не стрелял... твою мать?! — револьверный выстрел. Тяжело, со стоном падает тело. Еще выстрел.

К кучке подошли наши офицеры. Тот же голос спрашивает пойманного мальчика лет восемнадцати.

— Да, ей Богу, дяденька, не был я нигде! — плачущим, срывающимся голосом кричит мальчик, сине-бледный от смертного страха.

— Не убивайте! Не убивайте! Невинный я! Невинный! — истерически кричит он, видя поднимающуюся с револьвером руку.

— Оставьте его, оставьте! — вмешались подошедшие офицеры. Князь Чичуа идет к расстреливающему: «Перестаньте, оставьте его!» Тот торопится, стреляет. Осечка.

— Пустите, пустите его! Чего, он ведь мальчишка!

— Беги... твою мать! Счастье твое! — кричит офицер с револьвером.

Мальчишка опрометью бросился. Стремглав бежит. Топот

его ног слышен в темноте. К подп. Кленовому подходит хорунжий М., тихо, быстро говорит: «Пойдем... австриец... там». — «Где?... Идем». В темноте скрылись.

Слышатся их голоса, возня. Выстрел, стон — еще выстрел.

Из темноты к нам идет подп. Кленовой. Его догоняет хорунжий М. и опять быстро: «Кольцо, нельзя только снять». — «Ну? Нож у тебя?» Опять скрылись. Вернулись. «Зажги спичку», — говорит Кленовой. Зажег. Оба, близко склонясь лицами, рассматривают. «Медное... его мать!» — кричит Кленовой, бросая кольцо, — знал бы, не ходил, мать его».

Совсем темно. Черным силуэтом с крестом рисуется церковь. Едет кавалерия.

Идем размещаться на ночь. Около хат спор, ругань.

— Мы назначены сюда, это наш район! Здесь корниловцы, а не артиллеристы! — Артиллеристы не пускают. Шум. Брань.

Все-таки корниловцы занимают хаты. Артиллеристы, ругаясь, крича, уходят.

Хата брошена. Хозяева убежали. Раскрыт сундук, в нем разноцветные кофты, юбки, тряпки. На стенах налеплены цветные картинки, висят фотографии солдат. В печке нетронутая каша. Несут солому на пол. Полезли в печь, в погреб, на чердак. Достали кашу, сметану, хлеб, масло. Ужинают. Усталые, засыпают вповалку на соломе.

Утро. Кипятим чай. На дворе поймали кур, щиплют их, жарят. Верхом подъехал знакомый офицер Ващенко. «Посмотри, нагайка-то красненькая!» — смеется он. Смотрю: нагайка в запекшейся крови. «Отчего это?» — «Вчера пороли там молодых. Расстрелять хотели сначала, ну, а потом пороть приказали» — «Ты порол?» — «Здорово, прямо руки отнялись, кричат, сволочи!» — захохотал Ващенко. Он стал рассказывать, как вступали в Лежанку с другой стороны: «Мы через главный мост вступили. Так, знаете, как пошли мы на них, они все побросали, бегут! А один пулеметчик сидит, строчит по нас и ни с места. Вплотную подпустил. Ну, его тут закололи... Захватили мы несколько пленных на улице. Хотели к полковнику вести. Подъехал капитан какой-то из обоза, вынул револьвер, раз, раз, раз — всех положил, и все приговаривает: «Ну, дорого им моя

жинка обойдется!» У него жену, сестру милосердия, большевики убили.

— А как пороли? Расскажи, — спросил кто-то.

— Пороли как? Это, поймали молодых солдат, человек двадцать, расстрелять хотели, ну а полковник тут был, кричит: «Всыпать им по пятьдесят плетей!» Выстроили их в шеренгу на площади. «Снять штаны!» Сняли. Командуют: «Ложись!» Легли. Начали их пороть. А есаул подошел: «Что вы мажете? — кричит, — разве так порют! Вот как надо!» Взял плеть, да как начал! Как раз. Сразу до крови прошибает! Ну, все тоже подтянулись. Потом по команде: «Встать!» Встали. Их в штаб отправили. А вот одного я совсем случайно на тот свет отправил. Уже совсем к ночи. Пошел я за соломой в сарай. Стал брать — что-то твердое, полез рукой — человек! Вылезай, кричу. Не вылезает. Стрелять буду! Вылез. Мальчишка лет двадцати. — «Ты кто, говорю, солдат?» — «Солдат». — «А где винтовка?» — «Я ее бросил». — «А зачем ты стрелял в нас?» — «Да как же, всех нас выгнали, приказали». Идем к полковнику. Привел. Рассказал. Полковник кричит: «Расстрелять его, мерзавца!» Я говорю: он, господин полковник, без винтовки был. Ну, тогда, говорит, набейте ему морду и отпустите. Я его вывел. Иди, говорю, да не попадайся. Он пошел.

Вдруг выбегает капитан П-ев, с револьвером. Я ему кричу: его отпустить господин полковник приказал! Он только рукой махнул, догнал того. Вижу, стоят, мирно разговаривают, ничего. Потом вдруг капитан раз его, из револьвера. Повернулся и пошел. Утром посмотрел я — прямо в голову.

— Да, — перебил другой офицер, — я забыл сказать. Знаете, этих австрийцев, которых мы не тронули-то, всех чехи перебили. Я видал, так и лежат все кучей.

Я вышел на улицу. Кое-где были видны жители — дети, бабы. Пошел к церкви. На площади в разных вывернутых позах лежали убитые. Налетал ветер, подымал их волосы, шевелил их одежды, а они лежали, как деревянные.

К убитым подъехала телега. В телеге — баба. Вылезла, подошла, стала их рассматривать подряд. Тех, кто лежал вниз лицом, она приподнимала и опять осторожно опускала, как будто боялась сделать больно. Обходила всех, около одного

упала сначала на колени, потом на грудь и жалобно, громко заплакала: «Голубчик мой! Господи, Господи!»

Я видел, как она, плача, укладывала мертвое непослушное тело на телегу, как ей помогала другая женщина. Телега, скрипя, тихо уехала.

Я подошел к помогавшей женщине.

— Что это, мужа нашла?

Женщина посмотрела на меня тяжелым взглядом: — «Мужа» — Ответила и пошла прочь.

Зашел в лавку. Продавец — пожилой благообразный старичок. Разговорился. «Да зачем же нас огнем встретили? Ведь ничего бы не было! Пропустили бы и все» — «Поди ж ты — развел руками старичок, — все ведь эти пришлые виноваты — Дербентский полк, да артиллеристы. Сколько здесь митингов было. Старики говорят: пропустите, ребята, беду накликаете. А они все одно: уничтожим буржуев, не пропустим. Их, говорят, мало, мы знаем. Корнилов, говорят, с киргизами, да с буржуями. Ну, молодежь и смутили. Всех наблизовали, выгнали окопы рыть, винтовки пораздали. А как увидели ваших, ваши как пошли на село, — бежать. Артиллеристы первые на лошадей, да ходу. Все бежать! Бабы! Дети!» Старичок вздохнул: — «Что народу-то, народу побили, невинных-то сколько. А из-за чего все? Спроси ты их».

Я прошел на главную площадь. По площади носился вихрем, джигитовал текинец. Как пуля, летала маленькая белая лошадка, а на ней то вскакивала, то падала, то на скаку свешивалась до земли малиновая черкеска текинца. Смотревшие текинцы одобрительно, шумно кричали...

Вечером, в присутствии Корнилова, Алексеева и других генералов, хоронили наших, убитых в бою. Их было трое. Семнадцать было ранено. В селе Лежанке было 507 трупов.

НА КУБАНИ

Из Ставропольской губернии мы свернули на Кубань. Кубанские степи непохожи на донские, нет донского простора, шири, дали. Кубанская степь волнистая, холмистая, с пере-

лесками. Идем степями. Весна близится. Дорога сухая, зеленеет трава, солнце теплое.

Пришли в станицу Плотскую, маленькую, небогатую. Хозяин убогой хаты, где мы остановились — столяр, иногородний. Вид у него забитый, лицо недоброе, неоткрытое. Интересуется боем в Лежанке.

— Здесь слыхать было, как палили, а чевой-то палили то?

— Не пропустили они нас, стрелять стали.

По тону видно, что хозяин добровольцам не сочувствует.

— Вот вы образованный, так сказать, а скажите мне вот что: почему это друг с другом воевать стали, из чего это поднялось? — Хозяин говорит и хитро смотрит.

— Из-за чего? Большевики разогнали Учредительное собрание, избранное всем народом, силой власть захватили, вот и поднялось.

Хозяин немного помолчал.

— Опять вы не сказали, например, вот скажем, за что вы воюете?

— За Учредительное собрание. Потому что думаю, что оно одно даст русским людям свободу и спокойную трудовую жизнь.

Хозяин недоверчиво, хитро смотрит на меня.

— Ну, оно, конечно, может, вам и понятно, вы человек ученый.

— А разве вам непонятно? Скажите, что вам нужно, что бы вы хотели?

— Чего? Чтобы рабочему человеку была свобода, жизнь настоящая и к тому же земля.

— Так кто же вам ее даст, как не Учредительное собрание?

Хозяин отрицательно качает головой.

— Так как же? Кто же?

— В это собрание-то нашего брата и не допустят.

— Как не допустят, ведь все же выбирают, ведь вы же выбирали?

— Выбирали, да как там выбирали: у кого капиталы есть, те и попадут, — упрямо заявляет хозяин.

— Да ведь это же от вас зависит!

— Знамо, от нас, только оно так выходит.

Минутная пауза.

— А много набили народу-то в Лежанке? — неожиданно спрашивает хозяин.

— Не знаю... много...

Идем из Плотской тихими, мягкими зелеными степями. В ст. Ивановской станичный атаман со стариками встречают Корнилова хлебом-солью, подносят национальный флаг. День праздничный, оживление. Казаки, казачки высыпали на улицы, ходят, шелуша семячками. Казаки — в серых, малиновых, коричневых черкесках. Казачки в красивых разноцветных платках.

Нас встречают радушно. Из хат несут молоко, сметану, хлеб, тыквенные семячки.

На площади кучками толпятся войска: пешие, конные. Бравурно разносятся военные песни. В кружках танцуют наурскую лезгинку. Казаки, казачки, угощая кто чем, с любопытством разговаривают с нами.

— Ну вот, я говорил вам, что на Кубани будет совсем другое отношение, видите, — говорит кто-то.

Поднялись выступать. Шумными рядами строятся войска. Около нас плачут две старые казачки:

— Молоденькие-то какие, батюшки... Тоже, поди, родных побросали.

Мимо проходит юнкерский батальон. Молодой стройный юнкер речитативом-говорком лихо запевает:

Во селе Ивановке случилась беда,
Молодая девченычка сына родила.

И со смехом гулко подхватывают, всё экспромт, юнкера:

Трай рай ра-ай раааай
Молодая девченычка сына родила...

На Кубани повеяло традицией старой Руси. Во всех станицах встречают радушно, присоединяются вооруженные казаки. В станице Веселой остановились отдохнуть. В нашей хате — старый казак с седой бородой, в малиновой черкеске, с кинжа-

лом, газырями. Рядом с ним его жена — пожилая, говорливая казачка. И муж и жена подвыпили.

— Россию восстановим! Порядок устроим! Так, братцы, так или нет!? — кричит оглушительным басом казак, ударяя себя кулаком в грудь.

— А вы с нами пойдете?

— Пойду, провалиться, пойду, я уж записался. Старый пластун с вами пойдет, понимаете? — И казак затянул:

Поехал казак на чужбину далеку
На север на славном коне вороном.

Его жена подхватила сильным визгливым голосом.

Из Веселой надо переходить железную дорогу Ростов—Тихорецкая. Железнодорожная линия занята большевиками. Мы должны прорываться, и чтоб перейти, поспеть на раннем рассвете, выступаем в 8 часов вечера.

Приказано: не курить, не говорить, двигаться в абсолютной тишине. Момент серьезен.

В темноте ночи тянутся темные ряды фигур, сталкиваются, цепляясь винтовками, звеня штыками. Хочется спать. Холодно. Идем.

Черная темнота начинает сереть. С края горизонта чуть лезет белосиний рассвет. Уже можно разобрать лица. Теперь недалеко от железной дороги.

Остановились. Холод сковывает тело. Люди опускаются на землю.

— Господа, кто хочет греться по способу Петра Великого? — зовет капитан. Встают, плотная куча людей качается, толкается, все лезут в середину.

Впереди ухнули взрывы — это наша конница рвет мосты.

«Встать! Шагом марш!» Идем. Уже вдали виднеются здания, железная дорога и станция — значит, авангард прошел благополучно. Подходим к Ново-Леушковской, наша рота заняла станцию. Здесь мы охраняем переправу обоза.

Но через полчаса летит с подъехавшего бронированного поезда и рвется на перроне большевистская граната. Снаряды рвутся кругом станции, бьют по обозу. Видно, как черненькие

фигурки повозок поскакали рысью. Но обоз уже переехал. И мы уходим от Леушковской по гладкой дороге меж зелеными всходами. Прорвались.

До отдыха, Старо-Леушковской, верст восемь. Мы идем открытой степью, а вправо и влево от дороги рвутся посылаемые с бронированных поездов гранаты, подымая землю черными столбами. Сейчас маленький гребень — и скроемся. Перешли его. Долетели два снаряда. Смолкло, стало легче, неприятное напряжение упало. Зашагали быстрей.

— Ну и переход сегодня! Дойдем до Старо-Леушковской и будет 72 версты!

— А усталости почему-то не чувствуется.

— Когда гранатами кругом кроет — не почувствуешь, а вот, приди в станицу.

Разместились в Старо-Леушковской. Принесли в хату соломы. Пристают к хозяйке с ужином.

— Да, ей Богу, ничего нема, — отговаривается недовольная хозяйка.

Но достали и ужин, нашли граммофон, захрипевший «Дунайские волны».

— Сестры, вальс générale! Вальс!

Два офицера закружились по комнате с Таней и Варей.

БЕРЕЗАНСКАЯ

Стало совсем весенне. Степь изумрудна — на бархате черного фона. Солнце сияет. Ветер ласковый, трепетный.

Мы прошли Ираклиевскую, идем на Березанскую. По пути, по рядам пошел разговор: «Станица занята большевиками, придется выбивать». Долетели выстрелы. Авангард столкнулся — будет бой.

Остановились. Приказано: обойти станицу — ударить с фланга. Корниловский полк уходит с дороги влево, идет зеленой пашней.

Легли за складкой. Трещат винтовки в стороне авангарда.

Встали, двинулись густой цепью. В котловине видна Березанская. Только вышли на гребень, по нас засвистали пули —

часто, ожесточенно. Упало несколько раненых, но цепь движется вперед, оставив на месте неподвижно лежащих людей и склонившихся над ними сестер.

Опять залегли. Над головами посвистывают пули. К цепи подходит штаб-капитан Садовень: «Вторая рота, снимите шапки, князь убит».

Не все расслышали. «Что? что?» — «Князь убит!» — пролетело по цепи.

Все сняли шапки, перекрестились.

— Господа, кому-нибудь надо сходить к телу князя. Нельзя же бросить, — говорит Садовень.

Я встал, пошел вперед по указанному направлению.

На зеленом поле под голубым небом лежал красивый князь, немного бледный. Левая рука откинута, лицо повернуто в полоборота. Над ним склонилась сестра Дина Дюбуа.

— Убит, — сказала тихо.

— Куда? — Не могу найти — нигде нет крови.

Я смотрю на бледного князя и вспоминаю его радостным, танцующим лезгинку.

А кругом отовсюду трещит стрельба. Наши цепи движутся вперед. В станице раздаются беспорядочные выстрелы. Большевики бежали. Далеко по полю лавой летит кавалерия.

Подвели князева коня, с трудом положили тело поперек седла и, поддерживая его, я повел коня к станции.

У маленького хуторка надеюсь получить подводу. Встретил товарища. Вошли во двор. Посреди стоит испуганная женщина.

— Хозяин дома?

— Нема, — лепечет она.

— Где же он?

— Да хиба ж я знаю, уихал.

Объясняю, что мне надо. Женщина от перепуга не понимает.

— Коней моих возьмете, так что я делать буду? — вдруг плачет она.

— Да не возьму я коней. Мне довезти убитого надо. Давай телегу, сама садись, поедем с нами.

Вместе запрягаем лошадей. На двор вбегает другая женщина, рыдая и причитая: «Так як же можно, усих коней забирают!».

Я пошел узнать, в чем дело. На соседний двор въехали кавалеристы, стоят у просторного сарая, выводят из него лошадей. Около них плачет старуха, уверяя, что это кони не военные, не большевистские, а их, крестьянские.

— Много не разговаривай! — кричит один из кавалеристов.

Я пробую им сказать, что кони действительно крестьянские.

— Черт их разберет! Здесь все большевики, — отвечает кавалерист.

Они сели на своих коней, захватили в повода четырех хозяйских и шумно, подымая пыль по дороге, поехали к станице.

У ворот, согнувшись, плачет старуха: «Разорили, Господи, разорили, усих увели!».

Я уложил на телегу тело князя, взял с собой хозяйку и поехал. При въезде в станицу лежали зарубленные люди, все в длинных красных полосах. У одного голова рассечена надвое.

Хозяйка смотрит на них вытаращенными глазами, что-то шепчет и торопливо дергает вожжами.

По улицам едут конные, идут пешие, скрипят обозные телеги. По дворам с клохтаньем летают куры, визжат поросята, спасаясь от рук победителей.

Нашел свой район, въехал на широкий зеленый двор, обсаженный тополями. Навстречу вышли Таня, Варя и офицеры. Осторожно сняли князя, положили на солому под деревом. Заплакали Таня, Варя и офицеры один за другим. Ушли в хату, поставили часового.

Хата казачья. У печи готовит старая казачка, ей помогает молодая. Лица обеих заплаканы. Старая сдерживается, у молодой прорываются рыдания, она порывисто утирает лицо концом фартука. Трехлетний мальчик, крепко обхватив ее ногу, прижался и испуганно смотрит на нас.

— О чем плачешь, хозяйка? — Обе молчат, только молодая громко всхлипнула.

— Расскажи, может чем поможем.

Молодая бросила работу, уткнулась в фартук, зарыдала. Старая со слезами начала рассказывать: — «Сына маво, мужа ее, вот, наблизовали, а теперь, вот, из станицы ушли, кто знает, куды, может и убили».

— Да кто его мобилизовал-то?

— Кто, хиба ж мы знаем, кто?! Большевики, что ли, так их называют.

— Да зачем же он, казак, а пошел? Ведь не все же пошли!

— Как не итти-то? На двор пришли за ним. Говорят, расстреляем... ну, и взяли, а теперь вот...

Обе женщины плакали.

Вечером ушли в заставу. Ночь холодная, ветер сильный и злой, небо темное, ни зги не видно.

Расставили в степи караулы. Ветер пронизывает насквозь. Нашли маленький окопчик. Две смены залезли туда, а часовой и подчасок ходят взад и вперед в темноте большой дороги. Ветер гудит по проволоке и на штыках.

Новая смена. Старая спряталась в окопчике. Четыре человека скорчились, плотно прижавшись. Тепло. Тихий разговор.

— Слыхали, Корнилов приказал старым казакам на площади молодых пороть?

— Ну? За что?

— За то, что с большевиками вместе против нас сражались.

— И пороли?

— Говорят, пороли.

Наутро мы уходим на станцию Выселки. Укладываем на подводу тело князя; в дверях хаты, жалко согнувшись, плачет старая хозяйка.

— Что ты, бабушка?

— Как что. Наш-то, может, тоже так где лежит, — всхлипывает старуха...

ВЫСЕЛКИ

Вся армия идет на Журавскую. Мы — на Выселки. Они заняты большевиками и Корниловскому полку приказано — выбить.

Идем быстрым маршем. Все знают, что будет бой. Разговаривают мало, больше думают.

Спустились в котловину, поднялись к гребню и осторожно остановились. Командир полка собрал батальонных и ротных, отдает приказания.

Громыхая, проехали на позицию орудия. Развели по батальонам, а командир полка со штабом остался у холмика.

Мы вышли в открытое поле. Видна станция Выселки, дома, трубы. Идем колонной. Высоко перед нами звонко рвется белое облачко шрапнели. «Заметили, началось», — думает каждый.

«В цепь!» — раздается команда. Ухнули наши орудия. С хрипом, шуршаньем уходят снаряды. Вдали поднялась воронкой земля. Звук. Разрывы удачны. — «Смотрите, господа, там цепи, вон, движутся!»

Идем широко разомкнувшись, полк весь в цепи. Визжат шрапнели, воют гранаты. Мы близимся.

Вот с мягким пеньем долетают пули. Чаще, чаще...

Залегли, открыли огонь.

— Варя! Таня! Идите сюда! Где вы легли! Ну, зачем вы пошли, говорили же вам! — слышу я сзади себя.

Во второй цепи лежат Варя и Таня в солдатских шинелях с медицинскими сумками.

«Цепь вперед!». Поднялись. Наша артиллерия гудит, бьет прямо по виднеющимся цепям противника.

— Смотрите, смотрите, отступают! — несется по цепи.

Видно, как мелкие фигурки бегут к станции.

Их артиллерия смолкла. Наша усиленно заревела.

«По отступающему — двенадцать!» Все затрещало. Заварилась стрельба. Чаще, чаще. Слов команды не слышно.

С правого фланга из лощины вылетела лавой кавалерия, карьером понеслась за отступающими. Блестят на солнце машущие шашки.

Мы идем быстро. Мы недалеко от станицы. Впереди, перебежав полотно, бегут, уже без винтовок, маленькие фигурки. Пулеметчик прилег к пулемету, как застыл. Пулемет захлопал, рвется вперед. Маленькие фигурки падают, бегут, ползут, остаются на месте.

Мы на полотне. Кругом бестолково трещат выстрелы. Впереди взяли пленных. Подпоручик Кленовой стоит с винтовкой наперевес; перед ним молодой мальчишка кричит: «Пожалейте! Помилуйте!»

— А... твою мать! Куда тебя — в живот, в грудь, говори? — бешено-зверски кричит Кленовой.

— Пожалейте, дяденька!

— Ах! Ах! — слышны хриплые звуки, как дрова рубят. — «Ах! Ах!». И в такт с ними подпоручик Кленовой ударяет штыком в грудь, в живот стоящего перед ним мальчишки.

Стоны. Тело упало.

На путях около насыпи валяются убитые, недобитые, стонущие люди.

Еще кого-то поймали. И этот просит пощады. И опять — зверские крики.

— Беги... твою мать! — Тот не бежит, хватается за винтовку, он уже знает это «беги».

— Беги... а то! — Штык около тела. — Человек инстинктивно отскакивает, бежит, оглядываясь назад, кричит диким голосом. По нем трещат выстрелы из десяти винтовок — мимо, мимо, мимо. Он опять бежит. Крик. Упал, попробовал встать, упал и пополз торопливо, торопливо, как кошка.

— Уйдет! — кричит кто-то и подпоручик Г-нь бежит с насыпи к убегающему человеку.

— Я раненый! Раненый! — дико кричит ползущий.

Подпоручик в упор стреляет ему в голову. Из головы что-то летит высоко-высоко, во все стороны.

— Смотри, трусы в бою — самые звери после боя, — говорит мой товарищ.

В Выселках на небольшой площади шумно галдят столпившиеся войска. Все, толкаясь, лезут в центр что-то смотреть.

— Пленных комиссаров видали? — бросает проходящий офицер.

В центре круга наших солдат и офицеров стоят два человека, полувоенно-полуштатски одетые. Обоим лет под сорок, оба — типичные солдаты-комитетчики, у обоих растерянный, ничего не понимающий вид, как будто не слышат они ни угроз, ни ругательств.

— Ты какой комиссар был? — спрашивает офицер одного из них.

— Я, товарищ...

— «Да я тебе не товарищ, твою мать!» — оглушительно кричит офицер.

— Виноват, виноват, ваше благородие!» — Комиссар нелепо прикладывает руку к козырьку.

— А честь научился отдавать.

— Знаете, как его поймали, — рассказывает другой офицер, показывая на комиссара. — Вся эта сволочь уже бежит, а он с пулеметными лентами им навстречу: «Куда вы, товарищи! Что вы, товарищи!» И прямо на нас. А другой, тот ошалел и винтовку не отдает, так ему полковник как по морде стукнет. У него и нога одна штыком проколота. Когда брали — прокололи.

Вошли на отдых в угловой большой дом. Пожилая женщина вида городской мещанки, на смерть перепуганная, мечется по дому и всех умоляет ее пожалеть.

— Батюшки! батюшки! белье взяли. Да что же это такое! Я женщина бедная!

— Какое белье? Что такое? Кто взял? — вмешались офицеры.

Штабс-капитан Б. вытащил из сундука хозяйки пару мужского белья и укладывает ее в вещевой мешок. Меж офицерами поднялся крик:

— Отдайте белье, сейчас же! Какой вы офицер после этого!

— Не будь у вас ни одной пары, вы бы другое заговорили!

— У меня нет ни одной пары!

— Вы не офицер, а бандит, — кричит молодой прапорщик.

Белье отдали.

Я вышел из дома. На дороге стоят подводы. Прямо передо мной на одной из них лежит кадет лет семнадцати. Лицо бледносинее, мертвенное. Черные большие глаза то широко открываются, то медленно опускают веки. Воспаленный рот хватает воздух. Он не стонет, не говорит. Рядом с подводой — сестра.

— Куда он ранен, сестра? — Она безнадежно махнула рукой.

— В живот, шрапнелью.

Кадет закрыл черные глаза, вздрагивает всем телом, умирает.

К вечеру мы выходим за Выселки. Отошли версты четыре.

— Господа, большевики уже заняли Выселки. Смотрите, у завода как-будто орудия. И не успел офицер сказать это, как блеснул огонек, ухнула пушка и возле нас рвется одна граната, другая, третья.

Обозные телеги метнулись, понеслись. Усталая за день пехота нервничает, бежит к насыпи железной дороги — скрыться. Отступаем под взрывы, треск, вой гранат.

В восьми верстах, в хуторе Малеванном расположились ночевать. От нашей роты караул и секрет в степь. Усталые, ругая всех, идем. Темная ночь сравняла секрет с землей. Лежим. Тихо. В усталой голове бегут мысли о доме, воспоминания о каких-то радостях.

Но вот топот по дороге. Силуэты конных. По ночи ясно долетает разговор. «Стой, кто идет?» — «Свои». — «Пропуск?» — «Штык». — «Проезжайте».

(Продолжение следует)

РОМАН ГУЛЬ

ИЗ КНИГИ «ЖИЗНЬ НА ФУКСА»

Рисунок сегодняшнего дня подобен съемке крупным планом. В литературе же отчетливо то, что снято с расстояния. Поэтому моя книга, может быть, не для современников. Преодолевая денную перспективу, через их головы, я хочу говорить с далеким читателем, и обращаюсь к нему так.

Если вы любите домашний уют и мягкий диван — вы поступили прекрасно, не родившись моим сверстником. *Но если вы любитель гроз* — грустите. Родившиеся под конец столетия, мы только детство прожили тихо. Остальное было — рискованным путешествием. По географии Янчина в школах мы изучали Россию. Но России не знали. Наше поколенье узнало ее, когда шло по ней вдоль и поперек, суммой верст покрывая суворовские переходы. Жаль, что шло оно с трехлинейками. *По России хорошо бы пройти с блокнотом*. Да ничего не поделаешь, нашему поколенью было так написано на роду.

Мои сверстники могут писать интересные воспоминанья. Думаю, что рассказы этой книги — не из скучных. Тем более, что в моем путешествии судьба увела меня за границу. И бог весть чем кончился бы мой вояж, если б я вдруг не захотел, вздохнув, остановиться.

Экспонат Педагогического Музея

Вот как все началось.

В 1916 году, проездом на мировую войну, я полюбил Киев. Мы сидели на высокой террасе Купеческого Сада. Внизу был — Днепр. Наверху — небо. Мы были по 20 лет, сильные, веселые, в хаки, с шашками, наганными кобурами. И были уверены, как дважды два четыре, что скоро умрем в грязных, осыпающихся окопах. Поэтому — не только пили стопками водку, но и ели рябчиков. А под нами шевелился серебряной чешуей рыбы Днепр. «Чуден Днепр при тихой погоде». И смеялся кругом — золотой город.

В этот день — я полюбил Киев. О, если б я подозревал, что именно в прекрасном — чужом мне Киеве — через два года так зловеще повернется моя судьба. Но люди не умеют «подозревать» даже завтрашний день.

На войну уходил эшелон вечером. До вечера я пил водку и ласкал Киев глазами, как прекрасную женщину. Я люблю города.

Ночью с темных платформ под сигналы горниста мы уходили в Галицию, «участвовать в боях и походах против Австро-Венгрии». Так стояло в моем послужном списке. Но когда по галицийским шоссе в истерической панике жабами прыгали полковые повозки, заткнутый в простреленную шинель, сгинул послужной список. Вывернулась повозка на повороте. А через год исчезла Австро-Венгрия, вывернувшись повозкой на повороте истории.

Я увидал вторично Киев в 1918 году. Шел по улицам, такой же «красивый, двадцатидвухлетний».

Но никто из встречных не знал, что я пережил за два года. Оператор души крутил батальную фильму. Показывая — Юго-Западный фронт, бои, походы. Румынский фронт — походы, бои. Бешеное галицийское бегство. Огненный фронт, поднявший штыки в небо. И время гражданской войны, о котором я успел рассказать в «Ледяном походе».

Да, я был молод. А у молодости — короб желаний. Но в моем коробе было только одно: пусть никто не стреляет. Я хотел

этого всем телом. По России же шли, сдвигаясь к последнему бою, две стены: красных и белых.

Я ушел от белых с ненавистью. Красные были далеки и непонятны. И в России 1918 года мне не оказывалось места.

Ища покоя, я прибежал в Киев. Но рассчитал плохо. Здесь сидел — гетман. Не важно, что был он — глупее борзого. Важно, что был он — гетман. И не успел я заживить растертые ноги, как мобилизован под угрозой расстрела. И вот — в дружине по охране города — я стою на посту против наступающих на Киев сечевиков Петлюры. Между гетманом, скоро павшим, и Петлюрой, убитым на улице Парижа, была разница. В уме. Петлюра — умнее. В крови. У Петлюры кровь — крепче. Но какое же мне до этого дело? Заблудившись в пространстве меж красными и белыми, я захотел невыполнимого. 22-х лет от роду, в России 18-го года — быть вне гражданской войны. И вот я — в веселье украинской оперетки.

Стоя ночами на часах, я слышал тогда, как стреляла Россия 1918 года. Она стреляла и по делу, и зря. Россия отстреливалась за триста лет. И гул ее стрельбы окутывал мир дымом.

Вы никогда не услышите этого гула, читатель. Он стоял в ушах не одного Александра Блока. Я его слышал из Киева. И мне было жутко. Потому что этот гул *был вне меня*.

Я должен сказать о насыщаемости выстрелами.

Когда двадцатилетним мальчиком я сел в окопы Юго-Западного фронта и услыхал впервые стук винтовок, пулеметные очереди и разрывы бризантных снарядов, это подействовало великолепно. Хотелось вылезти, на глазах у всех идти по верху, не обращая внимания на пули, весело насвистывая и любуясь прекрасными белорозовыми облачками шрапнелей. Я никак не понимал, почему земляк Сенька Новгородцев, капитан всех наград, видавший всякие виды, от каждого выстрела дрожит дрожмя, пьет водку и шепчет, что убежит с фронта.

Но все на свете относительно и — требует эмпирического изучения. От 1916 до 1918 прошло два года. Пусть в 1918 году я не дрожал, как Сенька, — дрожмя. Зато я чувствовал с необычайной ясностью, что выстрелов сделано для меня достаточно. Человек может выстрелами быть насыщен. И если кто-нибудь захочет в теории «насыщаемости выстрелами» убедиться, то

предлагаю ему проверить это опытно. Только к теории делаю следущее примечание: выстрелы слушаются не с третьего этажа, не из штаба и не по телефону, а в непосредственной близости, так, чтобы даже пыльцу от пуль вокруг себя видеть. Тогда моя теория оказывается безупречной.

И вот я стою в Киеве — вне гула стрельбы. Я, наверное, мог бы тогда изумительно оценить строку Бориса Пастернака: «Тишина, ты — лучшее из всего, что слышал». Но я не знал, что где-то есть еще стихи. Четыре года вертел я винтовку. Прекрасные университеты, лучше горьковских. И однажды, стоя в три часа ночи посередь киевской улицы, я придумал: уеду на Афон.

Человек предполагает. В Киеве же тогда располагал Петлюра. И когда я решил уехать с ночной улицы на Афон, в Киев с Дарницы вступили великолепные синежупанники.

Часть мобилизованных убили. Часть заключили в тюрьму, приспособив для нее... Педагогический музей. И, разделив участь второй категории, под караулом петлюровских жупанников и рыжих баварских гвардейцев, я стал в России 1918 года экспонатом Педагогического музея.

Все это внешне — опереточно весело. По существу ж — тяжело и, быть может, трагично. Но я помню первое прекрасное ощущение: бросаю винтовку образца 1891 года, ем тарелку щей, раздаваемых белоснежными руками любительницы приключений, и после бессонных ночей сладко вытягиваю ноги. Я сплю.

Общая же историческая картина была тогда такова. Забинтованный под раненого, гетман покидал «неньку Украину» в немецком шнельцуге. Рядом с носилками (он лежал на носилках) стояли уютные металлические сейфы. Павло медленно докуривал гавану, не теряя сейфов из виду. Полковник гвардии его величества Вильгельма II вошел в купе:

— Как поживаете, ваша светлость? — улыбнулся он.

Павло взглянул сквозь сигарный дым и ответил скучающе:

— Ах, вы не знаете, как трудно управлять Россией!

До резвобегущего пульмана доносились выстрелы несущихся мимо белых украинских деревень.

Я же в это время проснулся на полу Педагогического музея, в комнате № 7, среди тысячи таких же, как я, экспонатов. Но

чтоб дорисовать историческую картину сполна — скажу, что было тогда с Петлюрой.

Петлюра, сидя по-штатски на белом коне, въезжал в золотой Киев. Над городом стояла «слава». И кто-то подносил батьке брильянтовую шашку свежерасстрелянного генерала Келлера.

Когда Петлюра взял ее из рук подносившего, глаза его скользнули по стене соседнего дома. Он прочел на ней обрывок приказа обладателя шашки: «Не можешь — не пей рюмки, можешь пить — дуй ведро, расстрел...»

Петлюра не дочитал — он кланялся беллетристу Винниченко, который приветствовал его по-немецки, махая ручкой. Прекрасный, как Днепр, украинский хор грянул «Заповіт». А Винниченко сказал неврастеническую речь о единой и неделимой Украине.

Возможно, что как раз в тот момент мое внимание привлек клозет Педагогического музея. Войдя в него, я ахнул. Он был испорчен от переполнения знаками отличия. Какой-то бравый генерал, влетев в клозет, стал грозиться. Его не слушали. Честь была опозорена.

И клозет погиб от погон и белых аксельбантов.

Русский человек — по природе своей — остроумный висельник. По музею ходила смерть в виде человека с оселедцем, но многие, как кур во щи влетевшие экспонаты, сидели, забавляясь тихими вицами.

Капитан Саратов лежит на полу. Щиплет струны семиструнной гитары, прекрасным баритоном напевая о случившемся:

Ходят пленные как тени,
Ни отчизны, ни семьи.

И, сделав бравурнейший перебор:

Ах вы, сени, мои сени,
Сени новые мои!

Схожий с парижским апашем, веселый русский капитан не

знает своей судьбы. Через два года из Франции он попадет в иностранный легион, в Сахару. Через четыре — умрет от раны в войне с инсургентами Абд-Эль-Керима.

Капитан поет весело. Весело перебирает струны.

Черноморец как хозяин
Раскричится иногда...

В ярких, явно опереточных костюмах, со звоном и лязгом в зал ворвались гайдамаки. На тысячи пленных наставили винтовки.

И родилась внезапная тишина — как в часовне.

Обошлось. Кто-то сумел успокоить.

Они ушли со сцены под облегченный вздох зрительного зала.

Холод. Снег. Ветер. Сотни невест, жен, матерей стоят в примыкающих к музею улицах. Я не знаю, может быть, я крупный преступник?

К матери в вестибюль я иду под конвоем сечевиков. Успеваю сказать несколько слов. Мать успевает заплакать. И я снова ложусь в зале, усеянном людскими головами, как яблоками.

О чем я думаю? Ни о чем. Я давно разучился думать. Вот когда я был юн и учился в Московском Университете — там я думал. У Ильина занимался феноменологическим методом. У Первушина — политической экономией. Для себя «страдал» над Толстым и Ницше. И любил Василия Розанова. Неразрешенных проблем в голове моей было множество. И я не верил принципу относительности.

Худа без добра не бывает. Война доказала мне теорию относительности. Глаза стали больше.

Сидя в музее, я думаю: куда же я денусь? И чувствую ясно, что среди общей борьбы я где-то застрял. У меня нет места. У меня нет роли. У меня — ничего нет. И, наверное, завтра я утону в реке — «как тонут маленькие дети». Поэтому в голову мне приходит Афон.

В музее я кое в чем убеждаюсь. Например, в том, что русские — великолепные смертники. В русских больше китай-

ского, чем европейского. Европейцу показалось бы верхом дикости: вырвавшись из-под расстрела с ежесекундным риском стать под него, начать плясать чечетку на сцене Педагогического музея, припевая:

Ой, яблочко, куда ты котишься?
В музей попадешь — не воротишься.

Пленные устроили такой спектакль. Посадив в качестве публики немецких гвардейцев, украинских сечевиков, сестер милосердия, самих арестантов. Доведя до хохота куплетами на злобу дня.

От нечего делать, я наблюдал, как выкупались за деньги генералы. Как, позабыв аксельбанты в мокром нужнике, разбегались штабные офицеры. Как мелкий экспонат сидел, пил чай из чайников белой жести, прикусывал сахар и не знал, как выглядят грядущие дни.

Ах вы, сени, мои сени,
Сени новые мои...

Если вы знаете, читатель, что такое смертная опасность, то вы вспоминаете ее всегда с удовольствием. Так уж устроено любящее страсти, немного тщеславное сердце человека.

Взрыв адской машины я вспоминаю сейчас с удовольствием. Хотя в то время не испытывал — ровно никакого.

Моя голова лежала одним из тысячи яблоков, рассыпавшихся по полу комнаты № 7. Над Киевом шла тихая украинская ночь. И яблоки были зажаты сапогами, локтями, валенками или просто плотно прижимались друг к другу.

В дреме я смотрел в потолок музея. Здание внезапно качнулось как картонное. Полсекунды. Удар залпа хороших тяжелых. Звон выбитых стекол. В ответ — тысячный стон, крик, паника.

Все произошло в секунду. Я успел только приподняться на локте и подумать: гибель Помпеи. Позднее я понял, почему — Помпея. Большинство было в нижнем белье, белые, как римля-

не. И в дикой панике метнулись, давя друг друга. У некоторых белые одежды зарозовели от стеклянных ран.

Мысль о Помпее прервалась предсмертным криком:

— В нас стреляют из пушек!

— Не врите! Это адская машина, — сказал артиллерист Калашников.

Он сидел полуголый, меланхолически ища вшей в снятой рубахе. Взрыв не нарушил серьезности занятий. Он даже чуть-чуть улыбнулся в мерцающее пенснэ. Рубашки не надел. И свою фразу исключительный циник проговорил тоном бесстрашия первой христианки.

Читатель, если на вас когда-нибудь упадет выбитый взрывом толстый кусок бемского стекла, вы будете громко и неприятно кричать. Из соседних комнат несли раненых осколками рухнувшего на спящих громадного двухрядного купола. Они кричали.

В комнату ворвались люди с оселедцами. Тоже кричали. Что всех будут бить «ногаями по-гайдамацки».

Но волноваться, правда, нечего. Лучше лежать, чем кричать. Трагедия любит тишину. И я опустился с локтя на пол.

Электрические провода оборвались. Зал потемнел. В разбитые окна дул ветер крепким душистым морозцем. И было видно, как над Киевом украинская ночь блещет, по Пушкину, звездами:

Тиха украинская ночь,
Прозрачно небо. Звезды блещут.

Тогда я, конечно, не думал о Пушкине, о России, об Украйне. Я мелкобуржуазно думал о своей матери. Мне было жаль, что столько горя видавшее сердце опять волнуется.

Мать услыхала адскую машину. И не знает — жив ли я? А я жив, смотрю в окно на украинские звезды.

Сзади меня стоят лет по девятнадцати петлюровцы-мальчишки. Который постарше — курнос до жалости, глаза у него — татарские щели. Он тыкает в воздух пальцем и, обращаясь не то к воздуху, не то к соседу, вполголоса сообщает:

— Це убив бы, це убив бы, це убив бы.

Я понимаю: это он примеряет желанья к лежащим вокруг яблокам голов. Выбирает постарее чинами, понеприятней видом, с кавалерийскими усами, с проборами, в штатских пенсне. Вообще тех, которые триста лет кровь пили.

Ах, Россия, Россия! Шутка ли дело. В 1918 году ты должна была отстреляться за триста лет!

В бесстеклые окна дул ветер, гулял и посвистывал по залам. Вместо пяти тысяч человек, согнанных с Киева, оставалось сот пять. Ибо во все времена человеческой истории деньги имели немаловажное значение.

Пятьсот безденежных дурачков, попавших в войну украинских авантюристов, как кур в самые неподходящие щи, сидели в ожидании только — «феи». Но 1918 год был годом фантастики. Человеческие жизни этого года были похожи на талантливые выдумки авантюрных романов. И «фея» пришла в костюме украинского комкора Коновальца. Она сказала совершенно спокойно на украинском языке: «17 декабря 1918 года оставшиеся в музее распоряжением Украинской Народной Директории по соглашению с германским командованием в Киеве грузятся и отправляются в Германию».

Я люблю чай. И стоял с ведерным жестяным чайником в руках, готовясь пить. Но, когда чайник услыхал слова комкора, он выпал из моих рук. Подняв его, я ничего не понимал.

Я хожу по залу в порыжелых разбухших валенках. Конечно, хочу тишины. Но лететь из страны багажом в неизвестность — не желаю. Я не мешок с овсом. Здесь моя родина. Я не владею иностранными языками. И моя мать стоит в примыкающем к музею переулке.

Я очень взволнован. Но мне просто приказывают надеть нагольный кожушок и стать в строй для отправки в Германию. «Оставаться?» «Оставаться нельзя!» И я с жестяным чайником становлюсь в строй. С ним я расстаться не могу. К тому же заграницу без вещей ехать неприлично.

Команда «кроком руш» мне, великороссу, очень нравится. Я поворачиваюсь «кроком руш» и выхожу из музея в рядах неизвестных совояжеров. Состояние — тяжкое.

Человек — слабая обезьянка. Идя улицей, хоть под конвоем, но все же по снегу, я начинаю радоваться — этому снегу. И с хрустом мну его валенками.

Киева я не знал. Шел по неизвестным улицам. Город дышал осадно. Людей не было. Только неслись неистовые конники. Да пересвистывались патрули.

Темные трамваи подползли медленно. Приказали: войти в них. И под конвоем украинской кавалерии вагоны пошли мертвым городом.

Рядом с окном крупной рысью плывет аргамак, раздувая ноздри. В полутемноте вижу только: аристократическую голову, смоченную пóтом шею, полгруди и изредка выбрасываемую вперед тонкую ногу. Над ним — папаха с рыжими лихими усами. А возле седла блещет струя обнаженной шашки. Неужели эти усы с папахой выбрасывают меня из России? Все возможно. Я не возражаю. Сейчас я почти не могу думать. Мысли бегут в голове и расплываются, не собираясь в фокус.

Сзади слышу: «Коля, смотри, у нас в столовой — огонь». Я оборачиваюсь, вижу, как Коля смотрит на огонь своей столовой. По-моему, он не понимает переживаемого.

Поймите, дорогой Коля, что вас выгоняют не только из столовой.

Быть может — из жизни. Это — тяжело.

Трамваи бегут. Исчезают Колины столовые, улицы. Остается прекрасный, неукротимый, с запененным мундштуком, аргамак у окна и над ним — папаха с лихими усами. Когда аргамак обгоняет окно, я вижу, как он чуточку подбрасывает левую заднюю. И я думаю про себя: «Он шпатит на левую».

Р. Гуль. Берлин, 1924 г.
Фото Ф. Дюшена

РОМАН ГУЛЬ

ИЗ КНИГИ «В РАССЕЯНЬИ СУЩИЕ»

Дождливый вечер

Вечер падает на город. Не видно туч. Из мокрой темноты моросит дождь. Разлились в тумане огни. Согнулись черные силуэты домов. Сквозь белесые капли желто мигают фонари. На площади дрожат сломанными от старости коленями извозчичьи лошади. Под холодным ветром бессильно никнут деревья бульвара. Тянет дождь белые нити и быстрей убегают трамваи, сбрасывая с рельс полосы воды.

На асфальте прыгает, гонится ветром дождь. С распущенным зонтом, как под парусом, — через лужи, — на каблуках бежит человек, а в витринных углублениях зло жмутся дети улицы.

Шли они вдвоем. Дождь не переставал, но был уже не острый, на плитах не подпрыгивали капли, а тихо стекали по мостовой.

Аршеневский согнулся, худой, смуглый, в легком дешевом пальто. Филатьев шел неверной, качающейся походкой — высокий и крупный.

— Вот опять я в Германии, — а знаете, во Франции, в Англии, — везде хуже. С немцами куда легче... А вы здесь безвыездно Игорь Константинович?

— Безвыездно — мы отказались.

— Да, — и были правы.

Филатьев замолчал.

В освещенном, просторном, как дворянское собрание, зале толстые лакеи немцы серьезно, размеренно скользят, разнося пиво; у каждого в руке — букет кружек. У стен, за столиками — редкие смокинги, визитки, черные дамские платья. В зале нет не только шума, но и плывущего говора: говорят негромко, мало. И лишь когда скрипки и рояль ударят упругий, негнущийся мотив фокстрота, из-за столиков встанут пудреные брюнеты и, близко прижав к себе дам в черных платьях, двинутся с ними по залу.

Перед Аршеневским и Филатьевым лакей поставил граненые кружки. Аршеневский пил. Филатьев оглядывал всех, по чужим лицам скользя карими, словно испуганными глазами.

— Какая тоска, ни одного лица интересного...

По-московски растягивая концы слов и, громко сказав, засмеялся. Толстая, черная дама, встряхнув аметистовыми сережками, обернулась.

— А вы, Игорь Константинович, сегодня грустный, что с вами?

— Пустяки... так просто... думаю о многом.

— О многом? Не советую. Думать о многом — не в стиле времени.

— Не в стиле?

— Конечно. Время «дум о многом» прошло. Теперь жизнь проще: меньше дум — больше ощущений.

Скрипки ударили фокстрот, и брюнеты с черными дамами задвигались по паркету.

После дождя небо вызвездило. Блестели улицы. Бежали, обгоняя друг друга, черные кареты с фонарями. Кричали рожки, звенели звонки. Плыли шляпы, цилиндры, пальто — узкие, широкие, черные, клетчатые, светлые; фуражки, кепи, страусовые перья, вуали. И сливался гул голосов.

У церкви, высокой, резной и темносиней от ночного неба, свернули в переулок.

— О многом думаете?

— О многом.

В темноте нельзя увидеть улыбки, только в голосе она почувствовалась у Аршеневского.

— Может быть, расскажете?

— Боюсь, не сумею.

Филатьев почувствовал его волнение.

— Ну, вот, не казалось ли вам когда-нибудь... нет... не то... Ну, вот бывает такое ощущение — у меня теперь часто... чувствуешь — летишь в бездну... И не «я» один, не «вы», а «все» мы, понимаете, все... в пропасть летим, падаем... Под ногами разверзлась какая-то грань и мы туда рухнули... вот-вот конец, разобьемся, не за что зацепиться, везде края ровные, гладкие... и летим, а дна все нет, летим в пустоту, понимаете, в пу-сто-ту. Словно история человеческая по какой-то грани лопнула, а мы жили как раз вот на этой лопнувшей грани, — летим меж эпох, дна нет, дух захватывает. Дышать нечем, жить нечем...

— Я об этом никогда не думал...

Аршеневский замолчал.

Через несколько шагов — его дом.

Щелкнул ключ, и Филатьев один в синей тишине ночной улицы.

Темные глаза

Желтый автобус хрипел, качался, словно опоенный битюг. Приостанавливался и опять мягко бежал по темным улицам. Наверху в углу сидел Аршеневский, вглядывался в наползавшую темноту с дальними, далекими огнями, в колеблющиеся фигуры людей и деревьев и казалось ему, что вбирает он их (и огни, и тьму, и людей, и деревья) — в себя, что нет никого кругом. Один он, и один он не только тут, а во всем мире — один. И мира-то нет, а все — все живет только в нем, в Аршеневском...

И вдруг страшно... закричать хочется, схватить за колени соседей...

«С ума что ли схожу?.. Страшно одному в мире»...

Он идет главной улицей меж гудящих голых лип. По бокам на скамейках — фигуры, все по-две, по-две, близко друг к другу, наверное, любят... а быть может, и не любят, — так просто, не умеют любить, ведь любить трудно, ох, как трудно. Ветер крутит пальто, вот-вот шляпу сорвет.

На углу, в пассаже — не пройти. Плывут лица сомкнутой толпой, женские, мужские, все друг в друга вглядываются, у всех губы темнотой отточены, а глаза зовут на любовь и на разврат, зовут и нежно и злобно.

Идет Аршеневский в толпе, думает: хочется любовь найти, да нет, здесь все — скверно, нет «любви», — лучшее, что есть — жалость, но она ведь нужна только жалеющему...

Снимают моментальные профили. Играют в рулетку. У буфета с грязными бутербродами толпятся проститутки, гамены.

Сбитые кепи, вместо манишки — голая грудь, глаза подведены, губы накрашены, на лицах наглая злость. Мужчины, женщины площадно ругаются. Хрипят прокуренными голосами. Девочки тут еще ходят, молодые, лет по пятнадцати, убого одетые; они еще не уличные, не совсем уличные, они еще чего-то хотят. Чиновники мелкие жалко шмыгают, для себя что-то выглядывают. И такое хотенье плывет улицей, что вот-вот закричат все хриплыми, судорогой перехваченными голосами: «хочу! хочу!» И смешаются скверно на исплеванных плитах.

«Не любовь это. Нет гармонии чувств, духа нет — только тело. Тело — гнетуще, оно от трупа и не дает успокоенности.

Любовь хороша, когда в груди лепестками раскрывается непонятный цветок. Без такой любви — нет в жизни стержня. Жизнь вращаться должна вокруг чего-нибудь, а вокруг чего же, если не любви?! Это единственное, не уходящее в тень».

РОМАН ГУЛЬ

ИЗ КНИГИ «ТУХАЧЕВСКИЙ. КРАСНЫЙ МАРШАЛ».

«Нора для кротов ваша Европа! Великие империи и великие революции совершаются только на Востоке».

Бонапарт

«В наши дни никто ни о чем великом не думает. Я покажу пример».

Бонапарт

Лейб-гвардии поручик

Таковы уж шутки истории, что первым маршалом пролетарской армии стал последний отпрыск древнего дворянского рода, лейб-гвардии поручик. Правда, шумный и богатый род столбовых дворян Тухачевских к рождению вождя Красной армии обеднел, пропустив все на кутежи, рысаков и женщин. Двести десятин удобной и неудобной земли в Чембарском уезде Пензенской губернии, заброшенная усадьба, вишневый сад, да парк с шумящими цветущими липами — вот все, что осталось у отца Тухачевского.

Михаил Тухачевский родился в 1893 году в родовом именьи;

---

* Редакция *«Н.Ж.»* публикует отрывки из первого издания книги, опубликованного берлинским издательством «Парабола» (1932 г.) Текст в квадратных скобках не был включен во французский перевод 1935 г. — Les grand chefs de l'Armée Soviétique».

в детстве не знал ни роскоши, ни изнеженности; мать умерла рано. Тухачевский рос на руках француженки-гувернантки, в дружной семье: старший брат Александр, талантливый ученый, математик, рано умершая, необычно красивая сестра Мария и брат Игорь, с детства поражавший музыкальными способностями. Семья Тухачевских была культурной, талантливой и типично русской дворянской семьей.

[Деревенское детство Миши прошло приблизительно так, как детство тезки, былого недалекого соседа по именью, гусара с трагической судьбой, Михаила Лермонтова.] Ребенком, гуляя за ручку с гувернанткой по старому парку, Миша говорил по-французски как по-русски. Это впоследствии пригодилось в немецком плену. С детства Миша любил музыку, хоть сам ни на чем не играл. Мальчиком был отчаянным, диким и странным, так что отец благополучно вздохнул, когда из Чембарской глуши привез Мишу в губернскую Пензу и поместил в стоящее на горе белое трехэтажное здание классической гимназии.

Но как юноша Сталин оказался глух к гомилетике и канонике, так же не принял и мальчик Тухачевский классицизма. [Здание Пензенской гимназии необычайно обширно, мрачно, бывший дворянский пансион Николаевской эпохи: гулкие коридоры, грандиозные классы с громадными окнами в сад, портреты царей в актовых залах, где столы накрыты зеленым сукном с позументом. Обучались тут наукам — неистовый Виссарион Белинский, террорист Каракозов с товарищами Ишутиным, Загибаловым, Ермоловым, дворяне-революционеры Войнаральский, Теплов.

Стройными рядами маршировали на молитву гимназисты в серых полувоенных куртках; молилась — пела хором — вся гимназия: на правом фланге второклассников стоит высокий, вихлястый темный шатен, красивый мальчик, под ежика, серые странноразрезанные, чуть навыкате глаза, в фигуре что-то неуравновешенное, но сильное и упорное. Это — Тухачевский.

Он славится неуспешностью, неожиданными выходками и странным озорством. Поэтому каждый день Тухачевского, изваляннного в пыли, тащит за руку за дверь надзиратель Кутузов. Желчный Кутузов истошно кричит:

— Опять, Тухачевский! Пожалте-ка за дверь!

На лице Тухачевского странная и упорная улыбка.

Через 12 лет судьба отчаянного мальчика неожиданно скрестилась с судьбой желчного неудачника-надзирателя. В октябре надзиратель Кутузов оказался большевиком и стал наркомпросом Пензенской губернии; его четыре сына, студенты, коммунисты-красноармейцы, были убиты в боях с чехами на улицах Пензы, а Красной армией, выбившей чехов из Пензы, командовал тот самый вихлястый мальчик-шатен с упорной улыбкой, Тухачевский, кого таскивал Кутузов за руку.

Но в те далекие времена трудно было представить Мишу Тухачевского коммунистическим главнокомандующим. Не было ничего похожего. Заносчивый, необщительный, холодный, пренебрежительный, Тухачевский держался от всех «на дистанции», не смешиваясь с массой товарищей.

У него был лишь свой «дворянский кружок», где велись разговоры о родословных древах, древности родов, гербах и геральдике. Научных интересов у Михаила Тухачевского не было; он ходил одиночкой, «диким мальчиком», не вызывавшим ни симпатий, ни дружб. В нем отсутствовала всякая грубость, но — полная оторванность от товарищей, аристократичность, замкнутость, в себе и ко всем — подчеркнутая надменность.

На хорах Дворянского собрания гремит серебро драгунских труб, разливает уездную мелодию вальса «На сопках Манчжурии». По залу в синих мундирах вальсируют гимназисты с гимназистками в белых фартучках. Тухачевский на балу в первой паре, тот же самый, несложившийся, красивый мальчик-шатен с странным прямым разрезом больших, выпуклых, серых глаз. Голубая распорядительская розетка на левом боку, сух, выдержан, вежлив. «Гвардеец».

Пусть недружен с товарищами, зато гимназистки от Миши без ума. И покончившая самоубийством будущая жена его, гимназистка Шор-Мансыревской гимназии, Маруся Игнатьева уверяет подруг: «стоит Тухачевскому надеть фуражку и он — красавец». У мальчика была тогда еще детская большая голова.

Этого дерзкого мальчика за вызывающий характер не любят учителя.

— Латинский язык, какая это гадость! — говорит на уроках латыни будущий командир.]

Кое-как дойдя до 6-го класса, Михаил Тухачевский сообщил отцу, что желает военной карьеры. Отец знал: Миша бредит необычайной судьбой, блеском славы, бог знает чем! Что ж, в роду Тухачевских было немало военных предков: гусары, кавалергарды, кирасиры Тухачевские украшали царскую конницу, ходили с Суворовым в Италию, с Румянцевым за Дунай, с Кутузовым против Наполеона. И странный, оформлявшийся в сильного юношу, Михаил Тухачевский осенью 1911 года вместо Пензы уехал в Москву, в корпус.

[Распущенно шедший в классической гимназии, в корпусе Тухачевский пошел иначе: натура упрямая, достигающая всякой цели, сказалась — из вихлястого гимназиста в год вышел военно выправленный ловкий кадет.

Умный, талантливый, не позволявший наступить себе на ногу, гордый, отчаянный Тухачевский импонировал товарищам; стал лучшим кадетом, мечтая только о лейб-гвардии и даже в лейб-гвардии наметил всего лишь два полка знаменитой Петровской бригады — Семеновский иль Преображенский.

Дальний прицел на лейб-гвардию, взятый тщеславным, одаренным юношей, осуществить было нелегко. Надо еще выйти в «павлоны», в Павловское военное училище, куда берут только дворян и лучших кадетов.]

В отпуск на гимназическом балу в Пензе, среди мешковатых мундиров, обремененных латынью, гостем появляется кадет Тухачевский. Черный мундир, белые погончики с царскими вензелями, снисходительная улыбка, еще больше прежней надменности.

— Стараюсь позабыть латинский и, кажется, успеваю — смеется бравый кадет. В военном он танцует гораздо ловчее. «Гвардеец...гвардеец чистой воды».

[Много верных прицелов в жизни своей брал Михаил Тухачевский, но в 1912-м году не попал в «павлоны», не вышел, пришлось помириться на Московском Александровском, куда за два года до мировой войны, в белое с колоннами здание у Арбатских ворот прибыл охваченный манией военного величия юноша.

Юнкера-александровца вспоминаю в веселом и пьющем доме; не перепьет, громко не смеется, корректен, затянут в

мундир, по-печерски «оскорбительно вежлив»; вежливо ухаживает за простенькой, но хорошенькой подругой сестры, Марусей Игнатьевой; это очень сдержанная, но все же, кажется, первая любовь.

— Тухачевский, вы когда кончаете училище? — спрашивает кто-то.

— Полтора года.

— И тогда?

Улыбается недоуменно-презрительно.

— Не в университет. В полк.]

Тухачевский кончал Александровское Военное училище в Москве уже фельдфебелем.

На плацу лучше всех проводит ротное ученье, команда остра, отчетлива, несмотря что в обыкновенной речи фельдфебель никогда даже не повысит спокойного голоса. Но не только в строю шел первым. Тухачевский штудирует труды Клаузевица, биографии Бонапарта, Блюхера, Суворова, Мольтке. Юнкер болен, юнкер бредит наполеонизмом; и прицел на лейб-гвардии Семеновский полк выходит: будет первым выбирать вакансии фельдфебель Тухачевский.

[Только без денег, без связей в царской гвардии нет пути, а Тухачевский беден, как церковная мышь: перезаложены-заложены на всю семью 200 десятин земли в Чембарском уезде.

Но на помощь переходящему в манию, нечеловеческому честолюбию кончавшего в 1914 году училище фельдфебеля пришла сама история: выстрелил Принцип.]

Летом 1914 года лейб-гвардии Семеновский и Преображенский полки отбывали лагерный сбор под Красным селом, но раньше обычного пришли в Петербург. На военном поле в честь прибывшего президента Франции состоялся гремящий парад. Отбивая ногу, церемониальным маршем шла Петровская бригада. Но еле успел, возвращаясь, проплыть немецкие воды французский президент, как — «часом мобилизации считать одну минуту первого в ночь на 19-е июля» — приказал всероссийский император, и грянули пушки на Рейне и в Пруссии.

Началась мировая война и необыкновенная карьера Михаила Тухачевского. Может быть никто так не волновался в одну минуту первого в ночь на 19-е июля, как фельдфебель старшей

роты юнкеров-александровцев. Открылось все: слава, карьера. Войне не нужны деньги, война хочет храбрости и таланта.

В августе 1914 года безусый, юный двадцатилетний гвардеец, подпоручик Семеновского полка Тухачевский вместе с офицерами всего Петербургского гарнизона входил в Зимний дворец. Царь приказал явиться офицерам для объявления манифеста и благословения.

В роскоши тридцатисаженного Большого Фельдмаршальского зала, наголову поверх блестящей толпы офицеров выделялся главнокомандующий российских войск, великий князь Николай Николаевич. Придворный протодиакон гремел октавой высочайший манифест; в одной половине — блеск офицерских форм, меж ними и двадцатилетний подпоручик Тухачевский; в другой — сквозь распахнутые двери, в форме полковника стрелкового полка, показался усталый царь Николай.

[«Не положу оружия, доколе единый неприятельский солдат останется на земле нашей!» — кончал протодьякон. И в наступившую тишину тихо проговорил царь:]

— В вашем лице, столь дорогие моему сердцу войска гвардии и Петербургского военного округа, я благословляю всю русскую армию.

От этого слабого голоса зал зашумел, опускаясь на колени; опустился и гвардии подпоручик Михаил Тухачевский. Государь уходил во внутренние покои дворца, а вслед ему Фельдмаршальский зал задрожал громовым офицерским «ура». [Императрица стояла с глазами, полными слез. Великий князь Николай Николаевич, перекрестясь широким крестом, сказал офицерам:

— С Богом.

Офицеры двинулись.]

Предположить, что через четыре года Николая II расстреляют солдаты, гудящие на площади многоголосым ура, что главнокомандующий умрет во Франции эмигрантом, а спускающийся по великолепью Иорданской лестницы подпоручик станет красным полководцем, — было трудно.

Из Зимнего дворца на Дворцовую площадь Михаил Тухачевский вышел вместе со всеми офицерами, а через несколько дней на петербургском дебаркадере пели тревожные сигналы к

чевский вышел вместе со всеми офицерами, а через несколько посадке: гвардейские солдаты, полувеликаны-семеновцы, которым жить да жить, грузились на мировую войну.

[При последнем рожке на платформе начались благословения, слезы, женский плач; под торжественные звуки полкового марша мимо платформы плавно, тихо тронулся эшелон.]

Безусый подпоручик в офицерском вагоне был необщителен. Очевидцы говорят, много было напускной важности в облике этого двадцатилетнего офицера; было, пожалуй, даже что-то смешное — одежда чересчур вычурна, во всем подчеркнут «фронтовик» и «война»; на боку не общая, а кривая шашка и громадная (какую носят только кавалеристы) кожаная неуклюжая тяжелая сумка, набитая картами и планами фронта.

[Кругом шумели, курили, говорили о войне.

— Максимум в четыре месяца кончится!

— Не больше. Гвардию берегут, пожалуй, и кончат без нас.

— Пустили бы хоть в бой наподобие Ташкисена.

Офицеры хохотали, знали, что под Ташкисеном был единственный бой Петровской бригады с турками в кампанию 1878 года.]

Странно, что никто не засмеется, не подшутит над этим необщительным безусым подпоручиком со странноразрезанными серыми, чуть навыкате, глазами. Он рассматривает исчерченную красным и синим карандашом карту Юго-Западного фронта.

Поезд с гвардией идет быстро. Вместе со стуком колес солдаты вразброд, вразнобой поют:

Ура, гвардейские уланы,
Кто не слыхал про молодцов!

Р. Гуль. 1986 г. Фото Ю. Кашкарова

ИЗ ПРОДИКТОВАННОГО Р. Б. ГУЛЕМ В ПОСЛЕДНИЕ МЕСЯЦЫ ЕГО ЖИЗНИ

Виктор Михайлович Чернов, преобразившийся из рыжего грязного, некрасивого пожилого человека — в благообразного, седого красивого старика... У него были длинные белые волосы, спадающие на плечи. Спрашиваю Давида Натановича Шуба (на заседании «Нового Журнала», первом, на котором я присутствовал после моего приезда в Америку):

— Да кто это?

— Виктор Михайлович Чернов.

— Не может быть!...

— Приведите мне Гуля, — как-то раз спросил Чернов Шуба.

— Да ведь он нелестно писал о вас в «Азефе», — удивился Давид Натанович.

— Какое это имеет значение! Ну, писал когда-то какие-то глупости. Ах, пожалуйста, приведите!

В. М. Чернов переехал в дом, где жил И. Г. Церетели, около 148-ой улицы и Бродвея. Ираклий Георгиевич рассказывал:

— Виктор Михайлович мне на-днях говорит: — Ираклий Георгиевич, у меня к вам большая просьба, вот только стесняюсь вам об этом сказать.

— Да что вы, Виктор Михайлович, говорите. — Чернов, понизив голос, сказал: — Мне хочется перейти с вами «на ты».

— Ну конечно, Виктор Михайлович! — И мы перешли «на ты».

Надо было знать Чернова, тертого калача в политике, чуждого всякой сентиментальности, чтобы оценить эту просьбу старого политика.

И еще со слов И. Г. Церетели: «Как-то вечером мы сидели, заговорили о том, что у каждого человека было самого тяжелого в жизни. Чернов долго думал и потом сказал только одно: — Азеф.

ВАЛЕРИЙ ПЕРЕЛЕШИН

ЕЩЕ О КРАСОТЕ

I

Разоблачить лукавые уловки
Иду на тя, лукавый стихоплет:
Ведь астронавт не пустится в полет
Без долгого поста и подготовки.

Не вспомнит ли кузнец о перековке,
Когда расчет ошибочным найдет?
А ювелир заказчику пошлет
Лишь тот янтарь, что ожил при шлифовке.

А если в нем окаменелый жук
Окажется, пчела или паук,
Он подчеркнет счастливый недостаток,

Небесный дар, чудесней всех даров,
Случайности блаженный отпечаток,
Отраду глаз и счастье мастеров!

II

Красивости поэзия чужда,
Когда она рождается от прозы
И не цветут замызганные розы,
дешевые, пригодные всегда.

А я ищу оскомины стыда,
Обмолвки жду, невынутой занозы,
Опухших губ, которых ни наркозы,
Ни мазь, ни йод не спрячут никуда.

Воистину, песчаник ноздреватый,
Нелизанный, порой шероховатый,
Оценится с гранитом наравне.

Я гладкостью ничуть не озабочен:
Собор милей художнику вдвойне,
Когда внутри термитами источен.

СЕРГЕЙ ПЕТРУНИС

Уснул под утро
и без колыбельной.
Причалил —
на кисельном берегу;
И услыхал,
как с мачты корабельной
тебе свистят...
но капитану ни гу-гу.

И увидал:
походкой суетливой
костяшка Флинта выбивает дробь...

Ты только вечером
осенним и счастливым
прозрачного листа
не покоробь.

1984 г.

СТРАХ

Кто — перепоясан,
тот — исполосован,
Иному — день напрасен,
тому — не уготован.

Череда — печальна,
и покой — постыл,
У надежды — тайна,
у любви — костыль.
На качелях века —
отбивает пах.
Однако — амплитуда,
бешеный размах,
Погостили в жизни —
разъедемся в смертях,
Мышеловка хлопнула —
прищемила страх.

23 июля 84 г.

ИЗ ЦИКЛА «АРАБЕСКИ»

* * *

Парадной лестницей — в застенок,
Проходным двором — в лагеря.
Переводом человеческих стрелок
Заняты соколы и егеря.

* * *

Гаденькое одеяние:
то ли — плиссе, то ли — гофре.
И раннее ружья стреляние:
то — по тебе, то — по мне.

* * *

Тишина отражается в зеркале,
Выпадая на раме росой,
Детских слов, что потом исковеркали,
Смысл по-прежнему — никакой...

ВЛАДИМИР МИТИН

Ты теряешься в дали, Натали.
И любовь наша — в пыли, Натали.
Мы сожжем все корабли, Натали.
И простимся у двери, Натали.

Ах, куда же нас вели, Натали.
Те лазоревые дни, Натали?
Где мечты наши цвели, Натали.
Где мы столькое могли, Натали.
Что не смеют короли, Натали.
Государства и рубли, Натали.

Но промчались наши сны, Натали.
И себя мы не спасли, Натали.
От пустяшной западни, Натали.
Под названьем «се ля ви», Натали.

Так шубейку распахни, Натали.
В раз последний обними, Натали.
И губами шевельни, Натали.
И «прощай» мне подари, Натали.

---

* Стихи получены редакцией из СССР. Печатаются без ведома и разрешения автора.

* * *

Не хочу быть никаким поэтом.
Ярмарочный город — не по мне.
Завтра я из города уеду
На небеснопепельном коне.

Не хватает воздуха и леса.
Мало неба, дыма и озёр...
Просыпается во мне повеса,
Плут, транжир, бездельник, мот и вор.

Просыпается во мне отчаянье.
И трубит тоска.
Не по мне ли скрипнула случайно
Свежая доска?

* * *

Ну бросьте мне упрек, что я ужасно взрослый.
А вы так молоды, так счастливы собой...
Букеты астр иль георгинов гроздьи —
К ногам твоим, в насмешку над судьбой.

А перед Богом я юнее вас,
Пронзительней, свободней, безрассудней...
Да, все мы — дети в небесах подспудных.
Что движет нами — тайною для нас.

И все ж щекой, губами вновь скользя
В даль рук твоих, мне брошенных на плечи...
Ах, этим обмануть себя нельзя,
Нельзя, мой друг, а стало быть, и нечем.

ПОСМЕРТИЕ

В то время как в древности эту реку переплывали на плотах, в наше время ее перслетают на самолетах. Ожидание механической птицы, впрочем, так же томительно, как и ожидание Хароновой переправы. Пассажиры толпятся в прибрежной зоне среди аборигенов, занятых своими делами и в упор их не замечающих, на фоне доминирующей здесь призрачной, хотя и настырной декоративной фауны и флоры. Каждый ведет себя в соответствии со своим созвездием: одни спекулируют, другие тоскуют и жалуются, третьи напускают на себя значительность. И хотя каждый оставил значительную часть самого себя дома (кто больше, кто меньше), мысли всех — не в прошлом, а там, за Большой Рекой, где им предстоит отыскать свое назначение, ну и, конечно, место своего назначения. Эмигрантские транзитные дела.

Все говорят о будущих своих перелетах, никто — о только что происшедшем разрыве. Деревце, которое вытащили из земли, еще полно старых соков, но на какой земле, в каком климате ему придется жить, приживется оно или погибнет, риск пересадки, а, главное, неизвестность — вот что всех и каждого занимает. Разрыв, который казался дома таким значительным и страшным событием самим по себе — здесь он у всех позади, здесь собрались все перешедшие этот рубеж и уже позабывшие свои старые страхи. Главное развлечение, скрашивающее скуку ожидания — это сравнение новых впечатлений со старыми; при этом старых так много и они так сильны, что новизны особой вобщем-то и нет, а больше — вариации того же.

Так проходили дни, месяцы, годы. Самолеты, гудя, прилетали и увозили в пугающую неизвестность новые и новые партии пассажиров, однако, толпа на берегу нисколько не редела.

Утомительная уличная суета и стоявшая в то лето ровная беспощадная жара заставили двух спутников, только что выпивших чашечку крепчайшего черного кофе в угловом кафе и выкуривших там же по сигарете, подняться на пятый этаж узкого кирпичного строения и, повертев в замке ключом, войти в длинную и узкую трехугольную комнату, вмещавшую, кроме кровати, шкаф, стул и маленький столик возле окна. Пришедшие расположились — один на кровати, другой на довольно крепком стуле.

Бутылку с коньяком, открыв, поставили на столик рядом с двумя разномастными стаканами. Закурили. Ловили жадно слабый ветерок из открытого окна.

Пришедшие отличались друг от друга не столько возрастом, сколько типом и окраской окружавшего каждого из них нервного поля. Им обоим было где-то между тридцатью и сорока, но один был полуседой, а другой — темноволосый. Забравшийся с ногами на кровать — в дырявых носках — черноволосый юноша нес на себе печать задушевной порывистости и героической помятости. Видно было, что он новенький в этих местах, и что он ничего вокруг себя не замечает — по тому, как отталкивал и опрокидывал он все препятствия на пути своей мысли, а также по тому, как скукоживался его порыв при встрече с первым же серьезным препятствием.

Полуседой господин, сидящий на стуле, возрастом ненамного старше своего энергичного знакомого, являл собой классическое сочетание наружной мягкости с внутренней твердостью, может быть, даже жестокостью, когда надо, впрочем. Жестокостью не в отношении к другим или даже к себе, а в проведении однажды принятой жизненной программы вопреки всем обстоятельствам: затонам, водоворотам и попятным течениям.

В этих прибрежных местах он был определенно не новичок и, кроме того, прекрасно знал заречные города, долины и горы — царство Плутона и Персефоны, куда поток неудержимо нес всех — и его знакомого, засмотревшегося в этот момент на торчащий из рваного носка большой палец.

Засмотры, кажется, были свойственны им обоим, что было немаловажной основой их старого приятельства, испытанного десятилетней разлукой и трехдневным непрерывным разгово-

ром, подходящим теперь к концу. Полуседой господин прилетел из заречного города, чтобы встретить своего порывистого и неуверенного приятеля.

Отметим еще несколько штрихов в господине, который постарше: в частности, острое внимание к мелочам и к общему нервному тонусу обстановки при глубоком и нескрываемом безразличии к ним, а также к своему собеседнику, как будто бы вещи, слова и вибрации потеряли навсегда всякое значение для него, кроме одного, особого, о котором он не стал бы распространяться. Утратили плотность и окраску и уже не способны ни ранить, ни задеть его даже мимоходом.

— Наш опыт, — заговорил полуседой господин, выпуская в окно, расположенное слева от него, струйку сигаретного сизого дыма, и, очевидно, продолжая разговор, начатый не сегодня, — наш опыт — мой прошлый и ваш предстоящий — должен быть осмыслен и оправдан. Разрыв, через который мы прошли, может быть, слепой, но он может быть и сознательной смертью. Умирают наши привычные ассоциации; личность, которую мы пестовали всю нашу жизнь, здесь непригодна. Нужны другие жесты, другие мысли, другие междометия. Придется пройти через погружение в элементарный мир — это начинается уже здесь, на побережье, и продолжится по ту сторону реки. Через этот этап, увы, нельзя перескочить, но его до́лжно внимательно пройти. Только после этого становится возможно возвращение зрения — более пристального — в полной безнадежности и в окончательном мраке подземелий Гадеса. Солнце полуночи осветит смыслом этот страшный новый мир, в котором мы окажемся. Наш опыт жесток и беспощаден, но для непрошедших его нет вообще никакой надежды — ни в прошлом, ни в будущем.

Полуседой господин замолк с выражением человека, вслушивающегося в свою мысль, отыскивающего в ней новые скрытые пространства и способы выражения, делающие ее более сообщительной, отвечающей конкретному ожиданию его собеседника. Юноша на кровати, ожидавший лишь паузы, заговорил высоким срывающимся шепотом, как только представилась для этого первая возможность. Не слушая ни своей мысли, ни звучания своего голоса и едва ли замечая собеседника, он

говорил вообще, обращаясь к любому возможному слушателю и ко всем слушателям вместе взятым.

— Нет, это мне не снится, я не сплю, я действительно здесь, на берегу Флегетона. Я пересек искусственный рубеж; я умер для старого и я живой — для нового зрения. Теперь для меня посмертие — факт — или, по крайней мере, такая же иллюзия, как жизнь.

Как я ждал этого часа! Я изжил, исчерпал все, что обещала прежняя жизнь, все ее жалкие приманки: мысль, которая ходит за своей тенью, страсти, которые застят взгляд. Спала с глаз пелена иллюзий, тяжелый столб воздуха больше не давит мне на плечи. Я всегда знал: смерть — это экран; траектория моей судьбы проходит через него, а не заканчивается на его плоскости. Да, но что дальше, что теперь? Что ждет меня за рекой? Одно очевидно: хуже, чем было, быть не может.

Будет больше свободы, какой-то еще неизвестной мне возможности расширения, не встречающего никаких препятствий. Это как движение в поле, лишенном гравитации. Я ощущаю эту свободу с самой первой минуты разрыва, она здесь сейчас, но я ее еще боюсь. Хуже быть не может, и вот почему: мое сердце не станет скулить по родному оставленному хлеву, по его звериному обжитому запаху и теплу. Кроме того, я хочу очень малого: новый круг спутников, друзей по горению, по творчеству. И если это было дано даже там, дома, то не следует ли из этого, что здесь, откуда приходило к нам туда все питание наших умов и душ, здесь это будет круг более высокого порядка, более устойчивый и укорененный в чистой идее. Как бы я хотел знать сейчас, где мне предстоит приземлиться, какие формы примет моя реализация здесь, по эту сторону экрана. Да, я еще не остыл от агонии разрыва, еще холодный пот у меня на лбу, но там, за Большой Рекой, я уже угадываю стремительные архитектурные формы идей, души, не знавшие рабства, благородные созвездия умов и дарований. Иногда мне кажется, что я уже однажды прожил там жизнь. Но почему я все говорю и не спрашиваю тебя, прожившего столько времени за рекой и знающего то, что я пытаюсь угадать? Почему я не могу спросить тебя ни о чем? Послушай, ты смотришься усталым, но знающим что-то такое, о чем ты не хочешь говорить.

— Я приехал сюда на десять лет раньше тебя и потому ты, наверное, думаешь, что я успел пустить здесь корни. Поверишь ли, что я здесь все еще чужой и что я еще не достиг своего места назначения. — Полуседой собеседник замолк, следя за залетевшим в комнату и теперь магнетически вьющимся вокруг бутылки с коньяком шмелем. Шмель сел на горлышко, на самый верх, сделал круг вдоль ободка и, шурша, взлетел под потолок; потом, резко изменив свою мохнатую траекторию, безошибочно вылетел в окно, растворился темной пушистой точкой в яркости дня, сказав то, что хотел сказать своим беззвучным вторжением. Сбросив оцепенение, полуседой господин улыбнулся прозрачности ситуативной символики и черноволосому собеседнику, сидящему на кровати в йогической позе со скрещенными ногами. Отраженный солнечный свет окружал юношу оранжево-желтым ореолом. Но он этого сам не замечал, как не сознавал легкого хмеля, добавившего блеска его глазам и медовой вязкости его мыслям. Ему казалось, что безо всякого труда он одновременно слушал строгий голос собеседника, себя, слушающего собеседника, и ручеек возражений, соображений и чувств, пробегающий через него в то время, как он отбирал мысли-образы для своего ответа.

— Отбрось ту иллюзию, что ты направляешься в лучшее место. — Полуседой господин говорил теперь резко и прямо, убедившись, что это единственный способ помочь приятелю, едва ли расположенному в его теперешнем состоянии следовать за более отвлеченными умозрениями. — Отбрось также и мысль, что твой разрыв с прошлой жизнью и переход в новое состояние влияет на что-либо важное по существу. В новом месте только продолжится работа по шлифовке кристалла. Процесс ускорится и будет более болезненным. Ты входишь в мир агрессивных элементарных стихий, в котором не действенны старые методы защиты. Готовься к тому, чтобы внешне уподобиться этим стихиям. Не настаивай на вещах второстепенных. Настоящее движение совершается в направлении, перпендикулярном линии, соединяющей твое прошлое с твоим будущим. Вот все, что я, твой проводник, могу сообщить тебе перед полетом и что ты должен постараться усвоить.

Озадаченный больше тоном, чем тем, что было сказано,

молодой человек, спустив ноги с кровати и сунув их в разношенные туфли с широкими рантами, заходил по комнате от двери к шкафу и обратно. Замер у окна с угрюмой решительностью в глазах, со лбом, перерезанным упрямой складкой, с лицом, открытым потокам беспощадного света из окна. Сказал уверенно приятелю:

— Ты говоришь искренно, но знание твое ограничено. Известно, что у каждого человека своя неповторимая посмертная судьба. Твой опыт не покрывает всех возможностей. Ты намекаешь на то, что я попаду в мир меньшей свободы, чем тот, который я оставил. Я благодарен тебе за предостережение, но я не намерен уступать элементарным стихиям. Я буду воплощать свою идею, чего бы мне это не стоило.

«Невозможно ничего объяснить им в короткий промежуток перелета из одного ада в другой», — подумал полуседой господин. И еще он подумал: «Быть может, внутренний магнит его выведет». Но сказал совсем другое, гася сигарету и поднимаясь со стула:

— Пора складывать чемоданы. Наш самолет отлетает через час.

Аркадий Ровнер
1985 г.

ИГОРЬ ЧИННОВ

Мы в темно-рыжий город Марракеш
Давно, упорно собирались.
И вот — доехали. Скорей кус-кус доешь
И отложи самоанализ.

Не спрашивай себя, зачем мы тут,
Зачем вчера купил я феску,
Зачем купил поддельный изумруд
И голубую арабеску.

Зачем роскошествуем мы, живя
В гостинице «Семирамида»?
— Затем, что душу ест, мучительней червя,
Терзает давняя обида.

Обида на судьбу за годы нищеты,
За годы грусти и печали,
За то, что ты старик, что старикашка ты,
Что мы к веселью опоздали.

Прекрасные ковры, и розы, и коньяк,
А зубы девы — жемчуг мелкий.
У края бездны я хватаюсь, как дурак,
За безделушки, за безделки.

ЛИДИЯ КУЗНЕЦОВА

* * *

Пишу «октябрь». А там, в деревне,
мальчишки запустили змей,
и в старой церковке, наверно,
открыли областной музей.

А я давно уже со змеем
лечу к заветному кресту,
и перед ним благоговею
и свой безропотно несу...

* * *

Как будто повернули нож,
всадив его в лопатку,
и снова надточала ложь
на жизнь заплатку.

EAST-WEST

8

Мимолетные фиолетовые сумерки. Морозит и скользко. Мы с Лили идем в Бельведер. В витринах все тот же фарфор, вышитые бисером кошельки. Мирно, незаметно зеленеют бронзовые императоры и эрцгерцоги. Неистребимый бургомистр Грац благословляет прохожих голосовать за него и собственное счастье. Он уже успел создать несколько новых подземных переходов, несколько автостоянок на месте маленьких реакционных барочных дворцов.

— Плоды социалистических забот, — презрительно кривится Лили. Она не нуждается в автомобиле.

В парке старая, большая крыса, величиной с венского пуделя, сидит под брюхом у сфинкса. Смотрит любопытно, но не зло. Лили ей кивает, будто старой знакомой:

— Это королева Мышильда. Ее встречал Гофман, будучи проездом в Вене, в лунную ночь. Как видишь, я тоже иногда позволяю себе немного пофантазировать.

В Бельведере тишина. Темно. Много тяжелых дверей. Мраморная доска у входа в последнее земное пристанище Антона Брукнера. Холодный длинный коридор. Пахнет мышами, тяжелым венским запахом жареных кур. Лили крадется по коридору на цыпочках, не зажигая света. В сторону прыскает черная кошка. За своей дверью Лили облегченно вздыхает. Зажигает свет, бросает потертое замшевое пальто на старинную

* Продолжение. См. «Н.Ж», № 163.

церковную скамью под окном. Находит себя в старинном высоком зеркале. Говорит — никому:

— Как трудно быть безразличной, когда горло сжимают эмоции.

В углу — осыпавшийся скелет елки. Танненбаум.

— Ты очень бледна, Лили, — говорю я.

— Все эти ночи перед твоим приездом я почти не спала. Уходила в ванную и сидела там на толчке в позе роденовского мыслителя. Рано утром, приготовив все Герману для завтрака, шла на службу. В темных очках, с тонной макияжа на лице. Не дать никому никакого повода...

На рояле лежит письмо. Мое письмо, посланное Лили в Париж. Конверт густо исписан чужими ломкими высокими буквами.

— Моя мамаша, — устало замечает Лили. — Профанировала твое письмо. Переслала из Парижа. Меня там уже не было. — Помолчав, Лили добавляет: — Еще профанируют могилы. Любовь. Actually, многое можно профанировать.

Наконец-то я в старом мире. В Старом Свете — слов, нюансов, неочиненных карандашей, засохших чернил, сухих, дорогих по чьим-то воспоминаниям букетов.

— Ты узнаешь свой букет?

Мы мало говорим о себе. О письмах. О тех, кого встретили, с кем были, пока писали эти письма.

На дворе почти полнолуние.

Лает независимая мелкая собачонка. В темной столовой тяжело лежит громкая, пахнущая воском и нафталином тишина. В высоком буфете на мраморных досках позвякивают прадедушкины рюмки. Знакомый Маульперч — святые, парящие среди сильно потускневших, пожухлых барочных облаков.

— Это — собственность маман, — поспешно сообщает Лили. — Здесь решительно все принадлежит маман. — Она достает из холодильника советское шампанское. — Подарок вашего представителя. Якобы инженера. Он хочет, чтобы я на него работала. Интересно, сколько они платят. И достаточно ли это безопасно?

В лирической полутьме столовой мы сидим в углу, между двух окон, у круглого столика. В просветах черных ветвей липы

белеется безносый бюст в источенном дождями греческом шлеме — Александр? Перикл? Обыкновенная Паллада?

— Мой идеал, — говорит Лили, — не быть слишком далеко от тебя. Но и не слишком близко.

Одной рукой она гладит выпуклый круп похитителя сабинянки — ранняя копия Джамболоньи. В другой — пузырящееся в дедушкином бокале шампанское. И эта рука дрожит.

— Как здесь тихо. Теперь. До твоего приезда я приходила сюда всего раз в неделю. Стирать пыль со всех этих мелких, ненужных вещей. Как давно это было! — мы, три сестры, бабушка, маман за вон тем большим столом. Фрау Хильда. О, это особая история. Я тебе как-нибудь расскажу. Собака. Папá тогда работал в Вене, в Союзнической Комиссии... Собака лаяла. Появлялся папá. Мы дружно кричали — Voilà papa! Требовательно стучали ложками. Бабушка выдавливала из себя почти приветливую улыбку. Фрау Хильда вносила дымящуюся супницу. Мейсен. Ставила рядом с бабушкой. Они обменивались долгим, странным взглядом. И начинался обед...

Лили снова молчит. Красный огонек ее сигареты. Акварельные букли своих и чужих прабабок. Из-под старых рам тянет легкой сыростью очередной венской оттепели. К сырости прилип знакомый сладковатый запах. Нам обоим неловко быть наедине друг с другом. В первый раз, здесь. Только что — в ресторане — мы находили какие-то слова. И в Пирмонте. И на нью-йоркских улицах, где мы спешили, ждали.

Теперь мы, наконец, здесь, в этой хорошо охраняемой крепости, в менажерии беглого принца, в увитом звонким мерзлым красным плющем зверинце.

Тут, за стеной, умер уважаемый герр Брункер. Его увезли в торжественном катафалке с кистями. Высоко над Каленбергом комета прочертила след. Турок забыл мешок кофе на поле боя — начались венские кофейни. В метель и слякоть отвезли на бедное кладбище Моцарта. Софи Чотек вышла замуж за толстого Франца-Фердинанда и ей однажды показалось, что она страшно счастлива. От простуды и усталости умер старый император. Офицеры в белых кителях, пившие здоровье дам в шамбр привé у фрау Захер, тоже умерли — от ран или незалеченного сифилиса. Пережившие газовые атаки солдаты стали членами Полит-

бюро, рейхсфюрерами, просто инвалидами, или социалистами.

Вокруг нас этот город — печальный и пустой, как кокон давно улетевшей красивой бабочки, с его пирожными, с дряхлеющими на действительной службе филерами. Город, все еще дорожащий своими незначительными, бессвязными тайнами.

— Пожалуй, я пойду, — говорит Лили. — Ты сегодня устал. Разница во времени...

В ее бокале осталось немного шампанского. Кому-то надо изменить. Тебе, Лиза? Моей недоверчивости? Профессору Хопфу? Лили?

— Ты что, обязательно должна быть с ним? Тебе не кажется, что это как-то ненатурально?

— Сегодня, да.

Звонит телефон. — «Это профессор,» — говорит Лили. Она поднимает трубку и вдруг переходит на неожиданное для меня венское интимное мяуканье — O, ja, Hermann, natürlich...

За окном пошел мягкий, теплый снег. В пустой, подсвеченной снегом черноте ночи все так же белеет безносая греческая голова. Внизу, у ограды стоит человек в старинном камзоле. На его широкую с перьями шляпу падают мягкие снежные хлопья. Он узнал, что я вижу его, машет мне тростью. Лили зовет меня к телефону, поговорить с Хопфом.

— Ну вот, мой друг, наша Вена понемногу раскрывает свои маленькие тайны, не правда ли? — говорит профессор. — Там у вас уютно? Желаю спокойной ночи. Завтра жду вас к завтраку на Шварценбергплатц.

Мы крадемся по темному коридору, не зажигая света. Лили — привычно, я — слепо. Она возится с еще одной тяжелой дверью. Я выглядываю в окно. Там, в тающем в снежных мокрых хлопьях саду гуляют лев, страус, верблюд. Лемур цепляется за мерзлую лозу.

— Забавные твари, не правда ли? — спрашивает за моей спиной мужской голос. Я оборачиваюсь. Никого.

Та же крыса сидит под брюхом у сфинкса. Там ей, наверное, теплее. В каменных волосах сфинкса повязана нейлоновая красная ленточка. Просто улыбчатая женщина с откровенной грудью.

— В первый раз заметил, что вы похожи. — Я крепко держу замшевый локоть Лили.

— Ты находишь? — Лили улыбается. — Обрати внимание на манихейский крест на ее лопатке. Профессор написал небольшое исследование на эту тему.

Нас провожают полицейские бусинки крысиных глаз.

— Угомонись, Мехтильда, — устало говорит Лили.

Мы прощаемся у чугунных ворот на Ренвег, под барочным фонарем. Лили целует меня в щеку. У нее холодные губы.

— Спасибо. Я живу твоей милостью. Не отвергнута. А теперь — обратно на землю. Обеими ногами. Не упрекай, у меня нет карт в рукаве. Я не играю.

Она выходит на пустой Ренвег. Не оборачиваясь, пересекает улицу. По грязной брусчатке, покрытой смесью угольной пыли и тающего снега, в фольксвагенах мчится венская ночная шпана. Из машин доносятся неожиданные звуки «Смерти Зигфрида» — величаво начинающееся восхождение души, почти достойное прощание с этой набитой страстями и электроприборами землей, церемониальное бегство от какого-то небывалого распада бытия.

На дорожках парка дрожат, белеют пористые боги. В окнах верхнего дворца то загорается, то гаснет свет. Чей-то ночной дозор — мышей крысы Мехтильды, смотрителей-инвалидов, вернувшихся из сибирского плена (все ли осталось цело в их отсутствие в убежище бесцветного венского Бидермайера?), полотеров. Или, быть может, Синей Бороды в пышном парике Короля Солнца. Самолет набирает высоту, мигает красными огнями, улетает на Запад.

На верхней ступеньке парковой лестницы, у Января, мальчика-месяца, утомленного дождями и бегом двух с половиной веков, стоит человек в шляпе и с тростью.

— Мне следует вам представиться, — говорит он. — Принц Эжен Савойский, бывший хозяин этого парка и этих сильно разворованных дворцов. Я в родстве с вашей нью-йоркской приятельницей, — говорит Евгений. — Впрочем, она об этом, по всей вероятности, не знает.

Я вспоминаю вежливые фразы старых романов. Мне холодно, я устал. Мы идем по дорожке к Верхнему Бельведеру.

— Умирать чертовски неприятно, — говорит принц. — Особенно если ты всю жизнь был скептиком. Столько неожиданностей и беспокойства. Мне надоело уже больше двух веков слоняться без дела, бессильно наблюдая, как все вокруг идет вкривь и вкось. Сначала эта шлюха и дура, моя племянница Виктория. Потом нескончаемая вереница идиотов-эрцгерцогов. Теперь — вообще Бог знает кто. Из всей этой публики я питал некоторое уважение к старому императору. Ему не повезло с сыном и с полоумной женой... Но в моем неопределенном положении всегда есть маленькая надежда на то, что все можно переиграть заново. Особенно будучи обогащенным моим опытом. И мне почему-то кажется, что вы могли бы в этом помочь. С вашими влиятельными знакомствами. Но об этом в другой раз. Вы, наверное, сильно устали от долгого путешествия.

Мы прощаемся с принцем у ворот его зверинца. На столбе над воротами — неизвестный мне бородатый бюст со страдальческим выражением лица. Принц подает маленькую, тонущую в кружевной манжете руку:

— Хотелось бы вас предостеречь от неосторожных поступков. Вы никогда не будете в одиночестве в моем доме, в моем menagerie. Желаю приятных сновидений!

Я открываю окно в Красной гостиной. В комнату врывается венский, отдающий тленом воздух. Внизу, в саду, маленький кобель Шварц мочится на замерзшую розу. За шпилем Святого Стефана, за невидимым Дунаем, за пустым Пратером — темнота, Россия.

Галицийские городки в чавкающей грязи. Ядовитых цветов украинские торта. Грезящие на погостах стеснительные вурдалаки. Рыба нататения в мясных отделах. Пахнущее тухлой бочкой жидкое пиво после бани. Алкоголики на общественных работах. Пустые, сиротские ночные электрички. Молодцеватые милиционеры в жирно начищенных сапогах.

Посиделки диссидентов на тесных кухнях. Скуднопенсионные старухи в избушках на курьих ножках. Бедолаги на Тульском рынке, торгующие рисованными лебедями. Мимошные мальчики, промышляющие неназойливой фарцой. Отставные

послы и генералы в экспроприированном — до следующего бунта — Сивцевом Вражке. Старые педерасты экспериментальных театров. Пугливые батюшки в Загорске с двумя жалованьями и закрытым распределителем.

Старая княжна в калужском пригородке с букетом болиголова и ромашек в бутылке из под кефира на столе. В зябких снах она часто улетает поглядеть на Венецию своей молодости.

Убийцы на пенсии из красных уголков и доминошных бригад — с нездоровой кожей, нездоровым запахом, обиженной, подозревающей крикливостью, скорыми, мучительными болезнями. Ветераны этой самой, единственно законной и чудовищной советской войны — с тяжелыми пудовыми темными кулаками, в мешковатых пиджаках с проверченными для медалей дырочками; в похмельи, печальных песнях.

Меня обволакивает теплое, слезливое, соблазнительное русское чувство сиротства. Мне кажется, что в новом доме будет тепло, понятно, что дамы в буклях меня не прогонят, что все должно быть так, как оно есть — *необратимо*.

9

Я увозил с собой чувство гибели. Зимой, под снегом, оно было незаметно. И обрастало немой тревогой — весной и осенью. Осенью гибель колом стояла в воздухе. Посреди всего этого советского театра Кабуки. Пока что это постоянно, круглый год, подозревали только кошки и женщины. Мудрые коты неспешно шли на чердаки — приготовлять себя в тамошнем сквозняке — к смерти.

— Вспоминайте меня, пожалуйста, в настоящем, — просил на сырой даче старый поэт-неоклассик. Женщины хлопотали у стола. Рыжий, похожий на больного шакала пес нюхал отцветший жасмин. У забора росли зверобой и седавка. на столе под оранжевым абажуром теплились в сиреневом горшке палевые кошкины мудочки. Станция была в голых с исподу соснах. Вдовые нищие старухи торговали красной смородиной, астрами, потрепанными сыроежками.

— Вспоминайте меня в настоящем, — просил очень сутулый поэт. Собирался дождь...

Юша лежал в чисто вымытой комнате-клетушке, пахнущей свежим деревом. Кряхтел, ворочался, не мог заснуть. — «Пора и мне в домовину», — сказал сам себе Юша. Вложил сигарету в янтарный обгрызанный мундштук. Забыл закурить. Закрыл глаза, задремал. И увидел Ральку, самую смышленую из своих собак. Наверху зашуршал бессмертный русский дачный дождь. Все вокруг стало тихо, быстро отсыревать.

Дни и месяцы бежали — немирные, хитрые, плотские. Надежда Григорьевна переехала, наконец, со всем семейством на постоянную квартиру, в доме Борщова в Богословском переулке. У Борщова — любовница, фабрика, доходные дома и жена Маргарита, рыхлая, болезненная, тянущаяся от скуки к интеллигенции и музыке. Надежда Григорьевна дает ей уроки, но больше они говорят о модах, о мужском непостоянстве. Маргарита уже пригласила Надежду Григорьевну с детьми на дачу в Огарково. Что ж, пожалуй стоит туда как-нибудь съездить — не в последнюю очередь и из соображений экономии.

Во дворе Борщовского дома уцелела старая ветла над барочным сараем, по углам которого пухлощекие ангелочки дули в конфетные рога изобилия. В сарае незаметно обитала белая, пожелтевшая от бремени лет лошадь. За сараем, на углу Бронной, стоял элегический ампирный домик с рельефными медалями над окнами, мезонином, четырьмя колоннами. Его обитательницу, дряхлую барыню в пушкинском чепце, Надежда Григорьевна видела всего раз. Старый лакей и такой же старый кучер вывели ее под руки, посадили в карету, извлеченную вместе с лошадью из мрака сарая, и отвезли к Светлой Заутрене под печальный до полуночи перезвон московских колоколов.

Поздней осенью за барыней приехало несколько пожилых господ, катафалк с кистями, и барыня переселилась в Донской монастырь, под мраморные родительские кресты.

— Припоминаете ли вы, князь, — говорил один очень пожилой господин другому, — старинную московскую шутку:

будь скуп, будь глуп, но помни, что ты — Палицын. Живи в Москве на Тверской, а как помрешь, — так в Донской!

— Да-с, — отвечал мечтательно князь, жуя пустым ртом, — тетушка Марья Петровна ни в чем не уклонилась от патриархальных заветов. А скажите мне, милостивый государь, где-то окажемся мы? На каком погосте? Домик же, думаю, выгоднее всего продать на своз, а землю — отдельно.

«Что же, — сказала себе Надежда Григорьевна, — старое старится, молодое растет. Si jeunesse savez, si vieullesse pouvez! Здравствуй, племя младое, незнакомое!»

Она ждала извозчика Агафона в подворотне Борщовского дома, пожилые господа — выноса гроба. Моросил мелкий противный дождь, а сквозь него пробивалась таявшая, долетая до земли, снежная пыль. Катафалк и карета медленно потащились впереди агафоновой пролетки. Надежде Григорьевне это показалось неприятно. На углу Бронной она, наконец, не выдержала, прикрикнула на Агафона:

— Гони прочь! Налево, дурак! Не видишь, что ли, тащимся вслед покойнику!

Агафон круто повернул, молодецки натянул вожжи, помахал катафалку прощально кнутом: «Эхх-ма, барыня Марья Петровна!» — и полетел к Пассажу Солодовникова.

Надежда Григорьевна, чтобы разогнать грустное впечатление, порылась в отрезах, будто выбирая совсем ей теперь ненужный, да и не по карману, материал — шевиот фуле, кашемир суа, креп-жерве, оттоман сольель, мессалин-гляссе; повздорила с приказчиком, и, вернувшись домой, подошла, не раздеваясь, к окну. Паша затопила печь, возилась с ужином на кухне. Квартира пахла натертыми полами, нафталином, сушеной лавандой. Смеркалось, дождь перешел в снег. Ветла, сарай, темный дом стояли какие-то пустопорожние, больные.

«Вот, — подумала Надежда Григорьевна, — была и я счастлива с Сашей, как дай Бог всякому. А теперь, в разлуке, отвыкла. Все отняли дети, всю предназначавшуюся ему теплоту. И, честно, страшно подумать, что вот, он когда-нибудь выйдет в отставку, приедет и поселится бок о бок, в одной спальне. Как-то не верится, что мы с ним почти старики. Походка у меня пока легкая, желудок исправный. Если все благополучно, то и распо-

ложение духа прекрасное. Забываешь, что подходит к концу пятый десяток...».

Она села к роялю, положила на крышку перчатки, играла себе Первую Балладу Шопена, и плакала от пронзительного и редкого для нее сознания мимолетности себя и всего вокруг.

Надежда Григорьевна решилась, наконец, сдать две комнаты. В одной поселилась мадам Крогг, суфлерша Художественного Театра, с сыном, бледным и тихим двенадцатилетним мальчиком. Мальчик все дни сидел с матерью в комнате, а вечерами, когда мадам Крогг уходила в театр, пил чай с Пашей на кухне и шопотом, точно боясь кого-то потревожить, читал ей молитвы на обороте бумажных иконок.

Через месяц пришли по рекомендации еще жильцы — брат и сестра Ивановы. Их отец, полковник Иванов, старый начальник Александра Александровича по Рязани, умер прошлой весной от разрыва сердца в купе курьерского поезда по дороге в Варшаву. Мать еще раньше сбежала на Кавказ со штабс-капитаном Глотовым. Наташа сразу с ними сошлась, и Надежда Григорьевна была рада — скучно одной в почти незнакомом городе.

Брат, Даня, робкий, совсем еще мальчик, с сиреневыми кругами под глазами и большим вкусным ртом, сразу стал ходить за Наташей хвостом. Каждый день писал ей письма; подкараулив Наташу в темной прихожей, шепотом обещал покончить с собой, если она ему не уступит. Наташа открывала Данины письма через два на третье. Не прогоняла его прочь, кокетничала, но и не уступала. Ей льстила и ее возбуждала привязанность этого мальчика. Она плохо знала себя, ей казалось, что в свои двадцать три года она уже безнадежно стара и так и умрет застарелой девой (поцелуи с Юшей не в счет), сделав, быть может, небольшую оперную карьеру.

Маруся, Данина сестра, показала Наташе картинки — голых красавиц с губами сердечком, с пушистыми, как у кошек, волосами. Познакомила со своей подругой, дочерью артиллерийского подполковника Леной Цветковской. Лена скорбно носила черное до подбородка платье, была в трауре по России и буржуазной культуре. Она недавно приехала из Парижа и уже тосковала.

— Итак, разбита еще одна хрупкая надежда. — говорила

Лена, держа в тонких, с лиловыми ногтями, пальцах, длинный мундштук с египетской папироской. — Я надеялась помешаться, но и этого не случилось. Надежда — это эфемерная ткань нашей жизни. Все, все решительно лгут, и на что-то надеются, — и власти, и лидеры движения. Прочтите, милая Наташа, рассказ Леонида Андреева «Ложь». Еще я вам очень рекомендую роман фон Лоренца «Крестьянин»...

Наташа по-прежнему ждет писем от Юши. Но их нет. Зато вдруг, совершенно нежданно, стали приходить аккуратным почерком написанные письма от Сережи Фибиха. Он теперь в Манчжурии. В Мукденском сражении его слегка контузило. Пробыл некоторое время в Харбине, в госпитале, где страшно заскучал по Москве. И внезапно для самого себя открыл, что влюблен в Наташу. — «Видел сон, будто от любви к вам сделался сумасшедшим. Бил все, что ни попадало под руку — разумеется, во сне — и очень ждал вас. Вы должны были прийти и дать окончательный ответ. Проснулся, обрадовался, что еще не сошел с ума и могу вас любить в здравом рассудке».

У Надежды Григорьевны тоже завелась маленькая тайна, мимолетный друг по переписке, капитан Михайлов, плотный невысокий человек, сослуживец Александра Александровича, почти что Тузенбах, еженедельно пишущий ей письма зелеными чернилами. Надежда Григорьевна, наконец, съездила к мужу, перед тем как его артиллерийская бригада отправилась во Владивосток, ближе к театру военных действий с японцами. Впервые в жизни она увидела в поезде живого еврея — и ей ужасно захотелось путешествовать — на Цейлон, Целебес, в Малайю.

Михайлов приехал к поезду на бричке, и пока дорога пылила до лагеря, Надежда Григорьевна неотрывно и грешно смотрела на его крутой затылок, на сильные плечи, в который раз вспоминала, как он наклонялся поцеловать ей руку на станции и благоразумно думала, что это не флирт, не любовь, а — симпатия. Что, быть может, с ним, с Михайловым, она была бы счастлива. Но это недостижимо. Ей хотелось сыграть ему

Шопена или Шумана, чтобы окна были открыты настежь в сад, а кругом стояла невообразимая тишина.

Надежда Григорьевна нашла мужа по обыкновению раздраженным: безденежьем, скукой лагерной жизни, предстоящим назначением. Александр Александрович ходил по своему кабинету, хрустя суставами пальцев, неприязненно косясь на пыльный бюст Наполеона, на жену.

Надежда Григорьевна сидела в шляпке, в пальто, потому что Александр Александрович экономил на топливе, а на улице полагалось быть лету.

— Нам надо подумать, — говорила она мужу, — как выкроить на беличью шубку Наташе, сейчас это выйдет дешевле, а ближе к Покрову все портнихи будут заняты и станут драть втридорога.

Кроме шахмат и поэзии, Александр Александрович стал увлекаться электричеством, показал смастеренные им какие-то батареи, утверждал: — Теперь электричество в такой силе, что, пожалуй, даже пощечину передадут из Ломжи в Москву.

О пощечине было слушать как-то неприятно. И неприятно было, что Александр Александрович и Михайлов уезжают так далеко. Все-таки там, по слухам, идет настоящая война.

Николай Петрович залез в долг у шурина, доктора Лезина, и купил дом на Новинском бульваре, под старыми толстыми липами. Наверное знал, что долг этот до своей смерти так и не отдаст.

Дом полон медвежьих и волчьих голов, чучел когда-то убитых им птиц с обгрызанными еще матвеевскими мышами хвостами, остатков ампирной мебели. Дом ему с Анютой, с Анной Петровной, совершенно ни к чему. Дети разлетелись по службам, разбрелись по наемным углам, Бог знает куда и где. В доме осталась самая старшая из дочерей, Лена, и младшая — Танюша. Хлопотами Анны Петровны и ее влиятельных родственников Танюшу определили в Елизаветинский институт; по

праздникам Лена отрывается от печатания на машинке и едет за Танюшей через весь город, в Лефортово.

По утрам Николай Петрович балуется акварелью, которую забросил со студенческих лет. Он пишет голубой шатер соседней звонницы, галок на снегу, своих давно умерших собак, замерших в стойке среди рязанских или мещерских мелочей. У него появилось теперь еще одно увлечение. Николай Петрович стал членом Московского Историко-Родословного Общества и терпеливо вычерчивает генеалогические таблицы. У него много свободного времени, а старость даже не на пороге, а тут, рядом. Ноги все больше отказывают и на охоте надо поставить окончательный крест. Николай Петрович пишет «Воспоминания старого охотника», пытается рассеять обычный мрак неизвестности, сопутствовавший появлению его старинного рода. Он, конечно, догадывается, что его родословные занятия — всего лишь страх перед смертью, попытка немного урвать от бессмертия. Николай Петрович — врач; ему труднее, чем другим, обманывать себя. В его родословных занятиях есть и другое, — глупая романтическая ностальгия. Последний год он взял себе фантазию подписываться «Фаренсбах» — по имени одного из полумифических предков — и презрительно говорит о мужиках: — Скифы!

Николай Петрович ждет приезда Танюши и Лены, перебирает охотничьи записи, черновик родословной. Уехавший к Ржевским Юша оставил своего пса. Пес на кого-то рычит во сне, тяжело дышит, греет зябкие ноги Николая Петровича в мягких домашних шевровых сапожках. Николай Петрович то и дело поглядывает на улицу, на бронзовые золоченые часы с Амуром. Трепетный Ангел — или Кронос — со знакомыми, спутанными нездешним ветром волосами, мечется в клетке времени, замирает, чтобы, спеша, отметить мимолетные вехи. И тогда часы бьют гулким, отдающим дальним эхом боем, за которым следуют первые такты Турецкого марша.

Вот уже сорок дней, как скончался, в январе, отец, Петр Михайлович. Утром Николай Петрович отстоял на своих больных ногах панихиду в соседней церкви Рождества в Кудрине. Насилу дошел домой, всего лишь через двор. Было морозно,

солнечно, но уже по-весеннему начал голубеть снег. А тогда, в январе, была полная луна, вечер, вся Москва искрилась новыми снежными сугробами. В соседних переулках нежно тренькали бубенчики под лошадиными дугами. В тот день утром за сыном Колей приходили жандармы. Анна Петровна разволновалась, пила валерьянку, у нее почти что случился приступ грудной жабы. Николай Петрович громко разбранил беглого сына «дурой» и снова потянулся к запрещенным себе папиросам.

Вечером узнали о сдаче Порт-Артура и стрельбе в Петербурге. Уже совсем поздно явилась сестра Саша и сказала, что отец умер, а Колю арестовали в ее квартире.

Отец уже лежал на столе, причесанный и побритый, неожиданно молодости в свои девяносто с чем-то лет, в любимом его старомодном сюртуке. Маленькая горбатая монашка читала над ним псалтырь, и тут же, неподалеку, стояло отцовское, кожаное на колесиках, странно опустелое кресло с протертыми локтями.

Колю выследили в университете при раздаче листовок в актовом зале. Ему удалось отсидеться у знакомых медиков, в морге под аркой; ночью ему стало страшно среди трупов, а главное, нестерпимо воняло. Он подозревал, что у родительского дома его могут ждать филеры и прибежал к тетке. Тетя Саша вообще ничего не понимала. Доктор Лезин сделал вид, что это его не касается, полдня не выходил из кабинета, а потом уехал обедать в клуб.

К вечеру явились жандармский ротмистр с приставом и понятыми. Тетя Саша спрятала Колю в темной комнате деда за тяжелой гардиной и трижды перекрестила. Петр Михайлович на мгновенье очнулся от обычной дремы и спросил дурным голосом: — Что такое, а? Пожар? Бунт?

Тетя Саша подтолкнула сползший с его колен плед, поцеловала отцовский высокий прохладный лоб: — Не волнуйтесь, papá. Absolument rien!

Когда Колю нашли за гардиной, он сильно брыкался и кричал: — Долой самодержавие! Позор царским опричникам!

Петр Михайлович страшно разволновался, лоб его покраснел и там игриком вздулась толстая жила. Он привстал в своем кресле, по-волчьи блестя единственным глазом, сказал гневно и громко: «Дворянство не допустит! Канальи!» — И тут же умер.

С отцовских похорон на Ваганьковке Николай Петрович ехал с женой молча, в мягкой звездной тишине московского зимнего вечера с мерцающими над церковными воротами теплыми лампадками, темными маленькими ампирными особняками, редкими лихачами и странным сполохом на Востоке; и Николай Петрович только теперь понял, что с отцом ушла и его жизнь, все то, что ему было дорого и близко в этом городе, где в каждом переулке у него велась когда-то родня — все эти кузины, тетки, дядюшки — в таких вот ампирных нелепых особнячках, со святочными вечерами, детскими елками, собачками, приживалками, званными обедами, балами. А теперь всему этому приходит конец и то, что он видит вокруг, — последние минуты затянувшегося приятного сна. Того и гляди все пойдет прахом, обернется какой-то новой, невыносимо раздражающей, крикливой, наглой жизнью, от которой, он для себя решил уже, во что бы то ни стало надо уклониться — в смерть.

Николай Петрович вспомнил старшую сестру Соню. Была осень, непролазная грязь в их имении. Он проснулся от шума, от переполоха в доме. Отец ругал прислугу, мать плакала, братья и сестры сбились, полуодетые, в серой, сумеречной классной комнате, дрожали от холода и с любопытством смотрели в окно, где за речкой стоял воейковский дом. Туда ночью, никого не спросясь, бежала сестрица Соня к Мишелю Воейкову, уланскому офицеру, сыну вдовы-помещицы. Петр Михайлович высылал делегацию — уговорить Соню вернуться, — и безрезультатно. Ночью они с Мишелем сели в Шилове на московский поезд.

Всю неделю было страшно грустно. Шел дождь, родители не показывались из своих комнат, дети не шалили, читали книжки и шептались — какая судьба ждет бедную Соню. В воскресенье, наконец, собрались всей семьей на обед, были именины одной из младших сестер, может быть, Зины. Ели от смущения много, а говорить казалось неловко. Слышно было, как на улице пьяный пономарь Филька горланил: Эх, уланы-молодцы, славные ребята...

Мать тихо заплакала, а Петр Михайлович гневно сверкнул единственным глазом, подошел к окну и погрозил Фильке

палкой: — Черт вас дери! Нет на вас теперь управы! Год назад ты бы у меня отведал плетей на псарне. В колодку тебя, мерзавца!

— Ах, Пьер, çest assez! — просила мамаша. — Как можно при детях!

А следующей осенью сестру Соню отпевали в общей с Воейковыми церкви. Он почему-то не хотел идти внутрь, стоял у низкого, забранного ржавой кружевной решеткой церковного окна, смотрел, как по-осеннему вяло ползут земляные жуки по облупившейся там и сям белой штукатурке, пытаясь перескочить, вскарабкаться на мокрые старые листья крапивы и паслена. «Плачу и рыдаю, егда вижу смерть во гробех лежащу... Всуе мятется всяк земнородный» — тонким фальцетом выводил дьячок.

Вверху, в липах, картаво кричали грачи. Клонившиеся на ветру длинные ветки берез мокрой прохладой щекотали лицо, и ему, совсем тогда мальчишке, показалось, что нелепый уход Сони, ее смерть — начало длинного, долгого, общего всем конца.

Наконец, приехали Лена и Танюша. Танюша с разбегу повисает на отцовской шее, целует его в седую короткую бородку:

— По дороге домой Лена свезла меня в кондитерскую на Неглинной! Какие вкусные марципаны мы ели! Леночка ужасно добрая! Я ее страшно люблю!

Лена, крестница брата Сергея, в старой беличьей материнской шубке, красивая, всегда настороженная, сейчас смущенно улыбается. Николаю Петровичу жалко ее — красивую, добрую, глупую. Когда-то давно, в Рязани, у нее был жених, поручик Венсан, добрый малый, хотя и шелапут, но все, конечно, расстроилось — не без участия Анны Петровны. Теперь Лена уже ничего от жизни и не ждет.

Отец и дочери пьют чай с вареньем в столовой под теплым, низким оранжевым абажуром. На столе пыхтит серебряный самовар. Танюша рассказывает свои нехитрые новости: — Боря написал, что Зина купила ему монтекрист, и он уже убил из него пулей воробья или ворону! — Наша классная дама больна, у нее болит голова! — Что нового на войне? Кто побеждает — мы или

япончики? У нас была soireé и граф Олсуфьев. Он просил тебе, папа, кланяться. Мы играли на рояли. Господин Рахманинов очень следил, чтобы мы не фальшивили и страшно сердился, когда фальшивили. А мы, конечно, порядочно врали. — У нас во вторник была очень вкусная навага. Я из косточек, что вынула из головы, сделала маргаритку и подарила Вяземской. В следующий раз я тебе сделаю точно такую мама, даже лучше! — Папа, кончил ли ты рисовать мадонну?

На другой день — поминальный обед, сороковины по отцу. Танюша — в зеленой институтской форме с белыми нарукавниками. Лена сидит прямо, настороженно в своем черном сатиновом платье. Сестра Шура с доктором Лезиным. Николаю Петровичу кажется, что сестра опростилась, живучи со своим поповичем. «Нелепый мезальянс!» — время от времени презрительно напоминает Анна Петровна.

Пришел отец Алексей от соседнего Рождества. съели символическую кутью. Обратились к закускам. В очередь чокнулись с пустой рюмкой Петра Михайловича, вместе с прибором стоявшей в середине стола. Покойник, как всегда бывает, скоро забылся. Александра Петровна стала жаловаться отцу Алексею на жизнь — прислуга недобросовестна, а живет в доме целых двенадцать человек, за всем и за всеми надо присмотреть. Доктор Лезин высказал предположение, что летом разгорится холера, или революция. Отец Алексей вспомнил, что в Петербурге на 9 января видели три солнца, а потом вдруг на мгновение в снежной пыли показалась и радуга; все это знаменательно и уж, конечно, не к лучшему.

— Картечи не надо жалеть, вот что, — говорит Николай Петрович. Машет безнадежно рукой. — А впрочем, все к черту!

Лена на всякий случай незаметно крестится. О Коле, сидящем под следствием в Бутырке, никто не вспоминает.

К концу обеда приезжает, в трауре, племянница, графиня Лиза Коновницина. Ее мужа, адъютанта великого князя, убила вместе с Сергием Александровичем две недели назад бомба у Никольских ворот в Кремле.

Лиза двигается, будто во сне, ни к чему из еды не притраги-

вается и в который, видно, раз механическим каким-то голосом рассказывает: — Вдруг мы услышали страшный взрыв. Великая княгиня бросила шитье — Это Серьоша! — Помчались вниз, на улицу. Лакей едва успел накинуть ей шубу на плечи. Я ощутила дурноту, скверное предчувствие. Еле достало сил подойти к окну. Закружилась голова. Все поплыло перед глазами. Стало душно. Мне открыли окно. Морозный воздух привел меня в некоторые чувства. Внизу Елизавета Федоровна, простоволосая, металась среди кусков того, чтобы было великим князем. Какой ужас!

Лиза закрывает лицо руками в черных кружевных перчатках. Николай Петрович заставляет Лизу выпить стопку водки.

— Кругом толпились серые люди. В шапках. Какой-то человек, похожий на шпика, бился в истерике на руках у полицейских, кричал: «Я уцелел! Слава Богу, я уцелел!» И вдруг начал хохотать. До сих пор слышу этот жуткий хохот. Елизавета Федоровна стала кричать на людей: Что ви на *это* смотрите? И вам не стидно на *это* смотреть?

Толпа подалась в сторону, и я увидела своего мужа, целого, но совсем мертвого.

— Какое святотатство! — крестясь и шумно вздыхая, говорит отец Алексей. — В священных всем нам стенах Кремля! Как было дано свершиться такому неслыханному злодеянию? Не иначе, как попустительством Божьим! Кто, кроме Него, знает, — возможно, великий князь днесь царствует в превыспренних местах!

— Одно несомненно, — говорит Николай Петрович, — мы приближаемся к катастрофе. — И приглашает мужчин к себе в кабинет на ликер.

Анна Петровна, поплакав с Лизой и проводив ее, садится писать письмо великой княгине Елизавете Федоровне. Ее страшно волнует и огорчает эта история с Колей, хотя на людях, при детях, и даже с мужем она не позволяет себе подать и виду. И все это ерунда, вздор, ничего, кроме балагурства, тут, разумеется, нет.

Она пишет своим стремительным, легким почерком, многократно перечеркивает написанное. Анне Петровне кажется, что

она хорошо понимает эту одинокую, уже пожилую немку в ее всегдашнем женском одиночестве, в чужой холодной стране. Анне Петровне хочется найти для великой княгини теплые, человеческие слова. А вместо этого выходит какая-то деревянная, неискренняя челобитная. Анна Петровна ужасно сердится на себя, но что поделаешь: «Детьми своими клянусь, Ваше Императорское Высочество, мне бы легче было видеть его в гробу, взятого самим Богом посланной смертию, нежели в нынешнем его состоянии. Стон и плач матерей возносятся к небу. Неужели Господь, всемилостивый и всемогущий, не внемлет слезам нашим? Жизнь не всем и не каждому улыбается. Многим она приносит лишь сплошное горе. Муж мой в Турецкой кампании был при смерти, бросив жену, малолетних детей. Только благодаря случайности и участию генерала Рихтера остался жив. Потеря всего нашего состояния еще более надломила нравственные и физические силы... Вы лишены чувств матери, но, как человек, одаренный добрым сердцем, Вы поймете, простите меня за мою смелость, верю — снизойдете к воплю, вырвавшемуся из больной и истерзанной души матери».

«Боже, как все выходит неправдоподобно, фальшиво, пошло-сентиментально, — говорит себе Анна Петровна. — Какая-то низкопробная мелодрама!» Анна Петровна устала. Она недовольна собой, этим письмом, глупостью Коли, ленью и слабоволием мужа. Часы в гостиной бьют полночь. И все те же начальные такты Турецкого марша. Анна Петровна подходит к старинному, глубокому, вывезенному из Матвеевки зеркалу, иронически смотрит на себя, на сетку морщин у глаз, на еще резче проступившую горькую складку в углах поблекшего рта. За ее спиной — она не видит, но точно знает — стоит кто-то, чужой ее дому, и снисходительно усмехается над их человеческой суетой.

— Только зрелище делает жизнь приемлемой, мадам, — говорит он.

От звука его голоса Анна Петровна вздрагивает. Но не удивлена.

10

В Бельведере, как везде в Вене, неутомимо роют. Обновляют ограду дворцового парка, меняют камни старых лестниц. «Wir bitten um Verständnis». — «Ах, мы просим нас извинить». Понять. Ну зачем так предубежденно поплевывать в нашу сторону? Мы — маленькие, безобидные люди, нежащиеся в нашей мяукающей Gemütlichkeit. Мы любили и любим ездить в Нусдорф, в Хайлигенштадт, в Гринцинг, пить молодое вино — наш специалитет «хойригер» на невысоких мягких холмах Венского Леса, сентиментально собирать там весной фиалки, плясать под приятную скрипку, копить наше скромное состояньице, возиться в какой-нибудь авторемонтной мастерской, со всей строгостью следить за стройностью еврейской очереди в крематорий, за тем, чтобы лагерные скрипачи не фальшивили, играя вальсы Штрауса — музыкальная репутация Вены должна быть всегда безупречной.

Мы любили и любим наших императоров, наших фюреров, наших хофратов, наш полицей-президиум. Мы, наши дети, наши племянники и наши внуки служили в полиции, армии и гестапо. Наши отцы были всегда законопослушны, а если и становились социалистами — Mein Gott! — разве может их социализм идти хоть в какое-нибудь сравнение с теми ужасами, которые творились рядом, в Венгрии, уже не говоря о дикой России?! Наши деды открывали неизвестное насекомое, или утраченное письмо Марии Луизы к Наполеону, или дотоле неисследованное психическое заболевание, и умирали архивариусами, профессорами эмиритус — в больших кабинетах с уходящими в пыльную высь имперскими потолками, за необъятными надежными столами, среди пахнущих старой кожей, лаком и почти мумифицированными мышами стеклянных шкафов.

Над зелеными газонами Бельведерского парка носятся жирные чайки с Дуная, крикливые и задиристые, как современные женщины. В жесткой мерзлой траве копошатся иссине-черные грачи. Лили сказала, что на лето грачи улетают в Россию. Я

тогда не знал, откуда они прилетали в мой сад после того, как оттаивала земля. С гомоном устраивались на замерзших верхушках дубов. Длинными сизыми клювами искали полумертвых червей под бурыми прошлогодними листьями.

У профессора Хопфа тепло. Лили давно ушла на работу. Свежие анемоны в итальянской фаянсовой вазе. Профессор в черном костюме, большой и внутри будто пустой, как глиняная копилка. Он целуется по-славянски, трижды.

— Здравствуйте, голубчик! Как вам показалась наша старая, слегка подгнившая Вена? Но прежде всего, давайте выпьем чаю. Моя предпоследняя теща была русской. Это заразительно — чай... Лили оставила все на кухне. Пожалуйста, ради Бога, распоряжайтесь. К сожалению, я скверно вижу. Бедненькая Лили, она так много работает, и еще тут я, старик...

Профессор на мгновение поникает. Вынимает платок, кокетливо выглядывающий из верхнего кармана черного в узкую полоску пиджака. Протирает очки. Идет за мной на кухню.

— Завтра, ах завтра похороны моего друга, профессора Шуберта! Вот — жил смешно, и умер грешно. Я имею в виду — постепенно разложившись, в больнице, — нелепо, некрасиво... Ну не знаменательно ли, что вы приехали именно в день его смерти?! Как гласит русская поговорка — свято место пусто не бывает. Хм, у меня все еще довольно приличная память. Разумеется, мы будем пить чай в гостиной. Профессор Шуберт... О, он имел массу недостатков, как и все мы, но никогда не был столь высокомерен, как эти теперешние молодые ученые. Эти молодцы, сталкиваясь с какой-нибудь метафизической проблемой, которую не в силах разрешить своими примитивными методами и насквозь позитивистскими мозгами, аррогантно изрекают: — «Я не знаю». — Вот уж, унижение паче гордости. Что, в переводе на язык смиренных, означает: «Уж если я не знаю, то не знает никто». Какое, впрочем, наивное заблуждение! Нет, в Шуберте все еще давала о себе знать эта старомодная приправа добровольно налагаемого смирения. Благочестивое, если хотите, понимание человеческой ограниченности...

Мы сидим за круглым низким столиком. Несколько огром-

ных старинных глобусов, покрытых зрелым пушком давнишней пыли. На ближайшем, втиснутом в пространство между столиком и книжными полками, где-то между Аравией и Египтом присох большой паук. Секретер заставлен баночками и коробками с лекарствами. С книжных полок грузно свисают, почти падают непереплетенные тома академических изданий. Профессор пьет шестую чашку чая. Наивный, бесхитростный голубенький гжель. Хопф обнял чашку четырьмя неспорочно белыми длинными пальцами, изящно отслоняя мизинец с острым ногтем и сердоликовым перстнем. Он — левша и, видимо, нечувствителен к жару. Кипферли, варенье, чай — все мгновенно и безвозвратно исчезает в отверстии, обрамленном седыми усиками и седой, аккуратно подстриженной профессорской бородкой.

Хопфу приятно слегка погрустить

— Завтра — похороны. Профессор Шуберт уже загодя заказал себе моцартовский Реквием. А когда-то. когда-то, — Хопф мечтательно закрывает глаза, — я имел некоторое, правда, весьма косвенное, отношение к созданию этого шедевра... Боже, как мы стареем! — Профессор бросает лукавый взгляд в мою сторону. — Надеюсь, вы воспринимаете мою болтовню как и подобает — причудливые фантазии капризного старика.

Ему нравится играть со мной в hide and seek. Он вдруг пружинисто, молодо выпрямляется в своем вольтеровском кресле, обитом рытым венецианским бархатом:

— Но я не так уже безнадежно синилен, о нет!

Хопф громко чмокает юношески полнокровными красными губами, заговорщецки подмигивает пронзительным, на миг зрячим глазом:

— Как говорит русская поговорка: молодые опенки, да черви в них, стар дуб, да корень свеж! Ну согласитесь, мои знания, а?

Его глаза снова заволакиваются белесоватой пленкой неподдельной слепоты. Он изнеможденно распределяет в кресле свое большое тело.

— Я, знаете, всегда предпочитал зрелище. Ах, лучше оставлять глубины невозмущенными!

Профессор обводит гостиную невидящим взором гоголевского Вия. — О, я нигде не бываю. Сижу дома, старик...

Еще мгновенье, и из угла его рта потечет склеротическая слюна.

— Как говорит ваша поговорка: у кого болят кости, тот не думает в гости. Разумеется, меня навещают. Мне читают вслух. Несколько пожилых дам. Уже знакомая вам Труди. Несколько преданных молодых людей.

Хопф вдруг прерывает свои ламентации, вплотную подносит к глазам неутомимо мельтешащий циферблат японских ручных часов: — Извините, мой друг, время лекарств. Там, на бюро — мои глаза так скверно видят, — да, да, именно это.

Хопф берет горсть разноцветных горошин; они мгновенно исчезают в пропасти его розового рта. Покорно звонит стоящий на полу у профессорского кресла телефон.

— Es Gott, Johannes! Wie kommt es denn dass sie hier sind? Sind sie nicht auf Burgenland gegangen?.. Na, wieder gesund?.. Lassen sie mich nur machen, und alles wird gut gehen. Also schön, ich werde telefonieren.*

— Иоханнес, — сообщает профессор. — Легок на помине! Я нахожу, что он очень способный ученик. Но на него находят приступы лени. Теперь это называется благородным словом «депрессия». Или усталостью. Но, клянусь, это самая обыкновенная лень! Я поручил ему провести некоторые изыскания в библиотеке Эстергази. Там есть любопытные инкунабулы. Вместо этого он прокутил всю ночь, встал с головной болью и не мог вовремя успеть на автобус. А вечером придет и замертво свалится в кресле — «Ich bin zu müde»** А что он, спрашивается, делал? Никому ничего нельзя поручить! Мы с Лили платим за уголок, который Иоханнес снимает на Салезианергассе. Для приличия он имеет пару-другую уроков. От лени не может сдать несколько паршивых экзаменов. Почти превратился в вечного студента! Конечно, его приходится отчитывать. В своей неисчерпа-

---

* Почему ты здесь? Так ты не отправился в Бургенланд?.. Тебе теперь лучше?.. Ладно, предоставь это мне, все будет в порядке. Прекрасно, я тебе позвоню.

** Я устал.

емой старомодности я люблю цитировать притчи Соломона: «Пойди к муравью, ленивец, посмотри на его действия. И будь мудрым».

С минуту мы молчали. Лоб профессора морщится в какой-то напряженной мысли. Или воспоминании. Словно он подзабыл текст своей роли. Наконец, он встряхивает седой головой.

— Как вы смотрите насчет еще одной чашки чая? Я ужасно люблю крепкий, горячий чай!

Возвращаясь с кипящим чайником из кухни, я спотыкаюсь о глобус.

— Бедняжка Лили! — восклицает профессор. — У нее абсолютно нет времени навести порядок во всем этом хаосе. Расставаясь со своей последней женой, я взял с собой несколько старинных отцовских глобусов. А ей оставил коллекцию старинных часов. Впрочем, коллекция Лили, вернее, ее маман, тоже весьма недурна. Вы любите глобусы? Географические карты? Я видел прелестное американское издание — «Энциклопедия воображаемых земель». Между прочим, весьма многие из помещенных там земель — отнюдь не воображаемые!

— Мой отец... Он обожал пространство и время. Кстати, его звали Кронидом. Крайне редкое для здешних краев имя! Он был даже более слеп, чем я. Слепота — это у нас наследственное. Моя итальянская мамаша была романтична и себялюбива и в конце концов сбежала от моего отца-слепца — и от меня — с молодым итальянцем. Это окончательно подкосило отца. Он перестал отличать свет от тьмы, и меня воспитывала бабушка.

Неожиданно глаз профессора вновь становится зорким, вперяясь в сухого паука, прилипшего к старинному глобусу.

— Ах, этот несносный мертвый паук! На выжженных пространствах Аравии! Смахните его пожалуйста!.. Хочется немного воспоминаний... Во время оно — молодость! — мне нравилось навещать ориентальных, орнаментальных — простите мой юмор, всего лишь невинная игра слов — отшельников в библейских пустынях. В их, я бы позволил себе заметить, крайне неуютных обиталищах. Движимый единственно чувством сострадания. Сидит, бывало, какой-нибудь Антоний или Макарий в крайне непрезентабельном вретище среди почти лунного пейзажа. И плачет. Или бормочет псалмы. Кругом — ужасающая

жара. Шуршат ящерицы. даже змеи. Я всегда считал своим святым долгом снабжать эту публику освежающими кокосами. Или, скажем, разнообразить их мизерное существование живыми картинами. Из симпатии к идущему от незамутненного сердца порыву. О, с прежней системой доставки это было нетрудно. Иногда, бывало, подойду к какому-нибудь отшельнику, спрошу: «Кто у тебя покойник?» — «Душа моя, о ней плачу»... Да, в прежние времена люди умели красиво жить. Чувствовать...

— Как выродился мир! решительно никакого романтизма! То ли дело средние века! Тогда размышляли о тайне Творца и творения, сражались с дьяволом, уходили в пустыню. А теперь размышляют о том, на какой счет выгоднее поместить деньги в банк, или как взять возможно больше полезного у овощей и фруктов. No room for imagination! Я и сам, каюсь, ловлю себя на том, что поддаюсь этой витаминной навязчивости. Прошу Лили следить за тем, чтобы моя пища была возможно более макробиотической. Ах, это робкое подчинение вещам, себе самому!..

— Меня искренне забавляет кастовая элитарность современного демократического общества. Взамен титулов и прочей феодальной мишуры придумали великое множество других социальных различий, которые и не снились искушеннейшим китайским церемониймейстерам. Теперь черпают собственную социальную тождественность не в себе, не в роде, а скажем, в рекламе, в образе жизни, навязываемом телевизионным ящиком или популярным журналом. И при этом воображают, что страшно свободны! Какое приятное, но глубокое заблуждение! Достоинства и умения, это «бедный, но гордый», — где все это теперь я вас спрашиваю, мой друг?! Ощущение собственной реализованности в наши дни измеряется степенью причастности — адресу, знаменитому знакомству, лавке, марке автомобиля, Бог весть чему! Поразительно — и со специальной точки зрения, только со специальной — приятно, насколько все эти эфемерности закабаляют, оцепенело занимают современный человеческий ум... Остается выйти в отставку и сидеть сложа руки, что я почти и осуществил, предоставив событиям идти своим ходом. В конце-концов, всякий заслуживет отдыха, даже я...

Опять телефон. На этот раз Лили. «Лилечка!» — профессор передает мне черную старомодную трубку.

— Как вы там с профессором? — ее голос красиво печален. — Я? Скучаю. В Европе небо все под себя подминает. Особенно в эти короткие зимние дни. Ты заметил, что здесь у неба совсем другой цвет? Более пластичный. Более телесный. Выгляни в окно — увидишь серое, грязной тряпкой провисшее над тобой трико. Я говорю с тобой, а за окном моего бюро качаются на ветру замерзшие ветки каштанов. Вот, прилетела ворона... Лилит замолкает. Долгая пауза. Я слышу ее дыхание. Профессор пьет чай и что-то насвистывает, кажется, арию Керубино.

— Прости, — говорит, наконец, Лили. Я все еще не могу обрести дар речи, почти утерянный с твоим приездом. Я все еще рассеянна. Но мой ум постепенно проясняется. Я уже смогла вспомнить две первые строчки «Le cimetière marin» — Она почти поет в трубку:

Ce toit tranquille, où marchent des colombes,
Entre les pins palpite, entre les tombes...

— И вообще, я хочу в Рим. В Александрию. Камни и стены, поросшие дикими фигами, мхом... — в ее голосе просыпается озабоченность. — Ты не очень устал от профессора? О, Герман может быть страшно утомительным!

Опять пауза, на этот раз короткая:

— Боюсь, сегодня мы не увидимся. Завтра, завтра. Завтра я приду в Бельведер и ты приготовишь какой-нибудь замечательный русский ланч. А потом ты, возможно, кое с кем познакомишься... Что слышно об Иоханнесе?! Ах, он дома!?..

— Лилечка! Бедная! Томится на работе! — восклицает профессор.

— Что она хочет?

— Она хочет в Рим, — говорю я.

— О да, Лили так любит Рим! У меня тоже очень многое связано с Римом. Рим всегда вызывает во мне размышления о хрупкости человеческой славы. Рим властолюбия, наслаждения, материнства, соединения, исполнения, вечной утраты... Обожаю холодную, отрешенную целомудренность римской скульптуры. Ах, как часто я борюсь с желанием искусить этот застывший в себе холод... Иногда мне хочется сесть, наконец, к столу и написать свои впечатления от Рима. Но вечно некогда! О, мои

глаза! И потом, мертвому уединению перед листом бумаги я предпочитаю живое человеческое общение... Когда-то я был знаком в Риме с небезызвестным Кола да Риенци. Не удивляйтесь, у всех нас случаются самые неожиданные знакомства. Впоследствии этот тип еще живописнее повторился в Муссолини. О, Кола был действительно неподражаем в своей роли римского трибуна! Ему чудно шел лавровый венок и все эти парафернали. Потом мне пришла в голову фантазия навестить его в Авиньоне...

Профессор лукаво улыбается:

— Разумеется, вы должны воспринимать все мои мемуарные экскурсы в строго научном плане. Меня всегда интересовала механика человеческой гордыни. As a student of human frailty.... Да, мы говорили о Риенци. В Авиньоне он сидел в относительно удобных цепях. Хорошо кушал от папского стола. Но — скучал. Жаждал аудитории. Мои визиты были для него благословением неба. Он был, как вы, русские, выражаетесь, чрезвычайно речист...

Хопф смежает веки. Где он теперь? В Риме? В Авиньоне? Через минуту-две он открывает глаза, тянется за следующей чашкой чая, за кипферлем.

— Не столь опасна гордыня, сколь — смирение, — говорит он усталым тоном школьного учителя. — Давным-давно, между прочим, тоже в Риме, мне пришлось изрядно попотеть над вашим знаменитым длинноносым соотечественником. Правда, в конце концов мои усилия даром не пропали... Прошлое так обманчиво близко.

— Впрочем, в наше время уже нет нужды беспокоиться по поводу преувеличенного смирения. Я пустил эту проблему на самотек. Знаете, англоязычные народы почти забыли самое слово — «смирение». Вначале аррогантность протестантизма выглядела весьма обнадеживающей, хотя я еще долго сохранял, сердцу не прикажешь, сентиментальные чувства к католикам. Вот кто понимал толк в дьяволе! В протестантах столько вульгарности! Прежде они бросались чернильницами, теперь избегают любого упоминания. Это в определенном смысле удобно, но, согласитесь, оскорбительно для ego. У них, бедняжек, нет никакого приюта для воображения! В протестантских

церквах решительно не за что спрятаться. Не на чем развлечься глазу. Тем не менее, холодный рассудок говорит в пользу протестантов...

— Ах, давайте отдохнем на музыке! — предлагает Хопф. — Вероятно, я вас страшно утомил. Извините меня, днем я так одинок. Поставьте, ну скажем, «Парсифаля» Вагнера. Послушаем, тихо подремлем в креслах. Помечтаем. Погрустим...

За окном ранние венские сумерки. Над столиком густеет свет лампы. Профессор блаженно жмурится.

— Как я люблю эту вещь! Сколь блестящая интерпретация таинственнейшего и простейшего — одновременно. Вот он, человек! Мучается, ищет — или не ищет — и не может постичь божество. Жаждет, спотыкается, плачет, замирает в удивлении или отчаянии. И не может превозмочь инерцию своего земного самопотакания. И все это есть в «Парсифале» — неспешно, непривычно для Вагнера негромко, всепроникающе-трагично. Грусть и величие разлуки. Скромный пафос. Как профессор гностики, я слышу в «Парсифале», скорее, тему не восхождения, но нисхождения души в человеческое тело, души, впитывающей на своем пути свойства встреченных ею планет. Здесь и онемелость, жадное оцепенение Сатурна, гневность Марса, плотоядность Венеры, голодная целеустремленность Меркурия, властолюбие Юпитера. А все вместе — диковинно-гармоничное смятение, смущение души, которая, достигнув земли, уже не в силах использовать отпущенную ей мощь и первоначальные дарования.

Опять телефонный звонок. Профессор поднимает трубку.

— Ja, герр Шумахер! Подождите, я возьму другой аппарат. Извинившись, Хопф идет в коридор. Сквозь тающие в сумерках, еле слышные в моем углу звуки «Парсифаля» профессор громко говорит кому-то, очевидно очень требовательному и подозрительному, на другом конце провода:

— О, не беспокойтесь, пожалуйста! Он целиком в поле нашего зрения! Да, да, разумеется, если заметим что-нибудь странное или необычное, я сразу же доложу. Нет, не стоит сообщать канцлеру. Он безумно занят. Атомная станция. Дружба с палестинцами. Экономическая депрессия. Столько дел! Мы все устроим сами. Сущие пустяки!

— Что? Да, все аппараты работают исправно. В настоящее время мы развлекаемся теологической болтовней. Нет, пока все тихо. Ах, герр советник, ну скажите мне, пожалуйста, отчего эти русские так беспокойны, а?

Хопф возвращается в свое кресло. Трет, будто вспоминая что-то важное, свой высокий лоб.

— Да, голубчик, о чем мы, бишь, говорили? Ах, да, о «Парсифале»! Запад хорошо известен своим позитивизмом, своей упрямой привязанностью к так сказать экспериментальному миру. Но вот — Вагнер. Западный человек и к тому же немец, вдруг так близко подошел к истинному пониманию смерти. Или, может быть, — подлинных странствий души... Ах, кто, впрочем, из смертных знает, что такое смерть?

Профессор замолкает. Смотрит на меня искоса, хитро:

— Предполагаю, что вы слышали мой разговор. Я умышленно говорил достаточно громко. Там, — Хопф тыкает пальцем в потолок, — за вами пристально следят. Я нахожу, что чересчур пристально. Забавно, людям всегда свойственно мыслить привычными категориями! — Он вздыхает. — Вы непонятны, мой друг! Вы трагически непонятны! Вам, русским, полагается быть коммунистами. В лучшем случае — разочарованными коммунистами, которые называются диссидентами. Или беглыми агентами КГБ. Тогда к вам отнесутся с бóльшим доверием. Как говорит меткая русская поговорка: «У злой Натальи все люди канальи». У меня, однако, неплохая память! И вдруг вы являетесь, как снег на голову — то, что мы с Лили вам помогли, к делу не относится, доказательств нет, а если бы и были, их нелепо, согласитесь, представлять, — и вдруг вы являетесь и говорите, что с пеленок не интересовались, и даже — какой ужас! — презирали коммунизм. И что все эти пресловутые социальные достижения прошли мимо вас, что вы никогда не были увлечены захватывающей жизнью вашего развивающегося общества. Вас осудят либералы — за то, что вы никогда не питали иллюзий, не поклонялись идеалу. Вас осудят и заподозрят консерваторы-буржуа, потому что это ведь неестественно, — не быть конформистом. Это противоречит всем западным представлениям о выживании. В наши дни только сумасшедшие не бывают конформистами. Одним словом, вы или циник-

безумец, или монархо-фашист, или очень коварный агент КГБ. Ведь на Западе никому не приходит в голову, что там, за вашим железным занавесом, тоже водится нередкое племя эскапистов.

— Поэтому нам нужно сменить тактику. Придумать что-то более убедительное. Вы, мой друг, упустили время: вы не бегали в Москве к западным корреспондентам, не удивлялись, хотя бы притворно, отсутствию гражданских прав в вашем полицейском участке, не печатали в толстых советских журналах приблизительно правдивых опусов, напичканных аллюзиями и намеками, короче, вы *неосмотрительно уклонялись,* не были в гуще так называемой оппозиционной жизни.

— Поэтому давайте остановимся на роли честного малого, в какой-то степени недалекого, извините, у которого внезапно открылись глаза и просто не было никакой возможности обнародовать свое открытие на страницах западной печати. Не без намека на вполне человеческий страх возможных последствий. Это всегда здесь, на Западе, великолепно поймут.

— Да, кстати о страхе. Мне жалуются, что вы слишком презрительно смотрите на сопровождающих вас — по идее для вас незаметно — агентов. И даже позволяете себе саркастически улыбаться им в лицо. Во-первых, это нехорошо — все они заслуженные пожилые люди, с огромным опытом. Во-вторых, это неблагородно — подкарауливать разбойника. Жертве полагается быть простодушной и растерянной, да-с. Вы, видно, в детстве никогда не играли в разбойники и жандармы. Больше воображения и терпимости, мой друг!

Профессор расхаживает по гостиной в позе школьного учителя. За его спиной невидимая линейка. Несмотря на свою слепоту, он ни на что не натыкается. Подойдя к окну, отодвигает тяжелую штору.

— Как незаметно пришел вечер! Я страшно люблю вечернюю Вену! И чувствую себя удивительно уютно в нашей венской Schlamperei. Я сейчас подумал, как трудно подобрать для этого понятия адекватное слово на вашем родном языке. О, это все вместе — бесхребетность, трусость, моральная неряшливость, но вместе с тем и всепроникающая общая уютность, Gemütlichkeit... Однако, мы с вами заболтались. И все пустяки, все пустяки!

Хопф садится в свое кресло, протягивает мне лист чистой бумаги.

— У вас есть ручка? Прекрасно! Ну-с, давайте обсудим наши творческие планы. Ту серию статей, о которой вы мечтали еще в Америке.

Он просит у меня сигарету, неловко затягивается, закашливается.

— Страшно, безумно давно не курил. Самоограничение во всем — вот мой девиз в последнее время.

— Так о чем же мы напишем для невежественного западного читателя? Здесь о России знают меньше, или почти столько же, сколько о Китае. С Китаем в последнее время проще. Все обзавелись «И Цзин», чтобы быть в созвучии с космосом — на китайский лад; плакатами Мао Цзе Дуна — либерально и романтично, ужасный шик, и не Мао ли сказал о себе, что он — всего лишь монах, бредущий под дождем с дырявым зонтиком. Да, еще иглоукалывание. А у вас? Достоевский, Ленин, самовар, икра, водка и опера «Евгений Онегин».

Профессор снова меряет шагами гостиную, заложив большие пальцы за вырез жилета, победно выставив свою интеллигентскую бородку. Он увлечен «forschlagene Themen".* Он входит во все подробности «das Schicksal des Hauses der Herzoge von Braunschweig und die Regentin Anna Leopoldovna".** Он умиляется над «kleine Russische Provinzstätte als Quelle des Kunstgenusses."*** Он вспоминает о графе Разумовском, «ein Russischer Wiener zur Zeit des Keisers Franz"**** так, как будто разговаривал с ним вчера.

— Почему бы вам не написать всего этого самому, герр профессор? — спрашиваю я.

— О, нет, — Хопф отмахивается, — гностицизм и только гностицизм! Вот единственный предмет моего специального интереса в последнее время. К примеру, сейчас я

---

* предложенными темами.

** «Судьбы герцогов Брауншвейгских и регентши Анны Леопольдовны».

*** «Маленькими русскими городишками как источниками художественного вдохновения».

**** «русском венце времен кайзера Франца».

бьюсь над разгадкой крайне больного вопроса: кто послал Змею соблазнить Еву? А что, если это была сама София? «Премудрость построила себе дом, вытесала семь столбов его, заколола жертву, — на этих словах Хопф делает ударение, — растворила вино свое и приготовила у себя трапезу»... Ах, эти темы поистине неисчерпаемы! И темны...

— Что касается истории... Забавно, но и грустно жить, когда твое бытие имеет продолжительность, измеряемую чужими вехами. Надеюсь, вы не обидетесь? Я прекрасно понимаю, что ваш собственный опыт ограничен временем и пространством. Но давайте опишем Вену русскими глазами. Это может быть любопытно, взгляд так сказать со стороны...

Профессор хлопает меня по плечу. Заговорщицки подмигивает — Ваша нью-йоркская подруга родом из Дании? Ах эти скучные датские короли, Фредерики и Кристианы. У них вечно были парикмахерские проблемы. Колтуны в волосах. Воображаю, как болезненно. И неинтересно. Но — jedem das Sein!

Мы долго прощаемся в коридоре среди поясных масляных портретов господ в черных эспаньолках и строгих суртуках, цветных старинных карт немецких княжеств, неразобранных книжных башен.

— Лилечка, бедняжка! — вздыхает Хопф. — У нее абсолютно нет времени... Я вижу, вы очень подружились. Приятное разнообразие. Лили и правда, удивительно сообразительна. И развита, между прочим, что так редко в теперешних молодых поколениях. Но, мой друг, в общении с женщинами, особенно *посторонними*, — он делает ударение на этом слове, не забывайте премудрого Соломона: «Мед источают уста чужой жены, и мягче елея речь ее. Если бы ты захотел постигнуть стезю жизни ее, помни, что пути ее непостоянны, и ты не узнаешь их». Впрочем, не придавайте ровно никакого значения моему старческому брюзжанию. «Все можно, только осторожно», — говорит великий русский народ.

На лестничной клетке хлопает дверь подъехавшего лифта. Звонок в дверь.

— Это Иоханнес! — говорит профессор, утомленно вздевая глаза вверх. И, переходя на шепот: — Я обречен. Впереди целый

вечер! — Хопф гостеприимно распахивает дверь — Иоханнес! Грюссе! А мы все стоим в прихожей и никак не можем расстаться! Все же вам следовало бы дождаться моего звонка! Иоханнес смущенно улыбается на пороге. У него нежные розовые щеки, детское лицо.

— Ну что же, нашему русскому другу пора отправляться домой, в причудливый мир барокко. А мы, простолюдины, останемся здесь, в нашем буржуазном югендстиле. Работать, работать и еще раз работать...

— Там уютно? — робко спрашивает меня Иоханнес.

— Холодно, — отвечаю я.

— Там должно быть чертовски уютно, — убежденно говорит профессор. — О, как я понимаю ваш старомодный романтизм! Когда я учился в монастырской школе, в какие-то там двадцатые годы, в нашем помещении было очень холодно. Ледяные каменные плиты, полное отсутствие отопления. Но мы согревались на Плутархе. Скажите, ну не приятно ли бродить среди живых свидетелей истории? Это то, что нам в изобилии может представить только матушка Европа.

— До свиданья, мой друг! Так приятно было покалякать по-русски! Жду вас во всякое время! «Жить в соседях — быть в беседах», — как говорит русский народ. Ну не удивительно ли, я все еще кое-что помню из ваших поговорок.

Не дожидаясь декоративного саркофага лифта Франца-Иосифа, я спускаюсь по крутой, круглой лестнице. Хопф кричит мне вслед:

— Вокруг вас, кажется, понемногу собирается довольно изысканное общество. Однако, без прекрасного пола в Бельведере несколько скучно, а? Не беспокойтесь! Мы дадим вам великолепную даму! Софию. Это как раз то, на чем мы с Иоханнесом собираемся сегодня сосредоточиться!

В подъезде пожилой человек с утомленным ожиданием лицом, в сером пальто и темной шляпе, увидев меня, облегченно встает с продавленного поколениями швейцаров кресла. Он устало провожает меня вверх по Ренвегу, выдерживая дистанцию. Терпеливо ждет на другой стороне улицы, пока я ищу

ключи, чтобы открыть ворота парка. Помня упреки Хопфа, я стараюсь не смотреть в сторону филера. Я в безопасности. Я в Вене.

На верху лестницы меня поджидает принц Евгений. Позади принца — две неясные бородатые мужские фигуры. Мы здороваемся с Евгением, как старые знакомые.

— Bon soir! Надеюсь, вы приятно и с пользой провели день. Добро пожаловать домой! — говорит принц.

— Кто эти люди? Или тени? — спрашиваю я.

— Жан и Жак. Я не буду их вам представлять. Хотя с Жаном вы, должно быть, хорошо знакомы. Он ваш соотечественник. Довольно трагическая, но и сумбурная душа. Очень честолюбив. Жак — совсем другая история. Оба были в свое время несправедливо оклеветаны. Людские зависть и жадность разрушили их жизни. Но было бы глупо отрицать и их собственную вину. Жана и Жака погубила, в конечном счете, гордыня.

Мы не спеша идем по дорожке парка к Верхнему Бельведеру. На почтительном расстоянии за нами следуют тени Жана и Жака.

— Вы ненавидели кого-нибудь? Когда-нибудь? — спрашивает принц.

— Не помню.

— Я ненавидел только одного человека, — говорит Евгений. — Его оттопыренные чувственные губы сжимаются в целеустремленном презрении. — Людовика XIV. Он был слабый человек. Людовик — это нескончаемая человеческая тема напыщенности и ничтожества. Такие люди всегда популярны, всегда — sel de la vie. Он был слабый человек. Им всегда вертели женщины, а он наивно воображал, что обладает несокрушимой волей. У нашего семейства весьма длинные счеты с королем. В юности он увлекался моей матерью, Олимпией. Вы когда-нибудь слыхали о ней?.. Ей очень покровительствовала шведская королева Христина. Извините, что я вам сообщаю все эти ненужные семейные подробности. Королева Христина всячески протежировала мою мать. Мне говорили, что она кричала Людовику: «Женись на Олимпии или убирайся ко всем чертям!» У Христины было много общего с Людовиком. Оба были властны и любили

погулять на стороне, каждый по-своему. Только Христина была куда умнее.

Принц умолкает. Пройдя несколько шагов, бормочет:

— ...эти мамаши, бросающие своих детей!

— Вы любили свою мать? — спрашиваю я.

— О, сложный вопрос! Думаю, у меня было что-то вроде неразделенной любви. Теперь-то я знаю, что она не отравляла отца, как ее обвиняли в свое время. Но она всегда думала только о себе. Когда ее изгоняли из Франции, она так спешила упаковать свои золото и камни, что у нее не было времени даже поцеловать меня и других детей на прощанье. Правда, расставанье было очень суматошным. Помню, как под окнами нашего отеля де Суассон бесновалась чернь, подкупленная военным министром Лувуа, ее заклятым врагом. В один день моя мать изменилась. У нее были замечательные живые глаза. И вдруг они потухли. Стал виден длинный нос. Щеки запали. Красивые руки постарели. Мне было ее страшно жаль. Но я не мог ей об этом сказать.

— Она оставила нас, детей, ни с чем. У бабушки Мари было мало денег. Все забрала с собой мать. И укатила в Брюссель с маркизом д'Аллюи. Он был сплетник, картежник, интриган; все свои восемьдесят лет занимался этим — естественно и безмятежно. Почему-то у него всегда находились новые женщины, новые дуры.

Голос принца суровеет. Глаза темнеют, будто он ищет новые доказательства своей любви, своей неприязни.

— До конца своих дней моя мать считала себя вправе распоряжаться мною из своего далека. Но она никогда ничего не сделала, чтобы заслужить это право.

Мы с принцем минуем последнего сфинкса. Знакомая крыса Мехтильда сидит под пористым каменным брюхом.

— Нас ни на минуту не оставляют без наблюдения, — говорит принц. — Впрочем, в Вене они больше ничего не умеют делать. Нет, пардон. В мои времена они любили охотиться. Вспоминаю, как граф Чернин на смертном одре бормотал: «И когда Господь спросит: что ты сделал в своей жизни? — я отвечу: Я стрелял зайцев, зайцев, зайцев. Не то чтобы очень много, о Господи»... Как глупо! И для этих подозревающих

бездельников я построил империю! Империя продержалась целых двести лет и развалилась — не без моего участия. Ведь надо производить переоценку ценностей — рано или поздно.

Во дворе перед зверинцем прогуливаются две женские фигуры в темных длинных плащах. Одна из женщин прихрамывает.

— Полюбуйтесь, мои сестрицы, мадемуазель де Суассон и мадемуазель де Кариньян. Все на что-то надеются. Только моя мамаша, Олимпия, по-прежнему высокомерна.

— С нами дурно обращались, месье, — жалуется подошедшая к нам хромоножка, мадемуазель де Суассон. — Маман сбежала. тетка и грандмер были поглощены интригами...

— В другой раз, — морщась говорит принц. — В другой раз. Наш гость утомлен. И потом, — это несущественно.

Мы стоим у тяжелых железных ворот зверинца. Бородатый страдальческий бюст исчез со столба. Я вспоминаю, что у бюста было сходство с Жаком. По маленькому садику рыскает черный песик Шварц. Принц с досадой оглядывается на Шварца.

— Но все равно. Вы, небось, не думали, что попадете в такую кампанию? Вам, наверное, хотелось бы увидеть не только нас, но и тех, кого вы никогда не знали? Или тех, кто ушел, как вам кажется, навсегда? Мой друг, в жизни ничто не пропадает зря. Ни форма, ни дух. Знаете, я чувствую себя зрелым только теперь. Ведь зрелость души — смерть. Конечно, есть силы и повлиятельнее профессора Хопфа. Мой вам совет — будьте осторожны. Отходя ко сну, повторяйте старинное иудейское заклинание — «Ты, влетающая в темный покой! Уходи, о Лилит! »

В доме темно. На пороге квартиры я повторяю заклинание принца. Не включая света, закрываю старинные скрипучие оконные ставни. Мне кажется, что так безопаснее, незаметнее. Старая привычка.

Я опять в Вене, где в пяти минутах от Бельведера на такой-то улице жил дракон — просто большая доверчивая ящерица в темном колодце, поджидавшая своего убийцу — и героя. Здесь Бетховен написал «Missa Solemnis». Там, в переулке у рынка, впервые поставили «Волшебную флейту». На Центральфриеде-

хофе, в углу, среди заброшенных еврейских могил выросла кривая русская пронзительная береза — наверху разрушенной, со следами красной краски, стены синагоги. В другом конец кладбища, под оккупированными белками елями, — памятник маэстро Сальери. А кости — неизвестно где. В этой церкви мальчик Моцарт играл на органе. А в той высокой мансарде у Вотивкирхе укладывается спать добрый герр Бюлер. Если только он еще жив.

Еще не очень поздно, и редкие трамваи ползут по извилистой Зиебенштернгассе к тому пансиону, в котором началась моя западная жизнь. Как там этот портье с гладким гитлерюгендовским лбом? Он учился тогда в Политехникуме. Презирал жадных до курятины, неряшливых советских эмигрантов. Играл в карты с турецкими террористами, неприметно жившими под крышей. Состоял в троцкистской партии, но подумывал перейти в неонацистскую, если к этому одобрительно отнесутся родители. В конце концов, не только буржуазия заслуживает своего уничтожения.

В звонкой темноте Бельведера я закрываю глаза. И опять привычно, по-русски, тоскую. По провинциальным рыжим пожарным каланчам. По замерзшему городскому саду — наследию земства — с опустевшей советской танцплощадкой. По облупившимся купеческим торговым рядам в Зарайске. По клумбе с мавританским газоном и куче лошадиного навоза рядом. По старомодной резеде. По трепету, шелесту, запаху только что распустившихся берез. По пьяницам в боровском «кафе Отрада». По куче грязных, с приставшими к ним иголками и мхом, маслят за рупь на прилавке пустого, как после Батыева нашествия, колхозного рынка. По ленивым облакам над ржавой главкой церквушки. По вечерним, величиной с воробья, комарам, по мычанью коров и громкому всплеску рыбешки летним вечером в какой-нибудь дурдомовской Верее.

Холодно. Ах, где-то при переезде потерялся — оскорбительно, безвозвратно — прадедамовый платок Сонечки Мармеладовой. Не во что завернуться. Я устал. Сейчас забьюсь, спря-

чусь с головой в окончательную темноту. Усну. Надо только не забыть, повторить перед сном: «Ты, влетающая в темный покой! Уходи, о Лилит!»

(Продолжение следует)

Ю. Кашкаров

ЕКАТЕРИНА ТАУБЕР

* * *

О разве, разве клясться надо
В старинной верности навек?
А. Блок

Ты медленно росла, дорогой ошибаясь,
Не видя главного, дурманами дыша,
От блоковских стихов хмельная и слепая
И юная еще, наивная душа.

Куда он вел тебя, той бездной соблазняя,
Которую он сам не в силах превозмочь,
«Кольцо заветное» навек уже роняя?
И тайно плакал он, и опускалась Ночь...

Ты весть о гибели принять не захотела,
Ты разорвала сеть соблазнов вихревых,
И постучалась в дверь смиренно и несмело.
Открылась вдруг она: в дверях стоял Жених.

П. МИЛЮКОВ

ПРОЕКТ МАНИФЕСТА ОБ ОТРЕЧЕНИИ НИКОЛАЯ II

Публикация Ю. Фельштинского

Публикуемый документ хранится в Бахметьевском архиве Колумбийского университета в коллекции Н. Н. Иванова и, с разрешения администрации Бахметьевского архива, публикуется впервые. Документ представляет собою машинописную копию проекта манифеста об отречении Николая II. Проект, судя по всему, был написан П. Милюковым. Рукописные поправки в тексте были сделаны рукою присяжного поверенного Н. Н. Николаева и подписаны Милюковым. Достоверность подписи легко устанавливается по ряду других рукописных материалов, подписанных Милюковым.

Судьба милюковского проекта остается невыясненной. *Обнародованный* манифест Николая II об отречении существенно отличается от проекта Милюкова. Манифест был передан во Временный Комитет Государственной Думы, но затем предан забвению и вывезен за границу Н. Ивановым, эмигрировавшим после большевистского переворота.

*Проект манифеста**

*Великие Князья решили представить к подписанию Его Императорского Величества Государя Императора сей акт, ими вполне одобренный.***

---

* Зачеркнуто пером.

** Написано рукою Н. Иванова.

БОЖИЕЮ МИЛОСТЬЮ
МЫ НИКОЛАЙ ВТОРЫЙ
ИМПЕРАТОР И САМОДЕРЖЕЦ ВСЕРОССИЙСКИЙ
ЦАРЬ ПОЛЬСКИЙ, ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ ФИНЛЯНДСКИЙ
и прочая, и прочая, и прочая.

Объявляем всем нашим верным подданным:

В твердом намерении переустроить Государственное Управление в ИМПЕРИИ на началах широкого народного представительства, МЫ предполагали приурочить введение нового Государственного строя ко дню окончания войны.

Бывшее Правительство НАШЕ, считая нежелательным установление ответственности Министров перед Отечеством в лице законодательных учреждений, находило возможным отложить вообще этот акт на определенное время.*

События последних дней, однако, показали, что правительство, не опирающееся на большинство в законодательных учреждениях, не могло предвидеть возникших волнений и не властно их предупредить.

Велика НАША скорбь, что в дни, когда на поле брани решаются судьбы России, внутренняя смута постигла столицу и отвлекла от работ на оборону, столь необходимых для победоносного окончания войны.

Не без происков коварного врага посеяна смута и Россию постигло такое тяжкое испытание. Крепко уповая на помощь Промысла Божия, МЫ твердо уверены, что русский народ во имя блага своей родины сломит смуту и не даст восторжествовать вражеским происками.

*Осеняя СЕБЯ крестным знамением, МЫ предоставляем Государству Российскому конституционный строй и** повелеваем продолжать прерванные Указом НАШИМ занятия Государственного Совета и Государственной Думы, поручая им безотлагательно приступить к рассмотрению имеющего быть внесенным Правительством НАШИМ, опирающимся на дове-*

---

* вообще» зачеркнуто.

** «и» зачеркнуто.

рие страны, проекта новых основных законов Российской Империи.

...и поручаем Председателю Государственной Думы немедленно составить временный кабинет, опирающийся на доверие страны, который в согласии с нами озаботится созывом законодательного собрания, проводимого для безотлагательного рассмотрения имеющего быть внесенным правительством проекта новых основных законов Российской Империи.*

Да послужит новый Государственный строй к вящему преуспеянию, славе и счастию дорогой НАМ России.

*Дан в Царском Селе, Марта в 1-й день, в лето от Рождества Христова тысяча девятьсот семнадцатое, Царствования же НАШЕГО двадцать третье.***

Подписали:

Великий Князь Михаил Александрович

Великий Князь Кирилл Владимирович

Великий Князь Павел Александрович

Акт сей имеет передать Временному Комитету Государственной Думы присяжный поверенный Николай Иванов.

в. к. Михаил, в. к. Павел, в. к. Кирилл.

С подлинным, переданным Временному Комитету Государственной Думы, 1 марта 1917 г., верно.

П. Милюков

---

* Конец рукописной вписки.

** Конец машинописного проекта манифеста. Весь дальнейший текст напи-

*** Зачеркнуто: «проект манифеста», «вообще» и слова «им безотлагательно...» до конца абзаца. Надписано: «великие князья» и т.д., кончая словами: «вполне одобренный». Вписано на этой странице сбоку: «Председатель Государственной Думы...» и т.д., кончая словами «новых основных законов Российской Империи».

ЧТО ДАЛИ БОЛЬШЕВИКИ НАРОДУ

ЧТО ОНИ ОБЕЩАЛИ

Три года тому назад, в октябре 1917 г. большевики свергли Временное Правительство, а 5-го января 1918 г. разогнали штыками народом избранное Всероссийское Учредительное Собрание. Вооруженной рукой захватили они власть, но оправдывали свои насильнические действия тем, что они все совершают ради народного блага. Власть свою большевики называли рабоче-крестьянской и говорили, что никакое другое правительство, ни Временное Правительство Керенского, ни Учредительное Собрание не могут принести исстрадавшемуся народу того, что дадут ему они, большевики.

«Идите за нами, поддерживайте нас, боритесь вместе с нами», — говорили большевики рабочим и крестьянам, «а мы дадим народу хлеб и благосостояние, мы освободим трудящихся от цепей капитала, мы прекратим кровопролитные войны, принесем России благодатный мир и создадим из нее свободное царство труда, мы передадим всю власть в руки самих рабочих и крестьян, уничтожим всякий произвол и сделаем всех равными; ни богатых, ни бедных не будет больше в нашем светлом царстве социализма».

Сотни тысяч рабочих и крестьян поверили большевистским обещаниям. Сотни тысяч людей пошли за большевиками, и даже проливали за них свою кровь, надеясь, что большевики рас-

---

* Редакция «Н.Ж.» печатает ставшую библиографической редкостью брошюру с.-р. (изданную в 1921 г.) с небольшими сокращениями и изменениями.

кроют перед всем народом путь к новой счастливой жизни. Три года прошло с тех пор, как большевики стали правителями России и обещали ей хлеб, мир, свободу и социализм.

Не пора ли всем русским людям, будь то рабочий, крестьянин, матрос или красноармеец, спросить себя: «Обещали большевики многое, но выполнили ли они свои обещания? К чему привели они народ за эти три года? Что дали они народу? Взаправду ли превратили они Россию в светлый рай социализма, в котором народ счастлив, свободен и мирно занят своим трудом?»

Попробуем посмотреть, спокойно да серьезно, какой рай с кисельными берегами и молочными реками устроили большевики в России.

ЦАРСТВО СМЕРТИ

В большевистском раю царит смерть. Нельзя и счесть тех сотен тысяч людей, которые погибли в гражданской войне и во всех военных походах, которые совершали большевики за эти три года. Но помимо убитых, расстрелянных или замученных в большевистских тюрьмах — весь народ умирает сейчас в России в таком числе, какого прежде никогда не было. Умирают люди с голоду, умирают от болезней, от эпидемий. Умирают потому, что ослабли и не могут бороться с болезнями, потому что нет лекарств, мало докторов, оттого что большевистская власть не умеет помочь народу.

Гибнут дети, которых в больших городах большевики отнимают от матерей и помещают в грязных и скверных приютах. Нет за ними ухода, нет для них пищи. В Москве и Питере умирает столько же детей, сколько рождается. А те, что остались в живых, вырастут хилыми, слабыми, негодными для труда.

Но не только дети гибнут в большевистском аду, молодежь растет слабая и беспризорная: смерть косит без пощады и взрослых.

За время ленинского царствования население государства Российского уменьшилось на одну десятую, т.е. свыше чем на 13 миллионов человек. Если большевистская власть про-

длится еще несколько лет, в России погибнет еще больше народу.

До большевиков на каждую тысячу человек умирало 30, а теперь умирает 70. В городах и того хуже — 90 и 100* умирает на 1000. Скоро уже покойников девать будет некуда. В Петрограде гробов не хватает: хоронят без гробов, да и то не сразу: покойники ждут очереди у кладбища, могильщики не успевают справиться с работой.

О болезнях и говорить не приходится. Живут все в грязи, в нечистоте, пухнут с голода, а все болезни от грязи и истощения развиваются. От ноября до января 1920 г. в России 4 миллиона человек переболело сыпным тифом, полтора миллиона возвратным и четверть миллиона брюшным.

В Петрограде за два месяца 1919 г. 242 тысячи, т.е. четвертая часть населения, была больна тифом. А сколько человек мучается от лихорадки и др. болезней?

В то время как в других государствах население возрастает, у нас оно уменьшается, заграницей дети растут крепкие и здоровые, а у нас мрут, как мухи.

И в то время, как повсюду больных людей считают тысячами — у нас их миллионы.

Смерть, болезнь, гибель детей и взрослых — вот что принесли прежде всего русскому народу большевики.

ЦАРСТВО ГОЛОДА

Немудрено, что так много людей болеет и умирает: ведь почти вся Россия голодает.

Нет хлеба. Нет его в городах, где население получает голодный паек — полфунта хлеба с соломой. Купить его негде — большевики вольную продажу запретили и если найдешь где-нибудь из-под полы — не подступишься: пять и шесть тысяч за пуд требуют. Сытно едят только комиссары, чрезвычайщики и спекулянты. Остальному народу только и остается — вытяни ноги и помирай.

В деревне нет семян, хлеба не хватает. Из страха перед большевистскими реквизициями прячут запасы и сокращают

посевы. А ведь прежде Россия вывозила свой хлеб, продавала его другим государствам, была она «житницей всей Европы».

Но большевики пошли войной на деревню, разрушили хозяйство, во многих местах отбирали хлеб, не оставляя на семена, отрывали людей от работы для бесконечных войн, не умели ничего толком организовать — и привели страну к царству голода.

Ничего большевики не умеют сделать: высчитали, что нужно для европейской России заготовить 224 миллиона пудов хлеба, а заготовили 6 миллионов пудов. Картофеля нужно было 117 миллионов пудов, а заготовили 6 миллионов пудов. Да иначе и быть не могло: большевики хотят взять хлеб силой и приказом, потому что им нечем заплатить крестьянам: *деньгам их грош цена*, а товаров, машин, мануфактуры у них нет.

Крестьянин не сеет, потому что знает, что хлеб отберут, а взамен ничего не дадут. Горожанин голодает, потому что деревня хлеба не посылает. И так будет продолжаться, пока будут большевики у власти, потому что они не могут наладить ни торговли, ни промышленности, ни земледелия: голод и нищета за ними следом идут.

Не хватает не только хлеба, но всех продуктов. Вот, например, было когда-то в России множество рыбы. Но большевики все рыбные ловли объявили собственностью государства, и если частные рыбаки ловят рыбу, у них ее реквизируют. Значит, рыбная ловля, как частный промысел, уничтожена. А общественную ловлю рыбы большевики наладить не сумели. Вот и уменьшилось количество вылавливаемой во всех морях рыбы в 20 раз, а то, что ловят — по большей части гниет: нет вагонов, чтобы ее вывозить, не умеют солить, да и соли нет, перестали ее добывать.

Не только рыба, но и все другие продукты исчезли.

В России, например, всегда сахара было достаточно, а сейчас в Москве 5-6 тысяч рублей фунт его стоит, да и то не достанешь. До войны Россия заграницу вывозила 180 миллионов пудов масла, а нынче не только нет масла на вывоз, но и внутри России его не достать, а в столицах фунт масла в тайной продаже стоит свыше 3000 рублей; в Питере в марте доходил и до 30 тысяч рублей. И так со всем: ни соли, ни сахару, ни масла, ни

мяса. Едят конину, да и той уж нет. Большевистский комиссар по продовольствию приказал реквизировать даже гнилой картофель, надеясь им накормить голодающее население.

С каждым годом дело становится все хуже и хуже. В этом году неурожай был велик, а в будущем и того больше будет. Да и работать землю нечем: инвентарь износился; лошадей мало, ни машин, ни семян нет.

На Руси царит голод. Его принесли большевики, обещавшие народу хлеб и благополучие.

ЦАРСТВО ХОЛОДА

Вместе с голодом идет холод и нищета. В городах люди коченеют от холода, потому что топить нечем. Большевистское правительство само обещало заготовить дрова, а на самом деле заготовило их в 12 раз меньше, чем следовало. В Петрограде и Москве почти все деревянные дома пошли на слом, но толку от этого мало́: в этом году в половине домов было 3-5 градусов мороза.

Чтоб помочь делу, большевики выдумали целое министерство — Главтоп. Как Главтоп управляется с топливным делом, можно видеть хотя бы из такого примера: Главтоп приказал детям и старикам шишки в лесах собирать, запретил вольную продажу дров, издал ряд декретов, но дров и угля от этого не прибавилось. А через два месяца оказалось, что в Главтопе *все чиновники воры* и растаскали те небольшие запасы топлива, что были в столицах. Каменного угля и нефти совсем почти нет. В 1918 г. угля извлекли 143 миллиона тонн в Донецком районе (тонна — 61 пуд), а в 1920 — 14 миллионов тонн. Оттого и железные дороги останавливаются. В больших городах стоят все почти фабрики и заводы — топить нечем. На некоторых заводах, например, на Краснопресненском сахарном, сожгли все, что могли: заборы, скамейки, деревянные лавочки — и все рабочие по целым неделям не имеют горячей пищи — варить нечем. На Александровском вагоностроительном заводе такой холод, что работать нельзя: 5° мороза (ниже нуля). Скоро все заводы и железные дороги в России станут из-за отсутствия топлива.

По этой же причине — нет освещения. В городах не работают электрические станции, потому что нет угля для их топки, и в Москве, например, свет дается только на час, да и то не во все дома. Нет и керосина, так что лампы зажечь нельзя.

ЦАРСТВО НИЩЕТЫ

Всегда Россия была бедной страной — а теперь совсем обнищала. Большевики тратят народное достояние, бросают миллионы на всякие затеи, а платить придется всему народу. Вот, например, на 1921 г. расписали они расходов на такую сумму, что ее не выговорить, и представить себе трудно: одна тысяча сто миллиардов! *Откуда же они достанут эти деньги?* Ясное дело, они их будут выколачивать у народа то ли *в виде налогов*, то ли в виде хлеба, льна и прочих продуктов и товаров. Рабочие и крестьяне будут трудиться, но все плоды рук их сожрет ненасытная большевистская прорва. *Большевизм ведет к обнищанию народа.*

Да это видно и по мелочам: ведь вся Россия, за исключением комиссаров и коммунистов, неодета и необута. Сапог нельзя купить, не то что костюма. В Москве, на Сухаревке, меньше, чем за 100 тысяч рублей костюма нельзя достать, а сапоги до 20 тысяч рублей стоят. В Петрограде за рубаху дают 2.000 рублей, а то и больше. А чтоб купить что-нибудь по хозяйству, об этом говорить не приходится — ничего нет, не сыщешь днем с огнем, даже фунта гвоздей не найти.

И ведь так не в одном каком-нибудь городе, не в одной какой-нибудь деревне, а повсюду, во всей России, во всей стране. За три года большевистской власти так к этому привыкли, что думают, будто и в других государствах то же. Но заграницей можно купить, и по дешевой цене, все, что хочешь, там такой нищеты как в России, нет — потому что там и большевиков нет.

ЦАРСТВО РАЗРУШЕНИЯ

Иной раз страх берет, когда подумаешь, сколько вещей попорчено, сколько машин, фабрик, домов разрушено за время

большевистского царствования. Люди строили, работали, прилаживали, пóтом и кровью создавали все мозолистые рабочие руки, а *теперь все пошло прахом*.

Хоть Россия и страна земледельческая, но все же она имела свою промышленность. *Теперь эта промышленность совершенно разрушена*. Огромное число заводов совсем закрылось. Например, в Иванове-Вознесенске все 18 мануфактур стоят; в Саратовской губ. на 735 маслобойных заводов только 19 работает. В Московской губ. в 1917 г. было 211 фабрик и заводов, а теперь осталось 72. В самой Москве их было 681, а сейчас работает только 173. С каждым днем их становится все меньше и меньше. Другие заводы считаются открытыми, но работа в них почти не производится из-за недостатка топлива, и иной раз они «стоят» по целым месяцам: и Невская мануфактура в Петрограде, и заводы на Урале, и фабрики на Украине. А там, где работа кое-как идет, производят десятую часть того, что прежде, а иной раз и того меньше.

В 1913 г. было выпущено в России машин 356 тысяч, а в 1920 г. — 13 тысяч. В 1912 г. бумаги вырабатывали тринадцать с половиной миллионов пудов, а в 1920 г. полтора; угля добывали 1.800 миллионов пудов, а в 1920 г. — 432; спичек выделывали 3.650 тысяч ящиков, а теперь 609 тысяч ящиков. Запасов мануфактуры в 1918 г. было 150 миллионов аршин, а в 1920 г. — 40 миллионов аршин. И так во всех отраслях промышленности.

Железные дороги почти не действуют и то и дело останавливаются. Из 24 тысяч паровозов, что были у России, сейчас едва 4 тысячи могут пойти в ход, а из 270 тысяч вагонов больше половины испорчено. А новых машин не производят. В 1920 году за три месяца было построено, во всей России — 3 паровоза. А прежде один только Путиловский завод мог построить 25 в месяц. Рельсы и шпалы износились. В 1920 году надо было их сменить 18 миллионов. Заказано было 28 милл., а получено — 500 тысяч. Плохо дело и на водных путях. Из 4 тысяч судов парового флота в 1920 г. действовало 2 тысячи, а из 11 тысяч судов непарового флота имелось только 4 тысячи. В городах даже трамваи останавливаются; в Москве из 1.000 вагонов осталось 150. Скоро даже и на лошадях ничего перевозить нельзя

будет: скот мрет и в городах и в деревне; в Москве из 136 тысяч рабочих лошадей — 8 тысяч осталось.

В городах и самые дома приводятся в ветхость, их не исправляют, повсюду стекла выбиты, отхожие места испорчены, водопровод не действует — ни света, ни тепла, ни воды.

В Москве свыше 1.800 домов *стали негодны для жилья*, и чтобы их исправить, надобно произвести расход в 2-3 миллиарда рублей.

ВОЙНА БЕЗ КОНЦА

Большевистская партия называла себя партией мира. Но никогда столько не воевала Россия, как во времена большевистской власти. Большевики не хотели драться с немцами, но вели и ведут упорную войну «русских с русскими».

Три года кипит в России гражданская война. Брат идет на брата, Север против Юга. Если только посчитать, сколько войн вели большевики, ужас берет. Была война с Украиной, с Волгой, с Сибирью, с Доном, с Кубанью, с Крымом, с Туркестаном. Была война против вызванной большевиками реакции, против белых генералов, против Колчака, Юденича, Деникина, Врангеля, Семенова, Миллера, Булах-Булаховича, Петлюры.

Но это — войны внутренние. А были и войны внешние. Большевики дрались с эстонцами, литовцами, латышами и поляками на западе, с армянами и грузинами на юге, с персами и англичанами на востоке, с финляндцами на севере. А в начале февраля 1921 года, когда все уже интервенции кончились, когда все белые генералы были изгнаны народом, *большевики начали жестокую войну с Грузией*, маленькой страной с двухмиллионным населением и управляемой социалистами.

И нет конца этой войны. Большевики грозят перенести ее на границы Индии, и в Малую Азию, и в Европу. Они вступают в союзы *со всякими военными авантюристами* — турками, персами, хивинцами и прочими восточными народами для того, чтобы дальше и шире распространять военные действия. Вместо мира принесли большевики бесконечные мобилизации и непрерывные бойни на всевозможных фронтах. Они оторвали от труда, от

земли, от фабричного станка рабочих и крестян, поставили их под ружье, погнали их насильно драться во славу большевизма. Сколько сотен тысяч погибло в этой беспощадной, нескончаемой войне? Сколько новых раненых, изувеченных, больных инвалидов возвратится домой после демобилизации? Ведь большевики проповедуют войну, ведь они собираются завоевать чуть ли не весь мир.

В царские времена в армии все держалось на мордобое и на жестокой дисциплине. Большевики оказались жесточе царских генералов; они ввели в армии такую дисциплину, какой еще никто не видывал. Смертная казнь стала обычным наказанием в войсках. Военщина управляет всей страной, ведет народ к убийству и разорению. Большевики все хотят устроить на военный лад, всю жизнь желают построить на военный образец: весь народ — солдаты, а они сами — командиры. Пока большевики будут править Россией, до тех пор не прекратятся ни мобилизации, ни войны; снова и снова будет литься кровь, снова народ будет стонать от военного ига.

ОТРЕЗАНЫ ОТ МИРА

Россия отрезана от мира. Большевики повинны в том, что все иностранные государства отказались торговать с Россией, не посылают нам никаких товаров и держат нас, точно в тюрьме. Когда осенью 1920 года хотели нам прислать продовольствие, большевики заявили: «Ничего не примем покамест иностранные государства не признают нас законной властью». Ни по почте, ни по телеграфу нельзя сноситься с остальными государствами.

Запрещено из России выезжать, да и въезд в Россию воспрещен без особого позволения. Большевикам это наруку: ни газет, ни людей они из заграницы не пускают, русским ездить в чужие страны запрещают, и *поэтому никто толком не знает, что в них делается, как там люди живут*.

Большевики этим пользуются, чтобы рассказывать всякую ложь, обманывать народ, говоря, будто и в Европе делается все сильнее и сильнее большевистская партия. Они нарочно держат народ в темноте и неведении, чтобы иметь его в своих руках.

Школы почти совсем не работают, учителей мало, а кто остался, тех заставляют учить ребят по коммунистическому приказу, *забивая им голову всякой чепухой*. Книг почти нет, книга редкостью стала.

НОВОЕ САМОДЕРЖАВИЕ

По правде сказать, большевики во всем похожи на самодержавное правительство. Их режим — новое самодержавие. Самодержавие пуще огня боялось свободы, боялось, как бы народ мог судить да рядить о своих делах и сам их устраивать. Страной правила кучка людей, презиравшая народ, опутавшая его цепями.

А сейчас разве не так? Несколько тысяч людей правят всей Россией. Они объявили: вся власть советам, но *советы никакой силы не имеют*; ни рабочие, ни крестьяне не могут посылать в них выборных людей, а если иной совет и неугоден большевикам, то его попросту разгоняют. Сам Ленин заявил: *нужна личная диктатура*. Так оно и есть. Вся власть в стране принадлежит Центральному Комитету коммунистической партии, ее ставленникам и чиновникам. Выборов никаких нет. На все должности назначают чиновников сверху. Как встарь, на шее народа сидят властители, помыкающие им, как рабами.

Чуть где захотят проявить свою волю рабочие и крестьяне, подлинную волю, не по коммунистической указке, а по собственному разумению, тотчас большевики вопят — «контрреволюция», и посылают войска для «усмирения».

Если кто осмелится сказать правду о большевиках, того ждет тюрьма, а чаще всего и расстрел. Народ должен молчать и безропотно выполнять комиссарские приказы.

Для того, чтоб легче было удержать всю власть в своих руках, чтоб крепче связать народ, большевики отняли у него всякую свободу. Задушено свободное слово. Никто не имеет права ни сказать, ни написать о том, что думает. Никаких других газет, кроме комиссаровских, нет.

А уж они то, конечно, пишут только то, что им нужно и выгодно, т.е. всякую ложь и обман. Для того, чтоб книгу

напечатать, нужно особое разрешение иметь и через большевистскую цензуру пройти. Неоткуда и правду узнать. Разве только тайком, втихомолку друг другу передавать. Ведь и собираться нельзя. Свободу собраний большевики отменили. Если народ собирается, его разгоняют штыками. Нет и свободы забастовок: сейчас объявят рабочих государственными преступниками и пригрозят расстрелом. В большевистском раю нельзя даже ездить с места на место без разрешения. Шагу нельзя ступить без документов, паспортов, казенных печатей и удостоверений.

Все социалистические партии, честно боровшиеся с самодержавием и *требующие сейчас передачи власти всему народу*, загнаны в подполье; их членов преследуют, арестовывают, казнят. Все рабочие и крестьянские союзы в руках коммунистов, не дающих им свободно существовать и работать.

Чиновников стало больше прежнего. В одной Москве их 231 тысяча. В некоторых городах они составляют добрую половину всего населения. Вместо работы они занимаются приказами да перепиской. Они завели новое бумажно-чернильное царство и сидят на народной шее.

ЦАРСТВО ПАЛАЧЕЙ И СЫЩИКОВ

Для того, чтобы держать народ в повиновении и иметь в своих руках всю власть, большевики своими помощниками сделали палачей и сыщиков. Как прежде самодержавный царь, так теперь и «красные цари» правят Россией при помощи плахи, штыка и нагайки. Повсюду введены «военные положения», осадные положения, чрезвычайные трибуналы. Суда нет, царит одно безсудие и произвол. Каждый член Чека может безнаказанно убить, посадить в тюрьму, ограбить.

Все эти проклятые Чека полны старых царских сыщиков и охранников, с радостью вымещающих свою злобу на народе и социалистах. При царе измывались над народом охранники, жандармы, урядники и становые, а теперь Чрезвычайка, комиссары и коммунисты. Как тогда, так и теперь, идет грабеж и издевательство. А сколько невинной крови пролито?

Расстреливают и вешают людей сотнями и тысячами. Когда они еще не были у власти, большевики вопили: «Долой смертную казнь!». А теперь ни в одном государстве всего мира нет стольких убийств, как у нас. Прежде большевики печатали списки казненных, а теперь это прекратили: слишком уж много замученных. А все же, в 1920 г., в последнем списке от 23 июля до 3 августа, всего за 11 дней, значилось 1.183 человека расстрелянных. А в 1919 г., за три месяца, было расстреляно 13.850 человек. Это те, о ком знают. А сколько безвестных жертв погибло от большевистской кровожадности.

Большевики правят насилием и кровью. С непокорными борются они пулеметами и штыками. Целые деревни сметаются огнем. Всякое недовольство усмиряется красными опричниками.

Тюрьмы переполнены. Все неугодные коммунистическим самодержцам люди запрятаны в тюрьмы. За 1919 г. было арестовано 145 тысяч человек. За сентябрь-октябрь было арестовано 18 тысяч человек. И это не все: в 84-х концентрационных лагерях томится 89 тысяч человек.

Большевистские тюрьмы и лагеря — чистая каторга. Заключенных морят голодом, бьют, над ними издеваются. Половина из них погибает от истощения, холода, грязи и болезней. В Петрограде, в одной тюрьме, на 1.000 заключенных 650 погибло мучительной смертью.

Точно мало большевистским чрезвычайщикам тюрьмы, плахи и стенки: они мучают свои жертвы, доходят и до пыток, до увечий, до жестоких выдумок, не хуже царских жандармов. Берут заложниками женщин и стариков, ни в чем неповинных людей и расстреливают их за проступки их родственников-односельчан.

Сколько несчастных было расстреляно в марте этого года, когда Кронштадт восстал против большевиков? Во всей стране Чека устроило новые охранки. *Прежние полицейские ищейки* повсюду шмыгают, ищут «крамолы», доносят о каждом вольном слове. Мало того: каждый коммунист обязан доносить, следить за другими, быть добровольным провокатором. Восстановлены охранки (ВОХР), устроены школы для сыщиков, чрезвычайщикам все дозволено. Обыски без конца, а во время обыска забирают все, что нравится новым жандарамам. Вот как

управляют большевики: так же мучат людей, как и самодержавие, натравливают людей друг против друга, сеют ненависть, раздоры и ужас.

ВЛАСТЬ — ПРОТИВ РАБОЧИХ

Большевики всегда говорят, что они работают на благо крестьян и рабочих, и власть свою называют «социалистической и рабоче-крестьянской». Но все это гнусная ложь и обманные слова. А на деле большевики — *злейшие враги трудящихся*. Они объявляют советскую республику государством рабочих. Но рабочих в этом государстве становится все меньше и меньше. За три года большевизма число рабочих (пролетариата) в России уменьшилось в 15 раз.

Вот, например, рабочих по металлу в 1917 г. в Петрограде было 239 тысяч, а сейчас их — 43 тысячи. В бумажной промышленности было в 1917 г. 172 тысячи рабочих, а в 1920 г. их осталось — только 18 тысяч.

Рабочие бегут из городов, потому что там голод и холод, а работа стала невыносимым рабством. Прежде всего, жалования не хватает. В среднем, с пайками и с премиями, рабочий получает 25-30 тысяч рублей в месяц. Рублей много, а толку мало. Деньги ведь теперь ничего не стоят, и сейчас за 30 тысяч рублей меньше купишь, чем в былое время за 200. Раньше фунт мяса стоил 20 коп., а теперь 3 тысячи. Да и для того, чтоб получить это жалованье, надо работать по 12 часов в сутки. Восьмичасового рабочего дня, за который упорно боролись рабочие и социалисты всего мира, *в России не существует*. И *в этом* большевики обманули рабочих.

Они ввели на фабриках военную дисциплину, возобновили систему штрафов, наказаний, ссылают за провинность в концентрационные лагеря. Забастовки воспрещены, а если рабочие выходят на улицу, требуя хлеба и свободы, их расстреливают курсанты, топчут кони большевистских опричников, бьют в кровь нагайки чрезвычайщиков. В Петрограде и в Москве в феврале тысячи рабочих были убиты и ранены большевиками. *Труд стал мучительной кабалой*. Работать по собственной воле

никто не имеет права. Нельзя даже без разрешения ремесла менять. Большевики сами каждому назначают, где ему быть и над чем работать. Трудятся по принуждению, под угрозой комиссарского окрика и расстрела, как солдаты. Каждый рабочий приписан к своему заводу, как солдат к своей роте — и не имеет права уйти с него самовольно.

Всех оставшихся рабочих большевики хотят превратить в солдат, управлять ими воинской дисциплиной и сделать казармы из фабрик и заводов. Они сами так и говорят: «трудовая армия», «трудовой фронт». На труд гонят, точно на войну — тычком и прикладом.

Для того, чтобы рабочие не смели пикнуть, большевики уничтожают все рабочие организации. Профессиональные союзы преследуются. Фабрично-заводские комитеты распущены.

Большевики говорили, будто сами рабочие будут управлять фабриками, а на деле ничего этого нет: повсюду назначенные, а не выбранные администраторы и надсмотрщики.

Теперь большевики выдумали отдавать иностранцам «концессии» на целые земли. Это значит, что иностранцы будут рубить наши леса, извлекать уголь и железо из наших копей и пр. И повсюду на них будут трудиться русские рабочие.

Таким образом, выйдет, что большевики будут помогать капиталистам и заставлять русский пролетариат работать на иностранных хозяев. Этим только прибавляется новая кабала. Крепче и толще становятся цепи рабства, сковывающие сейчас русского рабочего.

ВЛАСТЬ — ПРОТИВ КРЕСТЬЯН

Большевики с самого начала своего проклятого царства показали себя врагами крестьян. Чтобы добыть хлеба, они снарядили военные экспедиции в деревни. Вооруженные отряды силой отбирали хлеб, масло и другие продукты, реквизировали скот и требовали денег. Большевики надеялись жить этими «реквизициями», жить насилием и грабительством.

Иначе и быть не может. Сколько бы добрых обещаний не давали большевики крестьянам, как бы не прикидывались друзь-

ями крестьянства, им не скрыть своей волчьей повадки. Они и впредь будут жить грабежом и войной.

Промышленность разрушена, фабрики и железные дороги не работают, и поэтому у большевиков нет ни машин, ни мануфактуры, ни семян. Торговать с деревней они не могут — значит, и впредь будут они реквизировать, итти войной против крестьян и оставаться злейшими врагами кретьянства.

Мало того, они хотят закрепостить крестьянский труд, заставить крестьян работать так, как Кремлю хочется, *как комиссар велит. Создается новая барщина, только имя ей иное — советщина.*

От желания большевиков все подчинить себе в деревне происходит большая смута в крестьянстве. С одной стороны, и в самом крестьянстве идет гражданская война, один против другого встает. А кроме того, от всяких большевистских декретов и реквизиций хозяйство разрушено, инвентарь износился, скота стало меньше, лошадей нет (в иных губерниях конь стоит 300.000 рублей). Крестьянин вздохнуть свободно не может: то разверстка, то трудовая повинность, то лес руби, то солдат и подводы поставляй, то последний скот веди на убой.

В деревне нет порядка. Нет правильного и точного закона о земле, как того хотело Учредительное Собрание: все сейчас спутано с землей, справедливого раздела нет, и никто не знает, что завтра будет.

Крестьянства в России 90 миллионов, значит, огромное большинство. А какое участие принимает крестьянство в управлении государством? Рабочие в советы по одному выбирают от 5 тысяч, а крестьяне по одному от 25 тысяч.

Почему такая несправедливость? Да потому, что большевики боятся подпустить крестьян к власти. Да и делегаты в совет, разве они истинные представители крестьянства? Ведь выборы в Совет производятся по приказу; коммунисты повсюду распоряжаются, и часто их выбирают не по желанию, а из боязни, из страха, как бы чего не вышло.

Покамест большевики царствуют, не может хозяйство крестьянское наладиться, не может быть земля справедливо распределена, не могут прекратиться реквизиции и грабежи.

ЧТО НУЖНО НАРОДУ

Мы видели, что большевики дали народу. Они обещали хлеб.

А принесли голод, нищету, умирание, болезни, разрушение хозяйства.

Они обещали мир. А дали войну без конца, вечную гражданскую борьбу, Чрезвычайку и убийства. Они обещали свободу. А дали рабство, власть палачей, сыщиков и чиновников, убили все свободы, опутали рабочих и крестьян цепями нового самодержавия.

Но, говорят многие, так-то это так, но ведь все это временное, а все же большевики ведут нас в царство социализма.

Это ложь или несознательный обман.

Большевизм — не социализм.

В большевистской России нет равенства: комиссары и коммунисты заняли место прежних губернаторов и царских чиновников. В России не народ управляет, а кучка самодержцев, готовых Россию продать иностранному капиталу.

Новые богачи и в самой России есть — *спекулянты и правительственные грабители.*

А народ еще беднее стал. Рабочий и крестьянин по-прежнему угнетен.

Какой же это социализм? Нет, во всем обманули народ большевики. Пора всем это понять и громко, во весь голос, сказать: «Долой власть насильников. Долой власть коммунистических диктаторов». Но надо также понять, что нужно народу, кем и чем заменить большевистскую власть.

Большевики разоряют и губят Россию. Но если вместо них придут генералы вроде Колчака, Деникина и Врангеля — народ опять попадет в рабство. Вместо одного самодержавия — комиссаро-коммунистического, — настало бы другое — генеральско-черносотенное. Диктаторы-генералы такие же враги, как и большевики. Как и большевики, они хотят власти для себя.

А для того, чтоб все могли жить вольно и устраивать свою судьбу не из-под палки, а по собственному разумению, нужно, чтобы сам народ, *весь народ* имел власть в своих руках.

При каких условиях это возможно? Что надо народу, чтоб

определить свою жизнь так, как он сам того хочет? Прежде всего — *полная свобода.*

Свобода слова и печати — это значит, чтобы все могли свободно, без запрета и без боязни говорить и писать, что думают, чтоб газеты могли сообщать всю правду, а не только что власти прикажут, чтоб люди могли все мысли высказывать, не опасаясь Чрезвычайки и тюрьмы.

Свобода собраний и союзов — нужно, чтоб без стеснения рабочие и крестьяне и все граждане могли собираться, обсуждать все, что их интересует, и соединяться в общества, союзы и партии.

Свобода личности — каждый человек может ездить, куда хочет, выбирать свое ремесло, жить там, где ему нравится. Никто его арестовать без закона не имеет права, ни гноить по произволу в тюрьме, ни бить, ни измываться над ним.

Свобода совести — каждый может выбирать свободно свою веру, свою религию, и преследовать никого за то, что он магометанин или молокан, католик или еврей — нельзя.

Завоевав свободы, народ может добиться такого порядка, при котором вся власть будет в его руках.

Прежде всего, нужно, чтобы весь народ избрал Учредительное Собрание. Выборы народных представителей должны быть правильные и свободные, по закону для всех всеобщему, равному и тайному.

Если весь народ пошлет своих выборных людей в Учредительное Собрание, то ясно, что составленное по свободному избранию Учредительное Собрание и должно обладать всей властью в государстве. Из его депутатов должно быть образовано правительство, которое во всех своих действиях должно давать отчет избранникам народа, заседающим в Учредительном Собрании.

А кроме того, на местах, в городах и деревнях нужно, чтобы все дела разрешались также выборными людьми, то есть самим народом. Должно быть местное самоуправление.

Учредительное Собрание будет установлять закон для всего государства, а местное самоуправление сделает все хозяйственные и местные правила.

Вот когда народ добьется полной свободы всей власти в

государстве через Учредительное Собрание и местное самоуправление; тогда в России настанет порядок, *тогда* сбудется то, за что тысячи людей боролись и гибли в тюрьмах, на каторге и плахе, за что весь народ сбросил в 1917 году ненавистное самодержавное иго.

Только тогда вместо насильственной власти *коммунистов-самодержцев* настанет власть народных избранников и можно будет дружно приняться за работу и исправить то, что в Российской Демократической Республике успели напортить и разрушить большевики.

А для этого нужно прежде всего *сбросить ненавистную большевистскую власть*, положить конец коммунистической диктатуре. Весь народ должен подняться против большевиков.

за Свободу,
за Власть народа,
за Равенство,
за Учредительное Собрание.

«РУССКАЯ МЫСЛЬ»

Крупнейшая русская еженедельная газета на Запада

Главный редактор Ирина Иловайская-Альберти

Редакция и контора: 217 rue Fb. St. Honoré, 75008 Paris

Стоимость подписки во французских франках:

	3 мес.	6 ием.	12 мес.
Франция	45	85	150
Заграница	54	95	170
Авиапочтой:			
США, Канада, Южн. Америка, Южн. и Центр. Африка	76	140	250

Н. В. УСТРЯЛОВ

ИЗ ПИСЬМА

Публикация игумена Геннадия Эйкаловича

...Вы интересуетесь моим отношением к «федоровщине». Мне довелось уже дважды говорить о ней в печати: в первый раз — в очерке «Россия» («У окна вагона»), посвященном впечатлениям поездки в Москву и московским тогдашним беседам (1925), и во второй раз — в недавнем историософском этюде «Проблема прогресса», вызвавшем известный Вам критический отклик в книге «О конечном идеале». Тема, однако, такова, что не грех ее коснуться и в третий раз.

Не нужно быть «федоровцем», чтобы почувствовать в этой своеобразной системе нечто незаурядное и захватывающее. Думаю, не будет ошибкой сказать, что она таит в себе возможность большого социального успеха. Ее несравненный, головокружительный оптимизм пригоден для уловления душ. Есть в ней нечто современное, от эпохи масс. Она словно просится на трибуны и в микрофоны — и чувствуешь, что ей тесно в ее нынешнем интеллигентско-академическом оформлении.

Да, да, она, так сказать, *мифоносна*, и потому многообещающа, особенно в наш век, когда человечество явно тоскует по новому, или обновленному мифу. Она менее всего скептична, менее всего половинчата. Она — *мажорна* в высочайшей мере.

---

* Из «Вселенского дела», вып. 2, Рига, 1934 г.

И вместе с тем она имманентна позитивному духу эпохи, традициям светского «прогресса» последних веков. Она бесстрашно доводит эти традиции до последнего вывода, и тем самым взрывает их изнутри. *В ее науковерчестве есть нечто наивное до варварства*: известно, что примитив, коснувшийся науки, верит в нее куда горячее, нежели перегруженный ученостью мудрец, хлебнувший из этого кубка, подобно Фаусту, вместе с опьяняющими ядами гордыни трезвящие яды сомнения. Недаром нашу эпоху называют возрождением варварства. В ней — истоки нового мифа ...

Этот миф теперь должен быть и не может не быть именно наукообразным по форме и наукопоклонническим по существу. История цивилизации подготовила почву для подобных всходов. Наука некогда убила веру — теперь она ее возрождает, порождая ее своими собственными успехами: *божественная ирония человеческой логики*!

В системе Федорова торжествует крайний, необузданный, неистовый рационализм. Она хочет быть прозрачной, насквозь понятной. Она непоколебимо верит в могущество и всепроницаемость разума. Она решительно и презрительно сторонится всякой «мистики». И, кто знает, пожалуй, она способна в эпоху популярного, массового сознания («Übertragbare» Кайзерлинга) вдруг зазвучать языком громов!

Нужды нет, что, чуждаясь мистики, федоровцы впадают в наиболее сомнительный ее сорт: *в мистику рационализма*. Нет у них *интуиции тайны*. Они готовы рассуждать чуть ли не о конкретных рецептах грядущего научного воскрешения мертвых, примешивая при этом к мистике рационализма мистику материализма (ср. Муравьев — «Овладение временем»). Они непрочь при случае обсудить методы человеческого управления солнечной системой и всеми космическими сферами. Есть нечто безвкусное в этой манере философствования, нечто от философского и научного полусвета. И логически скользкое. Очевидно, что перерожденная человеческая природа откроет и новые задачи, постигнет и новую проблематику, о коей сейчас нельзя и предполагать. Но все это в конце концов не так вредно для успеха и основной прагматической значимости федоровской

проэктики: мифу двадцатого века, по-видимому, и не полагается быть иным.

Рационализм сплетается в этом мировосприятии с *волюнтаризмом*: человечеству доступна всецелая истина, и его задача — войти в ее разум. Царство Небесное силою берется (причем небо Федорова — небо астрономии, а не «мистики»). Была бы воля к истине и добру, воля к совершенству — и конечный идеал воплотится. Значит, главное, — воля к общему спасению. Значит, главное, — дело.

Опять-таки и в этой черте своего идейно-психологического облика федоровская проповедь насыщена современностью: разве воля и дело, разве «динамизм» — не в порядке исторического дня? Но примечательность этого учения не только в его действенной оптимистической мажорности и не только в его сродстве с прометеевским духом времени. Его своеобразная и знаменательная особенность еще и в том, что корнями своими оно уходит в христианство.

Оно представляет собою героическую попытку оживить христианскую идею в истории, непосредственно связав ее с лейтмотивом современной цивилизации. Христианизировать технический прогресс и, можно сказать, технизировать и, тем самым, модернизировать историческое христианство.

Разумеется, этот громадный замысел знает свои опасности. Федоров — на грани «богочеловечества» и «человекобожества», если вспомнить старое противоположение Достоевского. «Будьте, как боги» — тезис Люцифера. «Вы боги и сыны Вышнего все» — тезис христианский. Конечно, должны тут быть некие смысловые границы и различия, но ясно, что здесь есть некое касание. Тут — узел федоровского учения как религиозной концепции.

Опасность усугубляется тем, что поскольку оно стремится войти в историческую действительность и стать ее фактором, его развитие *рискует усилить именно человекобожескую его устремленность за счет богочеловеческой*. И если субъективные мысли самого Федорова и его учеников проникнуты «глубочайшим смирением и сознанием своей ответственности, а отнюдь не гордыней» (как ответили мне в книге «О конечном идеале» федоровцы), то есть немало оснований полагать, что

объективная логика их веры, преломляясь в стихийном сознании современных человеческих масс, способна обернуться безрелигиозной в своем существе, *самовлюбленно-человеческой, фетишистски-науковерческой* душой бездушно-машинной эпохи.

Однако, не нужно считать эту опасность непреодолимой: христианские энергии имеют свою природу и свою самозаконную силу. Миф, сначала наивный в своей оголенной душевной данности, затем обычно обрастает глубинами культуры. Во всяком случае, машинопоклонство представляет собою более плодотворное и более исправимое заблуждение, нежели машиноборство. Поскольку федоровское построение не только не хочет отрываться от христианства, но, напротив, стремится всецело быть ему верным, не щадя усилий для доказательства своего религиозного правоверия, — нельзя не признать за ним совсем особого места в мире современных исканий. Другой вопрос — не окажется ли его приверженность христианству внешним препятствием на пути к его широкому массовому успеху в нашу эпоху упадка официальных институтов христианской церкви. Этот вопрос можно выразить и в более общей форме: осуществимо ли социально-историческое возрождение христианства, или история пойдет иначе, хотя бы путем предсмертных прозрений Вл. Соловьева? А, может быть, есть еще и иные пути?.

Любопытно подчеркнуть, что федоровская концепция, русская и по корням и по стилю, своими практическими установками созвучна прежде всего советским умонастроениям в их предметном существе. Недаром федоровцы не скрывают своих советских симпатий и вносят на этот счет разъясняющие поправки в антисоциалистические старомодные суждения своего учителя. Если большинство прочих русских религиозных течений окрасило себя в ярко противореволюционные цвета, то федоровское неохристианство, наоборот, сразу же восприняло русскую революцию как положительную всемирно-историческую силу, почуяло в ней духовно родную стихию.

Вспоминаю свои встречи с покойным В. Н. Муравьевым в Москве летом 1925 года. Ярый федоровец, он был в то же время ярым сторонником советской революции; и характерно, что именно федоровское его «обращение» превратило его в советофила. Он утверждал и убеждал, что преобразовательный пафос

Октября нужно принять целиком — и, больше того, нужно итти «дальше», чем идут пока большевики. Я говорил ему, полушутя, что в своем люциферианском экстазе он затыкает за пояс Маяковского и Горького. Он упорно настаивал на необходимости раскрыть перед нашей революцией еще более грандиозные творческие перспективы. Бедняга, через несколько лет он погиб в Нарыме: революция беспощадна не только к тем, кто отстает от нее, но и к тем, кто ее «опережает». Думается, доведись ему дожить до наших дней, он еще крепче утвердился бы в своих суждениях. Динамика нашей революции показалась бы ему, разумеется, оправданием его надежд. Он поспешил бы констатировать, что многие дорогие ему идеи становятся ныне, быть может, не без влияния того же Горького, основным патетическим мотивом генеральной линии. Он сказал бы, что федоровский лозунг «борьбы с природой» не только усвоен советской политикой, но превращен в ее боевой, ударный клич. А в идее бесклассового общества, он, конечно, не замедлил бы ощутить победу «общего дела».

Да, *новый миф*. Христианство эпохи техники и машинной цивилизации. Взволнованная мысль человечества ищет выхода из тупиков наличной исторической действительности. Сознание словно не поспевает за бурно бегущим вперед бытием.

Если выход возможен, то *лишь на путях глубокого духовно-телесного перерождения*, лишь на почве праведной направленности технического прогресса. Техника должна быть нравственно осмыслена и оформлена, иначе она взорвет мир, вместо того, чтобы его спасти. Отсюда — исключительное значений идей в наши дни, причем зреют условия торжества идеи подлинно универсальной, подлинно мирового диапазона. Явится ли она? Станет ли она действенной силой? Найдет ли она в себе энергию воплощения? Не знаем. Но, во всяком случае, чтобы победить на земле, идее надлежит быть не только и даже, пожалуй, не столько логически безукоризненной, сколько эмпирически цепкой, органической, почвенной, напитанной плотью и кровью. Миром всегда правили страстные идеи.

P. S. Кстати, об этом федоровско-большевистском лозунге — «борьба с природой». Прекрасный по своему подлинному

внутреннему значению, он едва ли удачен по своему прямому буквальному смыслу. Он дает повод к недоразумениям. Он звучит и ненаучно, и не онтологично. Задача в том, чтобы бороться не с природой самой по себе, а с ее искаженным аспектом, с ее косными силами, с ее ущербленными модусами. Дело в том, чтобы, говоря словами Федорова, «обратить слепой ход природы в разумный», чтобы «недостатки слепой природы были исправлены сознающей эти недостатки природой». Не менее характерны в этом отношении его утверждения о том, что природа для нас «враг временный, а друг вечный». Борющееся «с природой» человечество есть само ведь тоже природа в глубочайшем смысле слова. И борется оно, не ниспровергая природу, а напротив, опираясь на нее, утверждая и прославляя ее. Нужно блюсти и ценить великую традицию мировой философии, *прозревающую в природе достойную «ризу духа»*. Преобразование и преображение мира должно быть не борьбою с природой, а утверждением ее идеально-реального бытия.

Харбин, 22 октября 1933 г.

ПЕРЕПИСКА СВЕТЛАНЫ АЛЛИЛУЕВОЙ И ОЛЬГИ И РОМАНА ГУЛЯ

30 октября [19]67

Дорогой Роман Борисович,

Спасибо Вам за Ваше милое, теплое письмо. Ваш журнал известен мне с первых дней, как только я приехала в США. Пожалуй, самым интересным для меня было так наз. «обсуждение» Б.Л. Пастернака в Московском Союзе Писателей в связи с его Nobel Price; мне было интересно читать это все теперь, здесь, летом — я ведь *знала* еще в Москве, как «изворачивались» некоторые мои знакомые; как стыдно было им позже, когда поэт умер; и как *они же* теперь говорят, что «Др. Живаго» необходимо издать в СССР... Увы, такова наша жизнь там — каждый врёт, как может, «применительно к подлости». А стыд удален, как некий ненужный аппендикс — А. Вознесенский трижды прав.

Решение поддержать Ваш журнал возникло давно, и, право, Ваши отзывы о моем «творчестве» никак не могли на это повлиять, каковы бы они не были... Я так счастлива была, что Вы сразу же определили жанр статьи «Б. Пастернаку» — *плач*. Да, конечно, это именно плач — форма чисто лирическая и абсолютно русская... Поди, докажи тем, кто этого не понимает! Я видела рекламу этой статьи где-то, так назвали ее "The Letter of S. Alliluyeva to her children" — как Вам нравится?! Разве лирическое стихотворение нуждается в заголовке?

Ну, Бог с ними, это не так важно. Скорее, важнее мне

объяснить Вам нечто иное, — о «20 письмах». Я очень огорчаюсь тем, что «московская пропаганда» все-таки сделала свое подлое дело (и здесь некоторые ее, к несчастью, поддержали...) и книга, а также ее автор, были «объяснены» всему миру несколько в ложном свете... Я вижу, как одни и те же положения повторяются из отзыва в отзыв, — есть они и у Вас. Поэтому позвольте мне немного объяснить:

«20 писем» — *не книга о Сталине*. Это ее так *здесь* видят, *так* ее здесь читают. Но я ее *не так* писала. Для меня важнее всего была — *мама и те люди*, которые рядом с ней и вместе с ней *противостояли злу*, — и погибали, не выдержав борьбы. *О них книга*. Иначе — незачем было бы ее и писать. Но это — *никому* не интересно... Хотят читать лишь о Сталине, и как доходят до его «нежных писем» к ребенку — так начинают негодовать... А что вся архитектура 20 писем *ведет к тому, чтобы* осудить его и показать весь ужас и беспомощность борьбы с ним — это никто не желает видеть... Слава Богу, Вы все-таки не приписали мне «адвокатской» роли. В противном случае, мне надо бы ехать жить в Грузию (и наслаждаться там фимиамом), а уж никак не заграницу...

Разве это значит, что я «перекладываю всю историческую ответственность на Берия», как пишут обо мне теперь, как говорит Москва?

Об исторической ответственности я если и говорю, то только следующее: «*Мы за всё ответственны*».

А о Берия я пишу больше, чем о других Малютах только потому, что он многие годы был близок к семье; кстати, *отчего* он «удержался» и шел «наверх» так успешно в течение 25 лет? Не оттого ли, что был хитер? Почему *его не убрали*?

Для меня лично — *они все равны*, и один Берия вовсе не служит для меня "incarnation of evil". О нет! Всё еще с Ленина и Дзержинского пошло: механизм адский был уже тогда запущен. И для этого *механизма*, машины, системы отец мой только оказался наилучшим *инструментом, наравне* с Берия и прочими малютами, которые меня в «20 письмах» не интересовали, поскольку «20 писем» — о семье, а к семье *близок* и причастен был больше других, и дольше других, — только Берия.

О Берия. О «влиянии на Сталина» говорил еще Бухарин; он

знал лучше других (он говорил о «благотворном влиянии» Кирова и Горького на него). А «влияние Берия», о котором я позволила себе написать, — это хитрое влияние человека, знающего «слабую струну» — подозрительность, неверие в доброе начало в человеке, честолюбие, болезненное самолюбие... Он *знал* это, и когда было нужно — играл на этом. *Это было*, это все знали.

О чем заключение книги? Да вот об этом самом. А старые большевики, как социальный организм, мне вовсе не нужны; культивировать их *и их* отжившие идеи мне не нужно; это пусть Е. Гинзбург делает, которая *после всего* все еще верит в Ленина и в »светлый коммунизм». Это не для меня, извините! Для меня это все — *бесовщина,* пауки в банке, бесконечное кровопролитие *с самого начала* — и в оценке Ленина я целиком согласна с Андреем Синявским.

Кстати, говоря (в конце) о «светильниках разума», погибших в тюрьмах и лагерях, я вовсе не имела в виду *одних* старых большевиков. Откуда это видно? *Там умы светлые погибали, интеллигенция русская* — я о ней печалюсь: почему же искажать?

Быть может, не все в «20 письмах» ясно. Но я не люблю *делать выводы:* тогда литература превращается в учебник политграмоты. А учебников этих начиталась я уже довольно и писать еще один, *свой,* не собираюсь (хотя от меня этого очень хотят и требуют, особенно мои же соотечественники). Если и напишу еще (а надо бы), только *не в духе политграмоты* — ктò плохой, ктò хороший, и ктò виноват, что История пошла не туда... Напишу, как *могу,* а там пусть читают и *сами* делают выводы. Опять будут ругать, но кто-то, глядишь, и поймет — как и Вы поняли, в общем, все главное (а детали не имеют значения).

Простите за длинное письмо. Хорошо бы получать Ваш журнал регулярно! Напечатать что-либо свое — Боже упаси! Пока книга 2-я не *сложится в голове,* и не сяду даже ее писать; и пока не окончу — никуда не дам; начнут искажать и коверкать все, кому не лень, еще *до* опубликования... Надеюсь, Вы понимаете, что все эти installments в «N.Y. Times» и в «Life» не имеют никакого отношения *ко мне.* Это все пошло *по своим*

законам, абсолютно без моего участия и даже без моего контроля.

Спасибо Вам еще раз. Желаю Вам здоровья и Вашей супруге также.

Искренне Ваша С. Аллилуева.

1 декабря 1967
Bristol, R. I.

Уважаемый Роман Борисович!

Спасибо Вам за еще одно Ваше теплое письмо. Право, я не чувствую себя здесь одинокой. Очень много милых писем приходит — от русских, от американцев, немцев, англичан. Я изнемогаю от того, что невозможно всем отвечать, *кому хотела бы* — так много трогательного и человеческого пишут.

И книжку мою понимают так, как я хотела бы. Люди неискушенные, которые не в курсе разных «кремленологий» и «последних новостей по России», читающие просто, искренне, без политической предвзятости, понимают все, как надо *и не приписывают* мне того, чего у меня никогда и не было на уме.

Меня это так радует и утешает.

А Москва все «свирепствует» и разворачивает свою клевету все больше и больше. Не знаю, я не очень реагирую, я как-то спокойна по натуре, должно быть. Но меня огорчает то, что и в США сейчас начали следовать тому же; очевидно, the royalties for the book их раздражают, хотя я *сама менее всех* была в этом заинтересована.

«N.Y. Times» тоже тут не совсем благородно себя ведет, да разве приходится удивляться?

Хочу ответить на одну деталь Вашего письма. Писатели московские — самые большие сплетники на земле, и самые неосведомленные люди. Если бы отец мой *хоть раз* побывал на могиле мамы, это было бы известно в нашей семье, поверьте мне!

Слухи об этом я слышала в Москве *сама,* и рассказы, «как приходил, и сидел, и стоял» и т.п. Повторю — это неправда все. Не было этого никогда. Не знаете Вы натуру моего отца — он *не мог простить* этого удара в спину. А Федин просто желал

приукрасить жизнь — это называют в Москве «лакировка действительности» — и он этим профессионально занимается вот уже столько лет! Его и ненавидят.

Фактам, которые я сообщаю в своей книге, здесь не хотят верить *настолько,* что даже A. Shlezinger написал в своей рецензии в «Atlantic»: «Хотя все авторитетные источники утверждают, что Светлана Аллилуева родилась в 1925 году, она все-таки продолжает утверждать в своей книге, что ее год рождения 1926-й!» Вот как! Даже этого я, оказывается, не знаю толком!

Скоро я переезжаю в Принстон. Мой адрес будет: 85 Elm Road, Prinston, N.J. 08540. Могу я надеяться на Ваш журнал на 1968 год? Я буду приезжать в Нью-Йорк и надеюсь повидать Вас и супругу Вашу, — передайте ей мой большой привет. Ваша *Светлана Аллилуева.*

7 декабря 1967 года

Дорогая Светлана Иосифовна

Спасибо за Ваше письмо. Понимаю, как велика у Вас корреспонденция и как трудно Вам на письма отвечать. Будем рады увидеть Вас в Нью-Йорке, если когда-нибудь приедете. «Новый Журнал» пойдет к Вам по этому Вашему адресу. Кстати, скажу все-таки: я считаю, что так, совершенно не «конспиративно» Вам жить все-таки опасно. Хочу думать, что, незаметно от Вас, Вас все же охраняют. Вы лучше меня знаете, как длинны руки КГБ. Что ж Вы думаете, они Вами не интересуются, не собирают о Вас сведения и — если это им подойдет — не попытаются что-нибудь сделать? Тем более, что тут очень легко «совершить какое-нибудь нападение хулиганов», грабителей — и тогда уже обрушиться на США как на страну совершенно разложившуюся, полную гангстеров, хулиганов, грабителей, которая не «смогла защитить нашу советскую гражданку». Я думаю, что все эти генералы Грибановы и прочая мразь отнюдь не без фантазии. Они уже производили серьезные операции среди эмигрантов. Знаю, какая шла охота за Кравченко, о чем Вы можете прочесть в одном из номеров «Н.Ж». статью Далина.

Правда, тогда было несколько другое время, но и сейчас время не такое уж здоровое. Кстати, Кравченко 8 месяцев скрывался у нашей близкой знакомой, миссис Э. Рейнольдс Хапгуд, когда дело обстояло для него довольно серьезно. Миссис Хапгуд — известная переводчица (все, кроме одной, книги Станиславского, книга А. Л. Толстой и мн. др. книг не только с русского, но и с многих языков). Если Вы хотите, я могу распорядиться выслать Вам ранее вышедшие номера «Н. Ж.» — там много ценного и интересного материала. К слову сказать, когда миссис Хапгуд прочла Вашу книгу и по-русски и по-английски, она мне сказала, что англ. перевод — неточный (и в серьезных местах неточный) и неудачный.

Пересылаю Вам письмо Анны Александровны Евреиновой и копию ее письма в редакцию «Р. М.» Эту ошибку в Вашей книге я заметил сразу, когда читал (есть у Вас и другие мелкие ошибки, но в своей статье я не считал нужным это отмечать). Н. Н. Евреинова и А. А. я хорошо знал в Париже, детей у них не было. А. А. приезжает (иногда) в США, она ведет большую работу в «Сайентистской» церкви, так что Н. Н. говорил: «Вы знаете, Анна ведь у меня архиепископ!» Итак, желаю Вам всего хорошего,

искренне Ваш Роман Гуль

Жена шлет сердечный привет

Пишу Вам по этому адресу и даже не пишу полностью Ваше имя, ведь Вас каждый почтальон знает; почему Вы не поселились под каким-нибудь изобретенным именем? Было бы, на мой взгляд, правильней. Читали ли Вы совершенно гнусное и глупое письмо в редакцию «Возрождения» о Вас — Ольги Керенской? Это разведенная жена А. Ф. Керенского, которая за всю свою жизнь в эмиграции никогда нигде в печати не выступала. И вот — разразилась на 84-м году — глупым и по существу жалким письмом. Знаю, что А. Ф. очень хотел с Вами встретиться, но он в госпитале и *очень* серьезно болен.

11 декабря [1967]

Дорогой Роман Борисович,

Спасибо за письмо. Я ответила г-же А. Евреиновой, кото-

рая, помимо справки о моей ошибке, прислала мне совершенно неожиданную (и очень для меня приятную и важную!) весточку от одной нашей с ней *общей* московской знакомой, с которой она недавно виделась в Париже.

Как тесен мир, и как все в нем «сталкиваются лбами»!

Ради Бога, не беспокойтесь по поводу моей безопасности. Во-первых, я совершенно не страдаю манией преследования, — жить я буду далеко за 70 (как обе мои бабки, от которых я унаследовала гораздо больше, чем от своих родителей). Думаю также, что *сейчас никому не нужно,* незачем устраивать что-то такое со мной, как преследовали в свое время Кравченко. То была совсем другая фигура и другие обстоятельства. Поэтому я, *наоборот,* считаю, что вести мне нужно самый нормальный образ жизни. Никаких «незаметных» телохранителей я вокруг себя не вижу, а уж, поверьте, глаз у меня наметанный и опыт по этой части очень, очень большой!

Я познакомилась с четой Джапаридзе — такие прелестные оба! Приеду к ним как-нибудь в N.Y. и увидимся тогда с Вами непременно.

Перевод английский «20 писем» — весьма неудачен. Я это, к сожалению, знала. Было слишком много в это лето разных привходящих обстоятельств, затруднивших контакт с переводчицей, а главное — она и не профессиональный переводчик, это ее первая работа, и она очень слабо знает русский язык; мне остается только пожалеть, что пока я была в Швейцарии, она была выбрана на эту работу. Самый хороший и точный перевод книги — немецкий (Wien, Ferlag Fritz Molden), хотя мне, конечно, так хотелось иметь отличный английский перевод — *такой, как было* переведено «К Пастернаку» для «Atlantic»а. Увы, все было в суматохе, и вот и результаты. Никакого «тесного сотрудничества» с переводчицей у меня, конечно, не было, так как она мне очень не нравилась.

Письмо (или рецензию) О. Керенской я читала, и не очень удивилась ему. Вообще, меня мало трогают подобные вопли, особенно — издаваемые женщинами. Вот когда Arthur Koestler *не понимает,* что я хотела сказать — то мне очень досадно. Очень обрадовала меня статья Edmund Wilson'a в «New Yorker». А

«Esquire» даже ничуть не задел — мне как-то безразличны эти штуки.

С Ал. Фед. Керенским я говорила как-то по телефону и мы хотели непременно встретиться. Надеюсь очень, что это произойдет. Я о нем все знаю от моей большой приятельницы Ф. Бенисен, которая часто у него бывает в больнице.

Ошибок всяких мелких в моей книжке может быть немало: я ведь *не мемуары* писала, и источниками моими были не история, а семейные предания, разговоры и рассказы. Я ведь и не претендовала на то, что книга — мемуары.

Желаю Вам и Вашей супруге здоровья и надеюсь на встречу.

Ваша Светлана.

P. S. Пришлите мне, пожалуйста, счет за журнал.

13 марта 1968 г.

Дорогой Роман Борисович!

Большое спасибо за журнал, очень все интересно. На ту же тему, что и Б. Суворин, написал Роберт Мак Нил в «The Russian Review» (vol. 27, N 1, January 1968), издаваемом в Стенфорде, Калифорния. По-моему, у него тон спокойнее и лучше.

Мне, по-видимому, *трудно тягаться с источниками* вроде Лермоло-Трушиной, бывшим чекистом Александром Орловым, а также с моим «псевдокузеном» Будȕ Сванидзе, никогда, в действительности, не существовавшем. Даже его книга (написанная не то Беседовским, не то кем-то вроде) считалась долго «ценным источником». Все дело в том, что *мои факты* отрицают уже *сложившуюся традицию* и расходятся с пустившим прочные корни психологическим портретом моего отца: грубиян, монстр, моральный и физический, воплощение грубой силы. Что делать, в союзники могу призвать *только* Льва Давыдовича Троцкого, чью биографию Сталина смогла прочесть, конечно, только здесь: не касаясь истории политической внутрипартийной борьбы, о которой не мне судить, не могу не отметить удивительной *точности психологических характеристик* в этой биографии. А на стр. 18 главы 1-ой прямо читаем, что: «Тот же биограф говорит о «тяжелых кулаках», с помощью которых Иосиф

Джугашвили якобы достигал победы в тех случаях, когда мирных способов было недостаточно. В это слишком трудно поверить. «Прямое действие», связанное с риском, никогда не было присуще характеру Сталина, по всей вероятности, даже в те давние годы. Он предпочитал и знал как найти других, чтобы вести действительный бой, оставаясь в тени, или же совсем за сценой».

У меня в первоначальном варианте рукописи, вывезенном из Индии (еще не отредактированном в процессе издания) была фраза, в главе о маминой смерти: «... дело в том, что *сам, своими* руками никого не убивал, кроме ястребов, да зайцев». *Я ее выбросила, так как она мне показалась неуместной и фальшивой именно здесь,* где говорилось о мамином самоубийстве: ведь если *довел* до этого, то, значит, в конце концов, и *убил*.

«Версия» это не «нянина», как думает Б. Суварин. *Мне говорили то же самое* и мои тетки, возвратившиеся из тюрьмы в 1954 году. Все уже давно прошло, отец умер, я была взрослой, им нечего было бы скрывать. Но и их «версия» была такой же, как и у няни и Полины Жемчужиной: пистолет, привезенный Павлушей, предсмертное письмо и все остальные детали. Они *обе* утверждали, что отец никогда не ходил на кладбище, хотя его все уговаривали сделать это хотя бы как «жест».

Я могу только предположить, что если *та самая* Наталия Константиновна, которая учила меня немецкому языку, и была *Трушиной* (никто не говорил мне никогда ее фамилии), и если она действительно попала позже в тюрьму, что вполне вероятно, то она (*т.е. та* Наталия Константиновна, *которую я помню*), вполне могла бы рассказывать известную версию с чьих-то слов, а, возможно, и просто «*по собственному предположению*». Все гувернантки в нашем доме обожали маму и имели с ней общий язык и взаимопонимание, отец же был где-то «наверху» и отдельно, и я не думаю, что хоть одна из многих учительниц, работавших у нас в доме, могла питать симпатию к нему. *Скорее, наоборот*. И, попав в тюрьму ни за что, вряд ли станешь говорить доброе о человеке в подобных обстоятельствах.

Опять скажут обо мне, как Суварин: «Dans son zèle naif à vouloir quelque peu disculper son père». Я не собираюсь disculper. Это невозможно сделать. Я только хочу, чтобы психологические характеристики и мотивации были точными и соответствовали

данному характеру. А *что хуже* — я не знаю. Может быть, чем доводить *многих* до самоубийства, уж лучше действовать своими руками, как Отелло, а потом раскаиваться. Отцу никогда не было свойственно *раскаяние.* Он был для этого слишком хладнокровен. Он всегда считал себя правым, как и в случае маминой смерти, когда хотел найти *кого-то,* кто был бы в этом *повинен,* но только не он сам.

Я не знаю, что хуже. Я не вижу, где тут disculper... Ну, оставим этот тяжкий сюжет. Я вам для потехи посылаю копию письма Присциллы Джонсон, написанного ко мне прошлый год по-русски. К сожалению, когда оно дошло в мои руки в Швейцарию, вопрос о переводчице уже был решен. Но письмо я разыскала сейчас, оно, по-моему, *неповторимо,* это даже не Чехов, а Ильф с Петровым, прямо для их записных книжек! (Я, конечно, сохраняю Вам ее синтаксис, орфографию и неподражаемый стиль!)

«Госпоже Светлане Аллилуеве.
30-ого марта, 1976 года.

Уважаемая Светлана Иосифовна!

Несколько лет тому назад, в 1956 году, я имела честь с вами разговаривать несколько минут в Москве, в кабинете, где вы читали курс лекций «Образ народа в советском романе».

С того времени я была в Москве три года корреспонденткой разных американских журналов и газет. После того я была несколько лет в Гарвардском университете, чтобы писать книгу о современных советских поэтах, прозаиках и художниках. Книга (издана by the Massachusetts Institute of Technology Press) вышла в 1965 году. Я очень интересуюсь вообще в работу молодых, и не только молодых, советских писателей.

Говорят, что у вас есть под смотрением вопрос о написании книги. Я очень надеюсь, что вы будете писать книгу. Я уверена, что она состоится подлинным историческим большим вкладом. Но если вы будете решать напротив, чтобы не писать книгу, весь мир должен понимать.

Два издательства пришли ко мне с предложением о содействии, если вы будете что-нибудь писать. Одно это «Харпер и Роу», одно из

самых лучших, самых знаменитых издательств в нашей стране. Другое, это журнал «Лэдис Хом Журнал» (Ladies Home Journal), опять один из наших самых лучших журналов — журнал, кстати, не выдан к никаким сенсациям. Их предложение — это совместное предложение. Очевидно, оно заслуживает самое тщательное рассмотрение.

Для меня, конечно, была бы очень большая честь и счастье работать с вами над такой книгой. Я буду очень рада летить в Швецарию, чтобы встретиться с вами и обсуждать этот вопрос, если бы вы хотели.

Во всяком случае, несмотря на какое будет ваше решение, хочется вас приветствовать и сказать, что мы очень рады, что вы здесь, у нас. Тоже хочется сочувствовать. Жизнь вообще непростая. А в новой стране, без самых близких и любимых людей, сколько труднее!

Надеется, что у вас есть хорошие и симпатичные советники там, и хорошие книги для чтения.

Больше всего, надеюсь, что вам придется покой — даже счастье.

С большим уважением, и с самыми лучшими пожеланиями,

г-жа Присилла Джонсон».

Мне, правда, предложили ее как *переводчика только*. Никаких разговоров о «совместной работе над книгой для «Ladies Home Journal» никто со мной в Швейцарии не вел... Но и так ее услуг мне вполне достаточно.

Скоро выйдет книжка, которую Присцилла Джонсон пишет для Марины Освальд (т.е. они *вместе* пишут). Вот уж тогда узнаем всю правду об убийстве Кеннеди! У них полный контакт и взаимопонимание, которых не было со мной.

Я услышала о Присцилле от генерала Эдварда Гринбаума в Швейцарии. Сам он ее не знал. Ему ее предложил Кеннан, который тоже ее не знал. Знала ее только Патриция Блейк, которая и предложила ее Кеннану как переводчицу моей рукописи, как компаньонку, секретаршу, помощницу во всем и вся. Результаты известны...Остановите меня, ради Бога, Роман Борисович, потому что как только я дохожу до «воспоминаний о переводе», мне делается нехорошо и я не могу остановиться...

Жан-Жак Мари, французский переводчик, считается одним из лучших. Стихи И. Бродского он перевел прекрасно. Мою книжку он просто, как видно, переводил «левой ногой». Он —

друг Эммануэля д'Астье, с которым я разругалась прошлым летом, когда он без моего разрешения опубликовал мои частные письма к его жене (она — русская, Любовь Леонидовна Красина, я ей писала из Индии по-русски, просто в силу того, что *никого больше* тогда не знала во всем Западном мире, и еще потому, что в детстве она знала мою маму). Д'Астье эти письма перевел, напечатал, как мои письма *к нему* и снабдил довольно произвольным комментарием. И вообще писал обо мне всякую чушь. Может быть, под его влиянием Жан-Жак Мари «охладел» к работе и сделал ее кое-как. Кстати, он *перевирает* русские имена в полном соответствии с тем, как их переврал сам д'Астье в своей книжке «О Сталине».

Как глупо, как непростительно глупо было предоставить все тогда на самотек! Какая была паника, какая суета и какие глупости на каждом шагу. Я так хотела быть ближе к Нью-Йорку, *ближе ко всему,* но меня ото всего *отодвинули* и *задвинули* на ферму в Пенсильвании. Может быть, так боялись приезда Косыгина? Я уж и не знаю. Еще говорят, что «могло все быть намного хуже». *Но в смысле литературно-профессиональном ничего худшего,* чем то, как книгу переводили и издавали, нельзя и вообразить.

Получила вчера книгу Александра Бармина «One who survived» *без единого словечка.* Следует ли это понимать так, что он мне ее посылает читать, или дарит, или что? Обратный адрес его; но я с ним незнакома, и, по правде говоря, только раз слышала его имя. Заглянув в книжку, я увидела сразу же неточности: 1) А. Бармин не мог быть *вместе* с маминым братом на банкете в честь 15-летия революции в 1932 г., в Кремле: Павлуша был тогда в Берлине. 2) История о «третьей женитьбе» моего отца на некоей Розе Каганович — выдумка, неизвестно чья. Уж это позвольте мне знать. Так что, не знаю, стоит ли книжку читать... *Как-то сразу скушно стало.* И никакой «сухой руки» я никогда у отца не видела. Очевидно, автор пользовался «источниками», утверждавшими *это.* Вы читали его книгу? Вы находите *ее интересной? Я ведь не биограф своего отца и не собираюсь им становиться.* Свою точку зрения я никому не навязываю. Но фактические ошибки раздражают

всегда. Извините за длинное письмо и большое спасибо Вам за помощь и дружбу.

С уважением Светлана.

3 апреля 1968 года

Дорогая Светлана,

Спасибо за Ваше письмо. Хотел ответить раньше, но владыка Иоанн, которого я видел в Нью-Йорке, сказал мне, что Вы на время выехали из Принстона. Он жалел очень, что не повидался с Вами в Нью-Йорке. Но может быть, он встретился с Вами в Принстоне, куда отсюда его отвезли Джапаридзе.

Ваши «комментарии» к статье и к книгам — очень интересны. Насчет книги Лермоло, я, по правде сказать и между нами, этой книге не очень верю, хотя и Суварин и, в свое время, Николаевский ее показаниям и ее рассказам вполне верили. Дело в том, что *русского* текста книги *нет*. А это всегда плохо и наводит на всякие размышления, ибо всем известно, как иностранные редактора обрабатывают книгу (сырой материал). И уж очень много у нее «встреч» и с тем и с другим. О Сванидзе (Беседовский) говорить не приходится. Троцкий, конечно, источник достоверный. Но и кроме него были воспоминания абсолютной достоверности, например, Арсенидзе (чудесный был человек, да он кажется и сейчас жив). Его воспоминания были опубликованы в «Н. Ж.»

История с изданием Вашей книги — это мрачная страница, Вы попали в самый водоворот дельцов и бизнесменов, для которых все дело было в том, чтобы сорвать какие-то деньги (и даже очень большие — для себя). О Жан-Жак Мари: боюсь, что тут тоже была какая-то небрежность, ибо он из окружения «какой-то Триолешки» (как называла Ахматова малопочтенную Эльзу), и тут небрежность могла идти рука об руку с некоторой даже злонамеренностью. Увы, за свою литературную жизнь на Западе я знаю такие случаи, я знаю даже случаи, когда *издавали* книги только для того, чтобы их *похоронить,* а не распространять. Тут на многое можно налететь, причем, с виду, все будет обстоять как будто совершенно «по-джентльменски». Ну

ничего не поделаешь, это серьезный урок — и если Вы напишете новую вещь, то будете уже «ученой».

Бармин Вам прислал книгу в подарок. Он говорил со мной как-то по телефону и я спросил его. Он очень хочет, чтоб Вы ее прочли и сказали о ней Ваше откровенное мнение. Ничего не написал на ней, ибо не хотел быть навязчивым, тем более, что о Сталине, как он сказал, он пишет очень резко в своей книге. О замеченных Вами ошибках я ему ничего не говорил. Если прочтете всю книгу — и дадите Ваш отзыв, то тогда могу, при случае (я с ним иногда переговариваюсь по телефону) сказать ему, если Вы захотите.

Кстати, выдумка про Розу Каганович ведь ходила по всему миру. Скажите, но вообще-то в мире существовала такая Роза? Или нет? Вы ее не знавали? Я читал книгу Бармина очень давно и плохо помню.

Ну вот, по пунктам ответил на Ваше письмо. Теперь вот о чем. Получили ли Вы кн. 90 «Н. Ж.»? Там есть очень интересное письмо Ю. В. Мальцева к У Тану и к Подгорному. Я это получил из СССР, от верного человека, бывшего там. Отправил У Тану заказным с обратной распиской — и русский текст и английский перевод. «Обратная расписка» пришла назад; он мне на письмо, конечно, не ответит, да я и не надеялся. Но в советскую делегацию — передаст. В «Н. Ж.» сразу же звонила какая-то личность, когда журнал еще не вышел, и по всему разговору было ясно, что это кто-то из советских, вероятно, из ООН.

Читал как-то в газетах, что Вашего знакомого Л. Копелева как-то «репрессировали» (пока что, кажется, только исключили из партии) за выступление в защиту Галанскова, Гинзбурга и др.

Ну вот, «закругляюсь». Кончаю. Жена моя поправилась настолько, что уже ходит, делает покупки и пр. Так что если Вы приедете в Нью-Йорк, то будем очень рады видеть Вас у нас.

Всего Вам хорошего,
искренне Ваш

Роман Гуль

6 сентября 1969

Дорогой Роман Борисович,

Простите за книгу «with the compliments» — я просто хотела

ускорить процесс пересылки *по почте* и дала в Harper & Row список, кому послать. Сама тожа занимаюсь рассылкой по почте своих экземпляров, каждый раз краснея оттого, что... ну, это я уже высказала в письме в «Н.Р.С.».

Я Вам пошлю экземпляр книги *от себя* (а не от моих издателей!), как только получу еще здесь, в Принстоне; а пока что, надеюсь, Вы прочтете (и тогда, м.б., в самом деле перешлете книжку А. Кузнецову?). Было бы хорошо. Я с ним незнакома, его истерики мне не очень нравятся — все-таки он мужчина, а не «баба», но я знаю и понимаю, что он на пределе нервного переутомления.

Несчастные, в общем, и А. Белинков и А. Кузнецов, я не знаю, как они приживутся здесь. Дело не в знании иностранных языков, а в какой-то *закрытости* души, в ее бескрылости — при довольно яркой изощренности ума. *Оба* они — искалеченные советские интеллигенты, и это не вина их, а беда, и свидетельство всему миру о том, как советская жизнь превращает людей в духовных калек. Очень жаль безногих и бескрылых, нестерпимо больно, неизвестно — чем и как помочь, но ясно, что калека есть калека и жить полной жизнью не может. В «Н.Р.С.» было вчера интервью с А. Кузнецовым и прочтя об его *страхах*, я подумала, что он, бедняжка, может погибнуть от мании преследования, если его кто-то не освободит от нее сразу же, но как?!

Безбожники, без веры, потому и бескрылые и бессильные. А скажи им о вере — начнут брыкаться, несчастные в пустыне, а источника не видят.

Простите — это у меня особый спор, мой собственный, поэтому я так отвлеклась.

Роман Борисович, я очень хотела, чтобы книжку Вы прочли, а захотите ли Вы о ней написать — это как Вам угодно. У меня такой задней мысли не было, я только одного хочу: чтобы читали и кое-что поняли бы о том процессе, долгом и трудном, который меня сюда привел. *Поэтому* я и считаю, что Harper & Row, назначив цену книги в 15 долларов, сделал огромное удовольствие для Москвы: угодить *лучше* было бы невозможно. Но они этого, *надеюсь,* не осознают.

Для того, чтобы послать сердечный привет Ольге Александровне (?), я пошла сейчас проверить, верно ли я помню ее

отчество (но не нашла); но в Ваших прежних письмах, которые я сейчас просмотрела, *нашла* Ваше доброе предупреждение насчет того, чтобы «не попасть в кабалу к издателям со следующей книгой». Ну, а я как раз и *попала.*

Знаете, Роман Борисович, очень трудно было мне, человеку с Другой Планеты, сразу во всем разобраться. А кроме того, я, в отличие от Белинкова и Кузнецова, люблю верить и доверять, и мне нужно *много раз* больно ушибиться, чтобы поверить, что предполагаемый друг есть, по существу, друг *не* мне, а самому себе. Это берет у меня *много времени* и *всегда* так было, и в России тоже... Зато опыт, приобретенный ценой синяков на собственной физиономии, очень и очень полезен.

И потом, я не люблю скандалов, сцен, взаимных обвинений и сведения счетов. Со своими адвокатами (Greenbaum Firm) и издателями (Harper & Row) я мечтаю *мирно* разойтись, но без взаимных плевков в лицо. А мирный, полюбовный *развод* (divorce) — дело очень трудное и медленное. Но *не* невозможное. И вообще — quod nocet docet.

Ваша Светлана

15 сентября 1969

Дорогая Светлана, спасибо за Ваше письмо. Книгу Вашу я прочел давно, не мог написать, ибо очень закрутился с выпуском кн. 96. Сейчас пишу — книга Ваша прекрасная, очень сильная, эта книга Вам удалась полностью. Она читается с напряженным интересом, трудно от нее оторваться. Есть места особо удавшиеся, напр., крещение и все разговоры с о. Николаем (превосходно!) потом — *как* Вы пошли в ам. посольство (очень хорошо написано, как будто и просто совсем, но я знаю, что это не так просто передать это Ваше состояние). Вообще, простота (высокая простота) это одно из качеств Вашей книги. Потом, конечно, вся глава «Бумеранг» — очень сильная и тоже очень искренняя. Ну, и вся любовь к Сингху (и его любовь), это тоже очень сильно и очень хорошо. А эти «десять семейств»? А зарисовки Суслова, Косыгина и др. — пусть сделаны штрихами, но читатель их так и видит — и внешне и внутренно. Читаешь книгу и

невольно думаешь (с тоской, с большой тоской): Боже мой, *в руки какой последней сволочи попала Россия!*

Конечно, эти мысли приходили не только при чтении Вашей книги, но тут эта тема дана — остро (и совсем без подчеркиваний, а как бы между строк). И все это дело этого пресловутого Ильича, которого я всегда ненавидел и ненавижу до последней возможности. Но на Западе сколько «либералов» все еще относятся с »пиететом» к этой «гениальной горилле» (как его назвал как-то давно уже В. В. Шульгин, попавший в СССР после войны и «восславивший» этот строй...после долгого концлагеря). Курц унд гут — поздравляю с «Только одним годом». И, Бог даст, за ним пойдут и другие. Вы пишете мне: «если Вам будет угодно». Я прекрасно знаю Ваш гордый и независимый характер и прекрасно знаю, что Вы прислали мне книгу не для моей рецензии или статьи. Да и статья в «Н. Ж.» — что она даст? Разве что пройдет книга в СССР и там прочтут. Это единственный возможный плюс и приятность. Но если прочтут — то узкий круг: ну, Чуковские, Копелев, Солженицын, м.б., (когда придет к Чуковским). Во всяком случае, я писать о Вашей книге хочу и буду (для декабрьской книги).

Теперь о том, что мне не очень понравилось. Одна глава (где Вы пишете о Ваших друзьях в Москве, не помню названия, а книги у меня нет сейчас) — эта глава, конечно, нужна, и каждый отрывок интересен, но почему-то при чтении это была единственная глава, где читательский интерес падает, м.б., потому, что она из отдельных отрывков, не знаю. Потом, мне не нравятся частые слова «ситуация» (это по-советски, и я никак не пойму, почему эта «ситуация» так к людям привязалась, когда в 99 случаях лучше сказать просто «положение»; это как слово «специфика» изуродовало «особенность»). И совсем нехорошо, когда Вы о себе пишете — «свободный индивидуум». Почему не человек? Индивидуум на месте в учебнике энциклопедии права, в философских трудах, но в такой книге, как Ваша — я бы гнал этого индивидуума беспощадно отовсюду. К чему он? Он портит язык, портит мысль, слог, стиль.

И последнее — на последней странице Вы поднимаете бокал за свободу с ...Луи Фишером. Простите мне, я знаю, что он Ваш друг, но я все же скажу то, что думаю. Если б Вы подняли бокал

с Дж. Кеннаном, со стариком Джонсоном, с Вашей чудной полковницей — все было бы прекрасно. Но Фишер? Ведь в течение *лет*, долгих *лет* он предавал и продавал эту (именно эту) свободу тем же чекистам (а кому же, как не им, ведь они же — твердь режима). Он писал в «Нейшэн» такие корреспонденции из Москвы, за которые должен бы краснеть всю свою жизнь. Но я думаю, что он принадлежит именно к тем людям, которые краснеть не спешат. Да и расхождение его с Сов. Союзом произошло ведь вовсе, кажется, не по идеалистическим соображениям, а по каким-то совсем, совсем другим. Простите, если это Вам неприятно. Но уверяю Вас, что для концовки книги Вы выбрали неподходящий персонаж.

О книге для Кузнецова. Я жду вторую книгу. И вот почему. Когда я читаю, я делаю всякие заметки на книге, без этого у меня книга — «не прочтена». И на этой я их делал. Теперь я жду второй экз., чтоб перенести свои заметки, а с той стереть (карандаш легко стирается) и отправить ее Кузнецову. А пока суть да дело, у меня взял ее Ярров, и вернет мне ее сегодня-завтра. Он очень хотел прочесть. Итак, как только получу от Вас — этот экз. улетит к Кузнецову (кстати, переменил он себя довольно безвкусно на какого-то Анатоля, это для Франции было бы хорошо, но не вообще же — взял бы «Васильев» — по своему отчеству, а то какая-то смесь французского с нижегородским получилась). Я думаю, что он не похож на Белинкова по характеру. Он ведь всему рад — орет от свободы, от свободных людей, от возможности свободно писать и не предъявляет ни к кому претензий. Мне говорили на радиостанции «Либерти» — слушали ленту записи, интервью с ним, Виктор Франк (сын профессора) разговаривал с ним. И, говорят, совершенно иное впечатление, чем на телевидении. Говорил свободно, крепко, смело. И на вопрос: что бы вы сейчас сказали, обращаясь к Вашим товарищам-писателям в СССР, Кузнецов так искренне ответил: «Я бы им закричал: братцы, как я счастлив, что я свободен, что я говорю, что хочу, что я пишу, что хочу и т.д.». Я порадовался. Думаю, он как-то крепче Белинкова.

Белинков странный человек (больной, по-моему). Он предъявляет Западу сразу требование — о признании его авансом замечательным писателем, мыслителем и пр. — ничего

решительно в подтверждение сего не предъявляя. Ведь в то время, как Кузнецов сделал большое дело, обратив внимание всей межд. интеллигенции на положение сов. писателей и интеллигентов вообще, Белинков решительно ничего в этом смысле сделать не мог. То, что он писал, было совершенно беспомощно и никому ненужно. К тому же *у него какая-то патологическая руссофобия*.

Он прислал мне большую статью «Декабристы», в которой доказывается, что декабристы были прохвосты и трусы, что Пушкин, Некрасов Тютчев и др. были тоже прохвосты, что русская интеллигенция всегда состояла из прохвостов и только и делала, что помогала полиции (так и написано) хватать людей и сажать их в тюрьмы, что все, как он пишет, «народонаселение России» состоит из прохвостов, рабов, негодяев и пр. Я развел руками, вернул ему статью.

Переходим к Ольге Андреевне. Отчество ее запомнить легко: у Льва Николаевича была Софья Андреевна, а у Романа Борисовича — Ольга Андреевна. Вот как! И, конечно, если бы Лев Николаевич женился именно на Ольге Андреевне, а не на Софье, то, я думаю, он был бы много счастливее. Во-первых, Ольга Андреевна была очень интересна (внешне) — лучше, чем Софья Андреевна, мне кажется. Потом, внутренне, — с Ольгой Андреевной Лев Николаевич очень легко бы размотал все свои имения, все свои деньги — все бы «роздал Влас свое имение» — и они бы вместе отправились странниками по России — нищие и счастливые. И тайно убегать из буржуазного дома никак не пришлось бы. И все бы повернулось иначе. Видите, как я рекламирую О. А.

Нет, правда, жена моя к благам мира никак не прикреплена, она все кого-то устраивает, кому-то помогает, все ищет какого-то добра. После войны в Париже своими усилиями вытащила из тюрьмы несчастную молоденькую новую эмигрантку, ставшую в этом «городе-светоче» просто проституткой (а что же ей было делать, так все сложилось для нее страшно), сделала ей операцию, тогда как всякие дамы-патронессы от этой женщины отказались. И что же в конце-концов? А в конце концов О. А. привезла эту женщину с двумя детьми и мужем в Америку (простая женщина, неграмотная даже) и теперь у этой семьи —

автомобиль, хорошая квартира в пять комнат, сын в армии, дочь замужем (за негром, отчего мать была попервоначалу в отчаянии), все работают, счастливы. И мою жену еще с Парижа эта женщина называет «мама», а меня, во славу моей жены, — «дядя Рома». Вуаля. Это об Ольге Андреевне.

Она Вас очень благодарит за Вашу книгу, почувствовала в ней добро, любовь к людям и стойкость. А О.А. (скажу от себя) при всей своей женственности — может быть стойка, как сталь (это русский характер, таких интеллигенток было много, у меня была такая же мать).

Ну что-то я расписался ни к чему. И это при моей чудовищной занятости по журналу. Просто — преступление. Обрываю.

От души желаем — оба — Вам всего хорошего. Будете в Нью-Йорке, будет желание встретиться — будем рады.

Искренне Ваш Роман Гуль

17 сент[ября]1969

Дорогой Роман Борисович,

Прежде всего — пусть Ольга Андреевна меня простит за перемену ее отчества. Как-нибудь при случае, в Нью-Йорке, я ей сама «докажу», что помню его теперь правильно. Я думаю, что как-нибудь в октябре — когда пройдет вся эта лихорадка с выходом книги, я к Вам забегу — если можно. (Я Вам дала мой телефон?)

Пожалуйста, *не* извиняйтесь предо мной, когда говорите о Луи Фишере то, что думаете. Я уже давно с ним *не* разговариваю, и в числе своих друзей его не держу. Но так как такие были отношения в декабре 1968 года (когда мы вполне еще нормально встречались и беседовали), то *теперь* менять концовку, «выкидывать Фишера», мне показалось неудобным и неприличным, хотя бы перед лицом редакторов из Harper & Row, так как они все там отлично *знают*, в чем дело.

А дело вот в чем. В своей книге Фишер «использовал» *мою* историю о гибели С. Михоэлса. Просто взял — переписал из моей рукописи, и *не сделал сноски на источник. Его книга вышла в мае 69 г. (с тех пор мы и не* разговаривали), моя выходит

в сентябре, и я ему сказала, что по-русски это называется Schweinerei. Он обиделся, — султан такой. А я его просила несколько раз: укажите источник или выбросьте совсем. Даже его редактору (Canfield Jr.) это говорила. И вот — история там, у него в книге, а сноски нет.

Второе. Когда я читала page-proofs своей книги в Harper & Row с редакторами в июне с.г., то совершенно случайно узнала (просто из болтовни с редакторами), что «Louis Fisher was payed $1.000 for the editing» of my book. Я очень удивилась, так как *редактировать* русскую рукопись он никак *не* состоянии. Спросила у Canfield'a. Он говорит: «We knew, that he helped you, we offered him money and he gladly accepted it». Так-с.

Звоню Фишеру и, с трудом сдерживаясь, задаю вопрос. Он говорит: «Nonsence. Никакого редактирования я не делал (святая правда!), а мне заплатили за то, что я помог Harper & Row подписать с Вами контракт на 2-ю книгу, когда она еще не была закончена». «Так-с. А почему же Canfield говорит другое? Почему же *в ведомости* издательства значится, что уплачено «for editing»? «Ну, — говорит он, — это уж их дело, почему...» А в результате кто дура? Я дура.

После этого мы не разговариваем — и не будем. Но ведь Harper & Row знает о контракте, и они ожидали, что я Фишера из книжки уберу. *Поэтому* я и не убрала.

К сожалению, за столом в Prinston Inn 19 декабря 1967 года сидел *именно* он. У меня все факты, имена, разговоры и прочее в книге — реальны, я ничего не выдумывала и не меняла. Поэтому — из песни слов не выкинешь... Я бы *так* хотела, чтобы это был Дж. Кеннан, но, увы!.. Это был не он.

Теперь добавлю, что мне *многие* говорили, что с Фишером дружить не стоит. Но я как-то очень люблю, просто обожаю учиться на собственных ошибках, которых сделала немало; мне *так* интересно. Теперь уж я *сама* знаю, что такое Louis Fisher, но это опыт на собственных синяках. Так лучше.

Хватит об этом. Но очень хотелось сделать необходимые разъяснения.

Аркадий Белинков, по-моему, — человек с болезненной психикой. Я очень не люблю вешать на людей этот ярлык, но тут уж очень это бросается в глаза. Мне с ним трудно даже по

телефону говорить, у меня сразу делается нервная чесотка, вроде крапивницы. Несчастный он. Говорит: «Мы — европейцы. Америка не для нас с Наташей». Мечтает в Европу поехать. *Боюсь,* что и там ему будет худо. Ему нигде не будет хорошо. Это все — несчастные, смятенные души, которые еще не знают (или не хотят знать!), что Царство Божие — внутри нас. Оттого им нигде покоя нет.

Дай Бог, чтобы А. Кузнецову пришлось легче, и чтобы он нашел свое место в здешней жизни. Все претендуют на талант и гениальность, думают, что на Западе «развернутся», и забывают, что на Западе люди живут лучше, чем в СССР намного, *но и* работают несравнимо больше. И знают больше. И умеют больше.

Все — куда ни посмотри — мужчины, женщины, дети, все *работают* куда больше, чем там, в этом полуказарменном социализме, где только «ать-два», и командир скажет, что делать дальше. А тут эта самая Свобода, с которой неведомо что делать, и никто не бежит предлагать бесплатные льготы за гениальность. Очень трудно.

Простите меня. Я *не* издеваюсь, мне их жалко. Я просто объясняю Вам исковерканную душу советского человека. Дай им Бог переделать и как-то починить эту самую поломанную душу. Но они ведь даже и *не верят* в существование этой самой души! Вот что ужасно.

С Вашими замечаниями насчет моего «советского» жаргона я согласна. Что делать! Столько лет там прожито, все словечки оттуда.

Будьте здоровы. обнимаю Ольгу *Андреевну*. Ваша Светлана.

P.S. Как Вам нравится, как меня «разделал» Harrison Salisbury в "New York Times"? Ведь *обедали,* в руке у него была *вилка,* а не перо и блокнот, болтали об А. Кузнецове, о советских писателях, об «Арагви» (грузинский ресторан в Москве) и прочее. Вся эта ерунда о soviet leaders заняла минут десять, потому что он задавал вопросы. А что он сделал? Сидит эдакая дама в Oak Room of the Plaza Hotel garbed in turquoise silk dress и *сводит кухонные* счеты с Косыгиным и Сусловым за то, что не позволили ей

выйти замуж за индуса... Дама абсолютно отвратительная. Несомненно. Вот пр....!

Это все как раз *на пользу* тем же самым Косыгиным и Сусловым. Они будут без ума рады и еще раз польют меня помоями. Вот что такое "New York Times"! Простите за *графоманию*.

19 сентября 1969 года

Дорогая Светлана, получил Ваше письмо. Обстоятельства разные складываются так, что хочу тут же Вам ответить. Прежде всего: когда я прочел в НРС заголовок о том, что Вы «заступаетесь» за Сталина, я пришел в такую ярость, что тут же написал в редакцию письмо, довольно резкое (копию которого прилагаю). Ярость моя заключалась не только в том, что появилась такая заметка (заголовок был очень плох), но и в том, что я узнал, кто это сделал. Вейнбаума не было, он в отпуске. Это прошло и мимо Седыха. Сделал это (что я знаю стороной) один мер....., которому мы давно, как говорится, «отказали от дома» [...]. Добавлю Вам и «беллетристику». Я написал письмо смаху и т.к. жены не было дома (она ушла к друзьям в этом же доме), а мне хотелось послать его возможно скорее, а на дворе был дождь, молния, гром, — то я все равно — благо жены не было, набросил пальто и, как безумный король Лир, — в грозу и молнию — побежал к почтовому ящику, чтобы опустить свое «спешиал деливери».

О Фишере — Вы меня не удивили. Это субъект душевно грязный. У меня есть большой приятель, старик Шуб Давид Натанович (отец Анатолия, которого выслали из Москвы), так вот он Фишера прекрасно знает. И давным-давно все мне говорил, что я должен Вас предупредить о Фишере. Но предупреждать всегда очень трудная и очень неблагодарная задача и роль. Я как-то давным давно (вскоре после нашего знакомства) по телефону «заикнулся» что-то, что вокруг Вас есть люди... но в ответ почувствовал в Вашем голосе такой «холод» и такую «сталь», что понял, что предупреждать глупо. Вы сего не любите. Но вот жизнь сама Вас «предупредила», но поздно (все-таки).

Кстати, о Фишере чекист Кривицкий, бежавший на Запад (и убитый в Вашингтоне) рассказывал Шубу самые нехорошие вещи. И в частности, говорил, что причина разрыва Фишера с Советами была в том, что Фишер во Франции закупал оружие для испанцев-повстанцев (во время гражд. войны) и «анпошировал» какую-то большую сумму.

В Москве ему грозил расстрел, говорил Кривицкий, вот он и «порвал» на «идеологической почве». Но случай с Фишером теперь в какой-то мере дает мне право «предупреждать» Вас в случае чего. Кстати, когда сын его, Джордж Фишер был в Корнельском у-те, там его протеже, Наташа Бинштоk, была разоблачена как советская агентша — разоблачило ее ЭфБиАй — об этом было во всех газетах. Наташа Бинштоk занималась тем, что общалась (в качестве гида) с приезжавшими сюда советскими туристами и доносила обо всех разговорах агентам КГБ. *После этих разоблачений Джордж Фишер ушел из Корнельского у-та.*

Читал письмо Белинкова в Пен Клуб. Первые два отрывка были, на мой взгляд, просто ужасны (неумно, с выкрутасами, с самолюбованием, ни к чему). А вот третий, конец — здесь есть правильные и хорошие мысли — об исключении Сартра, например и о невозможности для партии какой-то бы ни было либерализации.

То, что Белинковы недовольны Америкой — это что-то дикое. Лучшего приема, чем получили они — трудно придумать. В Европе они просто бы пропали. И если они туда отправятся, то в этом убедятся очень скоро. Посылаю Вам запись передачи беседы с Кузнецовым. В ней есть кое-что интересное. Верните ее мне, пожалуйста, у меня не осталось копии. Если хотите, сделайте с нее копию для себя. Ну, кончаю.

Искренне Ваш Роман Гуль.

Олечка сердечно кланяется.

Звонил мне сегодня Ярров: и ему и его жене (она читала по-английски) Ваша книга очень понравилась. Сильвия говорит (Яррова), что книга должна иметь успех среди американцев. А она, так сказать, американский барометр. Ярров ей для этого и давал.

18 октября 1969 года

Дорогая Светлана, не знаю, в Принстоне ли Вы, но пишу. Я получил письмо (и главы из «Бабьего Яра», в новой редакции для «НЖ») от Кузнецова, он пишет, что книгу Вашу от меня своевременно получил и «написал восторженную рецензию» в «Сандэй Телеграф», и что послал Вам эту рецензию и поздравления: «Спасибо ей, она написала *здорово!*» Так как на следующей неделе я должен написать и сдать в набор отзыв о Вашей книге (все никак еще не могу дойти), то я б хотел прочесть, что написал Кузнецов, м.б., из его статьи что-нибудь стоит процитировать. Будьте так ласковы, снимите зирокс и пришлите мне копию этой рецензии. От радиостанции «Свобода» я получаю копии отзывов о Вашей книге (некоторые). Как-нибудь пришлю список отзывов, которые они публикуют в своем бюллетене.

Искренне Ваш Роман Гуль.

Олечка шлет Вам сердечный привет.

Краем уха слышали о Вашем путешествии в Вашингтон.

Октября 22, 1969, Принстон

Милый Роман Борисович, вот статья А. Кузнецова (у меня есть еще, прислали многие из Лондона). Я очень была тронута и написала ему.

Не знаю, что Вы слышали о моем путешествии в Вашингтон, но могу только сказать, что беспокоюсь за владыку, который взял меня под свое крыло с каким-то упрямством и упорством — сколько я ему ни говорила, что это только *ему* повредит. Вот и в Вашингтоне, в церкви, где он служил (и я пошла послушать), был «эксцесс». Я говорила — не надо раздражать человеческие раны напрасно... А владыке будут одни неприятности *за его же* доброту. Это так всегда.

Мне, конечно, очень приятно, что владыка так добр ко мне и так все прекрасно понимает. Но камни-то полетят в него — от тех самых, кому он пытается доказать, что книжка моя хорошая, и что я — не злодейка.

Ах, хоть бы Вы его остановили, Роман Борисович! Ведь он не слушает меня. А я чую беду издалека, когда она еще совсем далеко. Мало ли было владыке неприятностей? Вас и Ольгу Андреевну он, быть может, послушает.

Спасибо Вам за Ваши добрые усилия и за дружбу.

Звонил Белинков, стонал.

Будьте здоровы. Целую Ольгу Андреевну. Ваша Светлана.

Дек[абря] 22, 1969

Милый Роман Борисович,

Спасибо за остроумное бичевание недочеловеков в Вашей статье. По-моему, еще никто до Вас не назвал Кремль «живопырней» — смотрите, будет Вам «оттуда»! И насчет бланманже и кислой капусты — тоже здорово! А эта самая Светлана Аллилуева мне совсем осточертела, слышать не могу.

Прилагаю при сем записочку от Теймураза Багратиона насчет «Нового Журнала»; Вы знаете этих Тумаркиных? (У меня в Москве были хорошие друзья с такой фамилией на Арбате, в Староконюшенном переулке. И жили они там еще с до-революции).

Ведь *если* «Н. Журналу» что-нибудь надо, то Вы ведь можете всегда сами мне сказать, а «печатать» книгу в журнале теперь уже *поздно,* это надо было год тому назад думать. Что ж я буду ему звонить? Или он *еще что-нибудь* хочет сказать?

Итак, скоро Рождество американское, а затем и наше. Новый год приближается — поздравляю Вас и желаю, чтобы год грядущий оказался бы лучше предыдущего.

Владыка Иоанн был на наших Восточных берегах, я его видела; опять на него будут вешать всяких собак из-за автокефалии церковной. Он объяснял мне, но я по дурости и по серости своей никак в толк не возьму, *за что* же собак вешать?! Уж понятно, когда на меня вешают их, но на достойных представителей Русской Церкви и русской аристократии — зачем же? Как-то очень делается уныло от человеческой тупости. Или — это тоже «оттуда» кто-нибудь мутит воду в этом случае?

В январе буду в Нью-Йорке *специально* несколько дней,

чтобы *всех* повидать. Прямо обход сделаю. Где Вы на Рождество? Ходите ли Вы к о. А. Киселеву, или куда-либо еще?

Будьте здоровы. Будьте спокойны и величественно плюйте на всех «четвероногих». Ваша Светлана.

28 декабря 1969 г.

Дорогая Светлана, спасибо за Ваше письмо, за добрые слова о «жывопырне» (мне самому это слово очень нравится, причем даже у Даля его нет, к моему огорчению). У меня сначала была банальная «живодерня». И вот утром проснулся в кровати, и мне почему-то безо всякого поиска пришла эта самая «живопырня». Я возрадовался страшно: вот, думаю, обрадую Косыгина и Суслова. Ну, и обрадовал. К их режиму подходит именно слово «живопырня».

Записка от Багратиона — очень смешная. Я прекрасно знаю Р.С. И, мне кажется, чувствую, что под сим кроется. Т.к. теперь жизнь дала мне, наконец, право «предупреждать» Вас об опасных персонажах, то я этим правом и воспользуюсь. Р.С. — очень милый человек, москвич, был бонвиван, ловелас, красавец («смерть дамам»), но сейчас он все же в годах, ему примерно 87. Как-то он говорил со мной по телефону, и я понял, что в нем уже «родился пупсик» (выражение Андрея Белого). Он что-то путал, что-то плел не то. Надо сказать, что он всегда был похож ну, на Репетилова, что ли. Но человек добрый, доброжелательный. Конечно, к «Н.Ж.» он не имеет никакого отношения (подписчик и только). Но я не удивлюсь, если в один прекрасный день он расскажет, что римский папа его просил об одной услуге и он не мог ему в этом отказать. Он любит рассказать что-нибудь небывалое. Вот он что-то и рассказал Багратиону о «Н.Ж.», но дело тут, конечно, не в «Н.Ж.», а в том, что он, так я думаю, просто очень хочет с Вами познакомиться. Видел Вас по телевизии и Вы, вероятно, его «ушибли». Теперь он ищет какой-нибудь повод с Вами познакомиться.

Расскажу уже Вам — но по секрету — одну смешную историю. Одна русская дама попросила его продать ее брошку (Р.С. занимается такими делами, он работал все время в Нью-

Йорке на бриллиантовой бирже и понимает толк в драгоценных камнях). Он взял брошку, но, придя к этой даме, вдруг ни с того ни с сего начал предлагать ей свою любовь, причем уверял, что он ее будет целовать так, как никто в мире ее не целовал, что ей откроются врата Эдема. Дама, в понятном ужасе от «врат Эдема», категорически отказалась и попросила вернуть ей брошку. Тем новелла и кончилась. Но, повторяю, он милый человек, только не очень умный. А «Н.Ж.» тут, конечно, не при чем.

Кстати, в Москве — это, наверное, его родственники. Он жил в Москве в превосходной квартире, очень богато и именно на Арбате . В 1918 г. скрывал у себя Савинкова, когда тот приехал работать в подполье в Москву. Р.С. был близок к партии эсеров. Его сестра, Мария Самойловна Цетлина, которой 89 лет, и она уже давно в полном рамолисменте, была женой М. О. Цетлина, который основал в 1942 г. «Новый Журнал» на свои деньги. Они были богатые люди — Цетлины, Гавронские, Фондаминские, Гоцы, это все — чайная фирма «Высоцкий и сыновья», причем отцы делали миллионы, а сыновья — революцию. Все были эсерами. Мария Сам. была издательницей «Нового Журнала» и после смерти мужа, до 25-й книги, а потом Фордовский фонд дал деньги на это дело, но немного, и вскоре дело это совсем оборвалось, и мы остались без гроша. Но, благодарение Богу, выжили и теперь, видимо, будем жить, ибо сейчас американцы мне уже говорят: «Мр. Гуль, вы не знаете, какое вы дело делаете для Америки!» Вуаля л'афэр! А еще не так давно надо было просить поддержать, и было трудно. Думаю, сейчас будет легче, ибо и Кочетов меня рекламирует, не покладая рук, а сейчас выступил на пленуме С. Михалков и назвал на весь Союз «Новый Журнал» «белогвардейским вертепом». Это уже нечто вроде ордена Красной Звезды. Надеюсь, что после «живопырни» дело дойдет до ордена Ленина.

Мы будем очень рады повидать Вас в Нью-Йорке. На-днях были у Джапаридзе. С о. А. Киселевым я хорошо знаком, но у него мы никогда не были. Владыка Иоанн и мне говорил много об автокефалии, но я очень боюсь, что Москва их обыграет. Черчилль говорил: «Когда садишься обедать с чертом, запасись длинной ложкой» У Никодима и его компаньонов ложки, конечно, очень длинные, а у его контрагентов, увы, очень коро-

тенькие. Ну, разве могут о. А. Шмеман, о. И. Мейендорф, владыка Иоанн и другие «обыграть» Никодима — прожженнейшую сволочь? Боюсь я этого дела. *А смуту в эмиграции Москва раздует большую и ей довольно выгодную.*

Ну, кончаю. Всего Вам хорошего от меня и жены.

Искренне Ваш Роман Гуль

(Окончание следует)

Континент

Литературный, религиозный
и общественно-политический журнал

Главный редактор журнала — Владимир Максимов.

«Континент» — ежеквартальный журнал, объемом около 400 стр.
Цена отдельного номера — 12 ДМ (пересылка за счет заказчика).
Стоимость годовой подписки (4 номера) — 40 ДМ (включая пересылку).

Пересылка за счет заказчика.

Требуйте бесплатно наш каталог 1985/86 (объем 380 стр.)
и бюллетени №№ 20, 21 и 22.

A. Neimanis · Buchvertrieb GmbH
Bauerstr. 28 · 8000 München 40 · Germany

РОДОСЛОВНАЯ СОФИИ

Общие размышления на тему софиологической проблематики

Вселенная — это риза Божества, — поэтизировали христианские богословы первых веков нашей эры. Но мысль эта не была новой; мы ее находим и у древних мыслителей дохристианского периода, и у всех тех философов нашей эры, которым свойственна пантеистическая установка. Мысль — одна, только ее формулировки — разные. И никогда не считалось зазорным или неблагочестивым всматриваться в эту ризу и умозрительно заключать о ее Носителе. Что же касается *умозаключений*, то здесь христианские мыслители решительно отмежевываются от языческих учений. Отправные точки могут быть разные, но то, что отличает христиан, это их ясная цель: *учение о трансцендентом Боге*, как *творце мира*. Здесь не может быть никаких компромиссов.

Инакоприродность Бога и мира — проверочный камень христианского учения, не допускающего каких-либо исключений из этого правила, кроме одного-единственного: *Боговоплощения*. Но, по правде говоря, и здесь нет исключения, так как в Богочеловеке Бог и мир не *становятся одно по природе*, но, сохраняя разность природ, отождествляются в ипостаси. Как это возможно?

Христианская религия отказалась от ответа на этот вопрос, ответив на него Халкидонской формулой, которая определяет, как это *невозможно*, (если дозволено будет сделать такое насилие над грамматикой и логикой): невозможно через слияние, не-

---

* Печатается в порядке дискуссии, с любезного разрешения автора.

возможно через превращение, невозможно через различие. Что же остается? Остается отказ от попыток рационального решения и вера в сверхрациональное *чудо*.

Факт Боговоплощения становится центральным моментом нашей веры и нашего богословия, моментом таинственным и чудесным. А все остальное развивается вокруг этого момента и во многом допускает рациональное истолкование. Боговоплощение есть одновременно и Богооткровение, предполагающее в человеке способность постижения его. Но способность эта не была дарована людям так, как это случилось с даром языков в день Пятидесятницы: человеческий разум подготовлялся длительный период времени к возможности принятия этого факта посредством «естественного откровения». Естественное же откровение предполагало в человеке возможность «естественного богословия». И если была истинность в естественном откровении, то, ясное дело, не лишено было ее, по крайней мере в какой-то степени, и естественное богословие, т.е. языческое богословие: некоторые элементы его встречаются и в ветхозаветном библейском тексте.

Есть ряд тем, повторяющихся у различных древних народов в различных частях земного шара. Чем чаще данный мотив встречается, чем он «устойчивее», тем большая степень вероятности, что он заключает в себе правильные религиозные интуиции. Противоречивое и нетипичное взаимосносится и взаимоотменяется, а подлинное — взаимонакладывается (кумулируется).

Основная ось христианского богословия, как мы уже сказали, есть факт воплощения Логоса, второго Лица Св. Троицы, в Иисуса Христа и сопряженные с этим реальности жизни, учения, страстей, искупительной смерти, воскресения и Его вознесения. Это — христология по преимуществу.

Вокруг этой оси концентрическими кругами расходятся следующие, сопряженный с первой, реальности, изучение которых составляет ряд «логий»: триадология, абсолютология, софиология, мариология и т.д. В этих «логиях» ревелятивный накал, по сравнению с христологией, постепенно ослабевает, потому что к основному ядру откровения все в большей степени примыкают элементы человеческого примышления. Аналогично этому обстоит дело и с «гониями» (учениями или концепциями

о происхождении Бога, человека и вселенной) теогонией, антропогонией и космогонией, которые мы объединяем под названием теоантропокосмогонии: здесь еще больше философского материала, чем в «логиях». Употребляем мы эти термины для того, чтобы провести некую границу между ними и науками, например, о происхождении мира — *космологией* или о сущности и истории человека — *антропологией*.

В этих областях домыслов и творческой фантазии, связанных философскими скрепками, возможны лишь приблизительные догматические проверки.

Если уголовное право основано на принципе: если нет закона для данного явления, то нет и преступления, то хотелось бы, чтобы этот принцип применялся и в религии: *если нет догмата, то нет и ереси*. Это предоставило бы человеку некоторую свободу мышления и дало бы некоторую гарантию от прещения. Правда, теперь инквизиция на кострах не сжигает, но ее *дух еще иногда действует*. *Наша православная русская инквизиция наказала* о. Сергия Булгакова за то, что его индивидуальный религиозный миф о соотношении Бога и мира, якобы, не соответствовал истине. А что, спрашивается, его оппоненты доподлинно знали об этом соотношении? «Никто не восходил на небо, как только Сошедший с небес Сын Человеческий, Сущий на небесах...» (Ин.3, 13).

Обличительное богословие, подкрепленное пенитенциарной системой, внесло много человеческой страстности в религию и оказалось по духу более жестоким, чем гражданские законы. В Евангелии все было намного проще. За «помяни меня, Господи, когда приидеши во Царствие Твое» (Лук.23,42) был помилован и *спасен* разбойник благоразумный. А что потребовалось от евнуха, путешествовавшего с ап. Филиппом, для того, чтобы стать членом Церкви Христовой? На вопрос: «Что препятствует мне креститься?» — ап. Филипп ответил: «Если веруешь от всего сердца, можно». Евнух сказал в ответ: «Верую, что Иисус Христос есть Сын Божий» (Деян.8, 36-37). Ап. Филипп крестил его и Дух Св. сошел на него. Не слишком ли много взяли люди на себя, охраняя «чистоту веры»? Казни, пытки, изгнания, прещения, заточения, фанатическая ненависть к инославным — все это делалось *ради Христа* и *ради Его Учения!*

Но если даже допустить, что несформированное и неокрепшее еще вероучение нуждалось в такой охране в первые века христианства, то утвержденный и принятый всей Церковью Никео-Царьградский Символ Веры не является ли достаточной гарантией правомыслия? В Символе этом нет «мариологических» членов, равно как и «софиологических». Не провиденциально ли это «упущение»? Не изволено ли оно Духом Св. и, по Его вдохновению, членами соборов?

На реплику воображаемого оппонента, что вероучительные положения, для которых нет прямых оснований в Св. Писании и в Символе Веры, определены Преданием, мы сразу же отвечаем, что это верно, но что границы и формы самого-то Предания точно неопределимы и что некоторые элементы этого Предания иногда становятся предметом разномыслия. Квази-догмат о личной безгрешности Приснодевы Марии оспаривался некоторыми учителями церкви (например, Иоанном Златоустом), но в католической церкви привел к установлению догмата о Непорочном Зачатии. Если протестант не верит в Успение и во «Внебовступление» Богоматери, нарушает ли он *догмат* христианской веры? Или, идя дальше, как следует расценивать, со строго догматических позиций, необычайное развитие культа Приснодевы Марии в средние века на Западе, дошедшее до того, что Ей присвоили в Польше титул Королевы Польской Короны и установили весьма древнюю традицию, когда полки «железнокрылатой гусарии» перед битвой пели Ей гимн «Богородица Дева, Богом прославленная Мария», переходящий затем непосредственно в боевой клич «Бей, забей!» атакующей кавалерии? Конечно, это — романтично, но — догматично ли?

У поляков различные иконы Божьей Матери так и называются: Матка Боска Остробрамска, Матка Боска Ченстоховска» и т.п., глухо намекая на идею различных воплощений Богоматери. Да и у нас в простонародье говорится «Казанская Божья Матерь», или например, «Божья Матерь Троеручица» (уж не влияние ли здесь индусского языческого иконографического искусства?).

Где провести демаркационную черту между Традицией и традицией, как бытовым благочестием? Если можно почитать Богородицу Троеручицу, то почему же нельзя почитать икону

Божественной Софии в виде Женского Существа? Мне скажут, что нельзя изображать неизобразимое. Но тогда как быть с изображением Бога-Отца в виде старца или Бога-Духа Святого в виде голубя?

Почему ревнители догматической чистоты и любители обличений и искоренения ересей не обращают внимания на эти факты *повседневной религиозной жизни*? Повторяю еще и еще, что я не против суждения о той или иной богословской концепции и не против ее приятия или неприятия, но я решительно против осуждения ее автора в качестве еретика, осуждения, имплицирующего запрещение богослужения и отлучение от церковного общения, которые не состоялись только потому, что у осудителей оказались короткими юрисдикционные руки. Как их догматическое сознание может сочетать такую ревность о правоверности с их собственным нарушением не чего-либо иного, но самого Символа Веры?*

Итак, Символ Веры ничего не говорит о Софии. А так как софиология тем не менее существует, то или иное ее ви́дение является предметом личного мнения данного мыслителя. Одни софиологемы могут отвечать нашему богословскому вкусу и чувству богословской меры, другие — нет: это есть дело совести и индивидуального богословского сознания. *Пока нет догмата, нет и преступления против него.*

У о. Сергия Булгакова мариология переплетается с софиологией. Некоторые богословские ретрограды считают это новшеством, тогда как, по существу, это не новшество, а архаизм, ибо марио-софиология или софио-мариология, в идее, существовала еще до появления христианства.

---

* Третий с конца член Символа гласит: «*Исповедую едино крещение во оставление грехов*. Архиирейский же Собор Русской Православной Церкви заграницей, возглавленный митр. Филаретом, определением от 15/28 сентября 1971 г., постановил принимать католиков и протестантов в православие через *перекрещивание*. Попутно можно спросить и еще об одном: если иерархи этой юрисдикции считают иные православные юрисдикции, включая и Московскую, неблагодатными и еретическими, о чем они неоднократно объявляли своей пастве, то для того, чтобы быть последовательными, иерархам этой юрисдикции надо было бы *перекрещивать и перерукополагать* православных русских, переходящих к ним из других юрисдикций. Ведь где нет благодати, там и таинства незаконны и недействительны.

Если права поговорка, что из песни слова не выкинешь, то и из истории религий идеи Софии-Марии тоже не выкинешь. Задачей апологетики является соотнесение того, что мы обрели в христианстве с тем, что существовало до него.

Христос заповедал: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари» (Марк. 16.16). А для того, чтобы проповедовать, надо найти общий язык между тем, кто проповедует, и теми, кому проповедуют. Сошествие языков в день Пятидесятницы непреложно свидетельствует о том, что Богу угодна разноязычная проповедь о Христе, разноязычная не только в смысле этимологическом, но и семантическом (разные культуры, разные уровни развития, и т.п.). Некоторые проповедническо-апологетические приемы не должны шокировать тех, чей кругозор не выходит за рамки катехизиса в смысле вероучения, и за пределы своего прихода или юрисдикции — в смысле экуменическом.

Проповедь о Христе предполагает проповедь и того, кто был «окрест Христа» — прежде всего, о Его Матери, Приснодеве Марии, которую мы величаем Богоматерью, Богородицей, или Божьей Матерью. Наименование это утвердилось не без сопротивления, ибо для ортодоксальных иудеев, верующих в трансцендентного Бога, оно тоже было «скандалом», а для «еллинов» переросших антропоморфизм своего пантеона, — «безумием». Так, Несторий, например, отправляясь от божественного атрибута «нерожденности» («агенитос»), *логически* заключал, что «нерожденный» Бог не мог родиться от смертной женщины, а потому и название Богородицы заключает в себе, так сказать, «контрадикцио ин адъекто». По этой причине он предлагал имя «Христородицы» (почему не «Богочеловекородицы»? — что более семантически отвечало бы Матери Богочеловека-Христа), за что, равно как и по другим причинам, был предан анафеме. Но для христианина православного или римско-католического вероисповедания имя Богородицы утратило свою прямую, побуквенную, так сказать, семантику и стало многозвучным смысловым аккордом, в котором смыслы срослись с религиозными и молитвенными интуициями.

Современный миссионер дожен быть одновременно и аполо-

гетом, оперирующим аргументами на современном интеллектуальном уровне, и здесь ему приходят на помощь такие христианские мыслители, как о. Сергий Булгаков или Тейяр де Шарден, не вмещающиеся без остатка в рамки школьной догматики.

Они создают некий мост между христианином и тем, кому до сих пор христианское учение было чуждо. Здесь, для начала, надо найти общую почву, будь то в области биологии, палеонтологии, философии или истории религий. Не так ли поступил ап. Павел в ареопаге?: «Афиняне, по всему вижу я, что вы както особенно набожны. Ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано: «неведомому Богу». Сего-то, Которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам» (Деян.17,22-23). О широте «экуменического» подхода ап. Павла свидетельствуют слова: «Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобресть: для иудеев я был как иудей, чтобы приобресть подзаконных; для чуждых закона — как чуждый закону (не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу), чтобы приобресть чуждых закона. Для немощных был, как немощный, чтобы приобресть немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых» (I Кор.9,19-22). Против широкомыслия ап. Павла восстал провинциальный книжный Иерусалим, но ап. Павел преодолел его узость и стал апостолом язычников, распространив христианство на весь тогдашний культурный европейский Запад.

Сохраняя все должные пропорции, хочется отметить некую аналогию двух духовных климатов: если «джорданвильский» ультраконсервативный дух, считающий, что для православия не нужно никаких «новых слов», напрашивается на сравнение с духом иудео-христианской общины Иерусалима, то широкий экуменический и апологетический подход ап. Павла просится на сравнение с установкой о. Сергия Булгакова. Именно в преодолении некой стагнации русского дореволюционного бытового православия богословие о. Сергия исполняет роль нового и сильного стимула.

Отметим, что в настоящее время для нас важно уметь осветить в свете христианского учения следующие темы: 1) телеологическую (финалистическую) концепцию эволюции

вселенной; 2) создание Творцом человека путем «вдуновения» в соответственный зоологический тип *потенции* к богоуподоблению и дарование ему способности разума, рефлективного сознания и альтруистической этики; 3) естественное откровение дохристианское и вне-христианское, завершенное новозаветным откровением; 4) постепенное подготовление человечества к постижению идеи Боговоплощения, имеющего целью искупление и спасение; 5) осознание каждым человеком заданности устремления (в личном порядке и в порядке соборном) к окончательной цели существования человечества — обожению. Это, конечно, пунктирно намеченные темы, не исключающие множества других и требующие всевозможного развития.

Относительно темы Боговоплощения надо отметить, что она предполагает посильное объяснение таких религиософских явлений, как существование, с древних времен, интуиций Богоматеринства и Приснодевства — до актуального появления в этом мире Богоматери и Приснодевы. Мы пройдем, однако, мимо еще более важной темы предчувствия Рождества Бога, Страдания, Смерти и Его Воскресения как Искупителя и Спасителя, присущей некоторым культам дохристианского периода, так как этой темой непосредственно в данном труде не занимаемся.

Предвосхищение Богоматеринства и Приснодевства тесно связано с софиологическими построениями. Этапы этой родословной состоят из отдельных софиологем, и мы не будем здесь заниматься их богословской критикой. Отметим только, что каждая из них, как и вообще каждый религиозный миф, наряду с элементами истины, выражающимися в правильных интуициях, предчувствиях и предвосхищениях, *всегда* имеет много материала безотносительного, фольклорного, богословски нейтрального, порой же — ложного, а потому и опасного. Такова уж природа нашего интеллектуального и художественного творчества, что, облекая интуицию в слова и образы, мы ткем отчасти истинный, но отчасти и фантастический узор. Возможны, конечно, ошибки, когда мы фантастическое принимаем за истинное. Но... «блюдите, как опасно ходите!»

Правда о Христе, а потому и о Марии, лежит между двумя крайностями: атеистического отрицания их исторического су-

ществования вообще, и консервативного взгляда, что *идея* Боговоплощения и Богоматеринства появилась на земле лишь *после* (вернее — в момент) рождения Иисуса Христа от Девы Марии. В начале христианской эры, когда учение Церкви, как хрупкий оранжерейный цветок, развивалось под усиленной опекой Св. Духа, чтобы волны язычества не затопили его, стремление начисто отмежеваться от всего языческого психологически и интенционально были понятны. В средние века и позже ревностные миссионеры, придя в новые языческие земли и почувствовав твердую почву под ногами, истребляли все следы древних религий (и культур), думая, что делают это во славу истинного Бога. Теперь мы смотрим на это с сожалением, ибо все, что прекрасно само по себе — «добро зело».

И если в настоящее время уже нет панического страха перед «языческим», у многих современных «отцов» и «учителей» еще имеется панический страх перед «космическим». Христианский апологет должен преодолеть этот страх.

Рассмотрим историю Богоматеринства и Приснодевства, как она образовалась на заре истории вообще, а затем проследим метаморфозу этой концепции в концепцию софиологическую.

Об естественном откровении и о культе богоматеринства в древнем мире

Если гипотезу Христа *космического* в наше время ясно сформулировал Тейяр де Шарден, то о Христе *всеисторическом* учил в прошлом столетии, точнее, в начале прошлого столетия, гениальный Шеллинг. В «Философии мифологии» и в «Философии откровения» он развивает следующую мысль.

Если Логос, через которого «все начало быть» и без которого «ничего не начало быть», есть творческо-совершающая ипостась, то его присутствие в мире (мы не будем здесь размышлять над модусом этого присутствия) необходимо предполагается еще *до* воплощения и ипостасного явления в мире Иисуса Христа. Явленное христианство, поэтому, было осуществлением соответственной потенции язычества. Еще до Рождества Христос был в «непрерывном пришествии», что интуитивно пред-

восхищалось языческим миром. Так сейсмографы начинают заранее отмечать возрастающие колебания земной коры еще задолго до актуального землетрясения. Этого не следует понимать по-гегелевски, а именно, что факт Боговоплощения был лишь последовательной фазой эволюционной диалектики. Это было бы пантеизмом. Мысль Шеллинга следует понимать в том смысле, что тварь чувствовала приближающееся вхождение в мир Творца, наподобие того, как природа затихает в предчувствии надвигающейся грозы еще до того, как с неба грянет гром и блеснет молния. И *эту* мысль Шеллинга, в *такой редакции*, мы приемлем.

«Неплодящая Церковь» из естественного Откровения черпала интуитивно и прозирала полуприкровенные абрисы догматов Троичности, воплощения, искупления и спасения, облекая их в форму религиозных мифов, где, наряду с правильной темой или символом, естественно, было много материала безотносительного, фольклорного, богословски нейтрального и часто — ложного. Такова уж природа нашего интеллектуального и художественного творчества, что, облекая интуицию в слова и образы, мы ткем отчасти истинный, а отчасти — фантастический узор.

Из истории религий нам известно, что многие народы во главу своих пантеонов ставили божественные триады. Не имея прямого откровения о сверхрациональном Триедином Божестве, они рационализировали «естественным» образом триединство и триадичность в «трех богов». Графических и пластических свидетельств этого, дошедших до нас с древних времен, имеется множество. Один из исследователей даже составил схему такой триадизации, повторяющуюся в различных вариантах. Согласно этой схеме почти в каждой триаде можно различить: 1. Бога-отца, солнце живущее или уже умершее; 2. Богиню-мать, представляющую собою небо (или пространство, или умершее солнце, или ночь); 3. Бога-сына, молодого Бога восходящего солнца (или начинающегося года).

В качестве добавочной квалификации можно отметить факт, что Богиня-мать выступает в роли жены-невесты-сестры иногда по отношению к Богу-отцу, иногда к Богу-сыну.

Оставив в стороне тематику бога страдающего, умираю-

щего, искупляющего и воскресающего, быть может наиболее ярко выраженную в мифе об Озирисе (см. параллельные сказания об Аттисе, Адонисе, Фаммузе, Эсмуне, Дионисе), сосредоточимся на языческих женских божествах.

О. Сергий Булгаков, отметив, что *культ богинь («астарт») со всей решительностью отвергался ветхозаветной религией*, не говоря уже о христианстве, задается вопросом, почему этот культ так упорно возрождался в разных местах и в разные времена? Не свидетельствует ли это явление (кроме явных случаев антропоморфизма, религиозного блуда, затемнения религиозного сознания, литературной вольности, каприза вкуса или рецидива язычества) — о некоей более глубокой религиозной реальности?

«Нельзя, конечно, ни на минуту забывать, сколь неточно, затемненно и извращенно открывались язычеству религиозные истины и постигались ими небесные иерархии, но даже и памятуя в достаточной мере об этом, мы должны все-таки признать, что в почитании женской ипостаси в божестве язычеству приоткрывались священные и трепетные тайны, не раскрывшиеся в полноте, быть может, еще доселе и боящиеся преждевременного обнажения. Если ограничиваться только открытым и нам уже ведомым, то мы можем назвать, по крайней мере, одну из тех религиозных истин, явное предчувствие которых имелось в язычестве, а именно, почитание божественного материнства. Язычество трепетно прозревало не только Христа, грядущего в мир, но и Его Пречистую Матерь, Приснодеву Марию и, как умело, чтило Ее под разными ликами. Если теперь искатели «религиозно-исторических параллелей» находят соблазнительную близость между Изидой, плачущей над Озирисом, и Богоматерью, склоненной над телом Спасителя, то нас наполняет удивлением, граничащим с благоговением, это языческое предчувствие Богоматери».

Правда о Спасителе и о Приснодевстве-Богоматеринстве Марии лежит между двумя крайностями: атеистического отрицания их, как исторических личностей вообще, и наивного мнения, что они *впервые* появляются, как темы, лишь с момента Благовещения.

На наш взгляд, явление культа женских божеств можно

рассматривать не только как *антропоморфизм* или *предвосхищение чего-то, еще миру не открытого,* но и как персонификацию женственно-бытийного элемента всякой реальности, наблюдаемую в имманентном плане, и интуитивное предвосхищение абсолютности в качестве, отличном от логосности, в плане трансцедентном.

Материя-Матерь-Земля многими народами в древности почиталась как женское божество, в лоне которого все зачинается и из которого все рождается. Мать-сыра-земля пользовалась большим почитанием у русских славян. Характерный апофеоз ее мы находим в наше время у о. Сергия Булгакова:

«Великая матерь, земля сырая! В тебе мы родимся, тобою кормимся, тебя осязаем ногами своими, в тебя возвращаемся. Дети земли, любите матерь свою, целуйте ее исступленно, обливайте ее слезами своими, орошайте пóтом, напояйте кровью, насыщайте ее костями своими! Ибо ничто не погибает в ней, все хранит она в себе, *немая память мира* (курсив мой — *Г. Э.*), всему дает жизнь и плод. Кто не любит землю, не чувствует ее материнства, тот — раб и изгой, *жалкий бунтовщик против матери*, исчадие небытия. Мать земля! Из тебя родилась та плоть, которая сделалась ложеснами для воплотившегося Бога, из тебя взял Он пречистое Тело Свое! В тебе почил Он тридневен во гробе! Мать земля! Из тебя произрастают хлебный злак и виноградная лоза, коих плод в святейшем таинстве становится Телом и Кровью Христовыми, и к тебе возвращается эта святая плоть! Ты молчаливо хранишь в себе всю полноту и всю лепоту твари».

Воображение древних поражал факт, что солнце, почитаемое как бог-отец или главный бог, «заходит» за землю и «встает» из-за нее в дневном круге и также в круге годичном. Северогерманские и кельтские племена издревле почитали землю-матерь-ночь как усыпальницу и колыбель Солнца. Праматерь-Всематерь в темноте зимней ночи (конец декабря), верили они, в полночь рождает светлого бога Года. У кельтов были мистерии Девы, которая рождает Царя Элементов.

Шумерийские источники, относимые археологами к памятникам тысячелетней древности, свидетельствуют, что наряду с «большой триадой» бога неба-Ану, бога земли-Энлиль и бога

водяных стихий — Эа (Энки) почиталась *четвертая* богиня материнства, богоматерь (Нинхусарг). Эта девственная богоматерь известна в Шумерии и под другими названиями. Она же — богиня дня и ночи, света и мрака, царица звезд и материи; она изображалась иногда светлой, а иногда черной (ср. католические изображения «черных Мадонн»).

Культ женских божеств, прежде всего как богинь плодородия, был известен с незапамятных времен во всех очагах древних культур, начиная с Ассиро-Вавилонской империи на востоке и кончая Римом. Многообразие богинь, для которых не только каждый народ, но иногда и отдельные города, имели соответственные имена, привело уже в древности к идее, что эти местные богини представляют собою различные проявления одной и той же богини, почитавшейся во Фракии под именем *Кибелы* (она же — Всематерь или Матерь богов). Здесь есть некая аналогия ягвизму того периода, когда он был еще «энотеизмом», а не «монотеизмом». Энотеизм есть почитание *одного* бога, как покровителя данного народа (племени, царства, города), который считается обычно наиболее могущественным среди остальных «дии минорэс»; монотеизм же есть вера в *единого Бога*. Такого рода энотеистическим почитанием пользовалась и Кибела (не повсюду), мать не только богов, но и всего живущего, мать земли и плодородия.

С Кибелой отождествлялись: Астарта в Вавилоне, Финикии, Ханаане и Арамее; Деметра, Гея, Диана и Афродита в Греции (и соответственные богини в Риме), отчасти — Изида в Египте. Отметим, что Афродита, богиня любви, была известна в Греции в двух «воплощениях»: Афродиты Небесной (Урания), и Афродиты Простонародной (Пандемос), (что *формально* напоминает нам *Софию божественную* и *Софию тварную* у о. С. Булгакова). В Карфагене Кибела отождествлялась с Небесной Девой (Вирго Цэлестис). По свидетельству Плиния, Кибеле была посвящена планета Венера; ее также отождествляли с созвездием Девы. В начале нашей эры Кибелу знали как «владычицу всех стихий» и «жизнеподательницу» («элементорум омниум домина», «зоогонос тэа».

Очень интересны религиозные верования древнего Египта по отношению к богине *Изиде* (Изис, Эзэт, Эзэ), сестре и жене

бога Озириса (ср. имена Жены и Невесты Агнца из Откровения и соответственные софиологические имена). Изида, первоначально богиня неба, изображается с рогами на голове, между которыми помещено солнце. Изображалась она также с младенцем Хорусом на руках, кормящая его грудью. Рога толковались исследователями-египтологами как символ священной коровы, т.е. млекоподающей, плодородной. Но... рога имеет и месяц в первой и последней фазе. В Откровении от Иоанна говорится о жене, с которой толкователи отождествляют Богоматерь: «Явилось на небе великое знамение — жена, облеченная в солнце; под ногами ее луна, а на главе ее венец из двенадцати звезд» (12,1). Другие толкователи усматривают в образе *жены* Церковь Христову. Двенадцать звезд представляют собой двенадцать главных созвездий зодиака («знаков»). Между прочим, этот образ перекликается с вавилонским мифом о рождении Мардука, бога-солнца.

О. Сергий Булгаков в книге «Апокалипсис Иоанна («Опыт догматического истолкования») пишет:

«Эти астрономические и астрологические черты знамения заставляют искать их происхождение в вавилонских, персидских, греческих, египетских мифах, за пределами иудейской апокрифической письменности». Но добавляет, что сам факт, что Тайновидец воспользовался ходячим апокалиптическим образом, понуждает нас усматривать в нем прообразовательный по отношению к христианству смысл.

В Шумере богиня Праматерь-Всематерь изображалась, вернее, символизировалась знаком восьмиконечной звезды, представляющей «все стороны мира», т.е. вселенную. Она (равно как и Изида в Египте) часто отождествлялась с самой яркой звездой южного полушария Сириусом и изображалась с *луком* (как Диана-Артемида в Греции). Наиболее яркая звезда северного полушария — Вега, поднимающаяся по небосклону к зениту и как бы указующая путь к жилищу Всематери, находящемуся еще дальше, чем небо бога-отца Ану (Вега принадлежит к созвездию Лиры, которая есть тоже вид лука; сравни символику лиры и лука у Гераклита). Итак, у нас уже имеются три древних, сходных по форме, символа: рог, полумесяц и лук (арка).

В зодиаке наиболее яркой звездой (первой величины) явля-

ется Альфа Виргинис («Спика» = Колос) в созвездии Девы. Именно эта звезда почиталась шумерийцами и египтянами как центральное откровение девы-богоматери.

Зерно издавна считалось символом рождения, жизни, смерти и воскресения. В Св. Писании имеется много текстов, свидетельствующих об этой символике. Приведем некоторые из них:«Хлеб Божий есть Тот, Который сходит с небес и дает жизнь миру»; «Я хлеб живый, сшедший с небес; ядущий хлеб сей будет жить во век; хлеб же, который Я дам, есть Плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира»; «...если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода». (Ин.6,33, 53; 12,24).

Когда солнце стоит в созвездии Девы, в «подзодиачном» поясе, на земле завершается жатва. Дева изображается в виде молодой женщины с колосьями. Отсюда легко производится другой символ: Жена, Облеченная в Солнце, рождает Хлеб Жизни. С другой стороны, в глубине зимней ночи, когда на восточном небосклоне восходит к зениту созвездие Девы и день начинает увеличиваться, от Девы рождается Свет мира...

В сентябре, во время «стояния» солнца в созвездии Девы, греки праздновали Элевзинские мистерии, посвященные матери-земле Деметре.

Христианские богородичные праздники Успения (Внебовступления) и Рождества Пресвятой Богородицы падают на 15/28 августа и 8/21 сентября, на время прохождения солнца «под» созвездием Девы. Альфа Виргинис, самая яркая из созвездия, наблюдаемая в эти дни с земли, производит впечатление сперва «заходящей» за диск солнца, как бы погружающейся в него, а затем, три недели спустя, появляющейся по другую сторону диска, как бы «рождающейся» из него.

Рождество Христово, празднуемое сперва в день Богоявления, 6-го января, перенесено было Церковью на день 25-го декабря, когда язычники праздновали рождение солнца-бога-года.

Интересен вавилонский миф о путешествии Астарты в ад, к ее «черной» сестре, богине смерти. Для этого она спускается со звездного неба в земельную преисподнюю, проходя через семь врат семи кругов (сфер, стихий). При каждых вратах она обязана отдать часть своей одежды (и сущности-власти) и когда, нако-

нец, предстает нагой перед богиней преисподней, она слаба и одержима всеми земными болезнями. На поверхности земли приостанавливается всякое рождение и произрастание. Астарту спасает ее сын и муж Луллу-Таммуз (сам умирающий ежегодно и преодолевающий смерть), которому посвящена центральная звезда созвездия Орион. Музыкой он очаровывает богиню смерти (Дионис? Орфей?). Астарта, окропленная «водой жизни», обретает силы и здоровье и в своем прежнем звездном облачении возносится на небо. В этом мифе интересна деталь о путешествии с неба в недра земли богини жизни, которая повторится в будущем неоднократно в варианте «падения» Софии в материю и стремления вернуться обратно в небеса. Миф этот восходит к шумерийским записям: его возраст — пять тысяч лет, по крайней мере (если верить археологам).

Со временем звездные культы как будто уступают свое место почитанию *планеты* Астарты-Изиды-Афродиты-Венеры. Это — самое яркое светило нашей солнечной системы. И здесь явно выступает ее «дуалистичность»: она — вечерняя звезда, она же и — утренняя; она принадлежит царству света и мрака; она — богиня звездного неба и земли; она — девственно-андрогинна (муже-женственна); ее орбита и орбита Гермеса (Меркурия) — ближе всего к солнцу: древние верили, что некогда обе эти планеты составляли одно целое; отсюда имя — Гермафродиты (по другим сказаниям, Гермафродита является потомком Гермеса и Афродиты). Иногда ее изображали в виде *бородатой* женщины (мы ниже приведем иное объяснение этому).

Андрогинность Софии, двуполость, т.е. двуполюсность, будут отмечать позже софиологи во главе с Якобом Беме.

Мы упоминали выше о символике лука и лиры, с которыми изображались некоторые богини. Лира построена на принципе того же лука, который, в свою очередь, представляет собой те принципы сжатия и разжатия, напряжения и распряжения, притягивания и отталкивания, *которые лежат в основе всех тварных реальностей физического (материального) плана*; и принцип полярности, поляризации, дуальности, дифференциации, противоположности — в аспекте ноэтическом. Последний принцип — сама жизнь — в живых организмах он выражается в пульсации, пульсе, вдохе и выдохе. Лук — символ войны, которую Гераклит

называл «отцом всех вещей»; лира — символ гармонии, согласия, мира — «мать всех вещей».

Какова связь между рогами (культ «золотого тельца», т.е. молодого быка и культ «священной коровы») и полумесяцем, с которыми изображалась иногда Астарта-Изида? Очень правдоподобный ответ на этот вопрос дает Э. Великовский, многосторонний и очень талантливый ученый, в своей гипотезе относительно происхождения планеты Венеры. Мы уже однажды излагали эту «гипотезу Великовского» в связи с объяснением небывалых катастроф на земном шаре во время Исхода. Здесь же приведем только то, что относится к «рогам» и «полумесяцу».

Из того факта, что на древнейших известных картах неба Венера не отмечена, он заключил, что в то время она еще не входила в состав нашей солнечной системы. Так, напр., на индусской карте, время составления которой относится к 3102 г. до Р.Х., Венеры нет. Брамины древней эпохи не знали пятипланетной системы, упоминание о которой мы находим лишь в т.н. «среднюю» эпоху. Вавилонская астрономия тоже знала только четыре планеты — Сатурн, Юпитер, Марс и Меркурий, упоминаемые в соответствующих молитвах: в древние времена телескоп еще не был изобретен, но Венера, наиболее яркая из планет, никак не могла не быть незамеченной древними наблюдателями небесных тел.

Великовский утверждает, что упоминания о Венере появляются около 1500 лет до Р.Х., т.е. приблизительно три с половиной тысячи лет тому назад, *во время исхода евреев из Египта*. Великовский считает, что раньше Венера *была кометой* и впервые «попала» в орбиту солнечного притяжения именно в то время. Мы не будем останавливаться на перечислении всех катастроф, которые случились на земной поверхности в момент первого прохождения кометы-Венеры мимо земли, но сразу придем к перечислению тех ее атрибутов, которые запечатлелись в памяти человечества и были отмечены на некоторых исторических памятниках.

Появление кометы и возникновение связанных с нею катастроф вселяло в народы ужас. В то время у Венеры был

«хвост» или «шлейф», состоящий из раскаленных газов и частиц твердых веществ. Древнее мексиканское предание утверждает, что Венера («Квецал-кохуатл») «дымила». Индусские веды описывают ее, как огонь. По-видимому, ее хвост был темен днем и светился ночью. Халдеи писали, что у Венеры имеется «борода»; они также называли ее «светлым факелом небесным» и «алмазом, светящим, как солнце». Евреи писали в «Мидраш Раба»: «Сверкающий свет Венеры озаряет вселенную от одного края до другого».

Один из китайских астрономических текстов отмечает, что в давние времена Венера была видима в ясный день и, когда передвигалась по небу, соперничала своим блеском с самим солнцем. В VII в. до Р.Х. Ашурбанипал писал о Венере (Иштар), что «она облечена в огонь и увенчана страшным сиянием». А египтяне отмечали, что Венера — «вращающаяся звезда, расточающая огонь и пламя». Само слово «комета» значит по-гречески «волосатая», а перуанское название Венеры «часка» означает «волнисто-волосатая». Но так «выглядела» она раньше; теперь Венера не имеет ни «бороды», ни «хвоста», ни «волос». Когда Венера пребывала еще «в коме» (а она имеет свои фазы, как луна), рога ее полумесяца были удлинены «шлейфами» или «косами», и она напоминала зрителю своими очертаниями голову быка с крутыми рогами. Именно поэтому она была известна под названием Аштерот-Карнаим, *Рогатой Астарты*. Культ быка (Апис), золотого тельца (в Ветхом Завете) и священной коровы в Индии датируется именно этим периодом.

Так как орбита Венеры короче земной, наблюдаемая с земли, она производит впечатление как бы «догоняющей» солнце; блистая на небосклоне после солнечного заката, она известна как Вечерняя Звезда. В течение определенного периода времени Венера находится «за» солнцем и не видна в его ярком сиянии. Затем появляется уже впереди солнца, как бы убегая от него, и тогда выступает на небе до его восхода, называясь Утренней Звездой.

Рога, с которыми иногда изображались Астарта и Изида, таким образом, являются «изобразительной метафорой» «полумесяца» Венеры в ее первой и последней фазе. Апокалип-

тическое видение «жены, облеченной в солнце» с полумесяцем под ногами является олицетворением древних сказаний, *хотя оно употреблено св. Иоанном для выражения иного смысла.* Некоторые изобразительные элементы древних верований перешли и в христианскую религиозную живопись. Здесь имеются и «стояние на луне», и звезды (на ланитах и на челе) в изображениях Богоматери и Софии. Интересующиеся изобразительной символикой богородичных и софийных икон найдут много материала в книге «Столп и утверждение истины» о. П. Флоренского.

На этих нескольких страницах мы схематично обрисовали древние культы богинь, сводящиеся к почитанию богоматеринства и всематеринства, и отметили, что культы Астарты, Изиды и Афродиты являются частными проявлениями культа центральной богини, Кибелы. Уже здесь, тематически, наметился переход от отдельных «воплощений» к концепции Софии.

Когда противники о. Сергия Булгакова ставили ему в упрек, что его учение о Софии уходит своими корнями в гностицизм, он категорически отрицал это. Объясняется это единственно его затравленностью, нападками на него и некоей интенциальной устремленностью. О. Сергий *не хотел*, чтобы его софиология имела гностический налет, но этого было недостаточно, чтобы отвести упреки. Да и нужно ли было их отводить? Решив назвать Божественную Премудрость «существом» с женским именем «София» и предназначив ей роль соединяющего звена, «третьего начала» между Богом и миром, он несомненно поместил свое учение в ту плоскость, в которой находится и гностицизм. Его софиология представляет собой одну из софиологических концепций и отречься от этого нет никакой возможности. Есть как *лже-гнозис*, так и *христианский гнозис*! Кто будет отрицать, что апологеты и отцы церкви пользовались некоторыми *подходящими* понятиями дохристианской философии при построении христианского вероучения?

Основное различие между христианскими гностиками и лжегностиками состояло в том, что первые *подбирали* нужные им языческие термины для *выражения* православного учения, тогда как вторые *подкрепляли* библейскими терминами и понятиями свое нехристианское учение. Разница — диаметральная. Утверж-

дать, что между христианством и язычеством нет *ничего* общего, это значит расходиться с истиной.

Церковь всегда пользовалась некоторыми *старыми* понятиями для выражения *новых* истин. Для того, чтобы это было возможным, нужна хотя бы самая тонкая, но логическая смысловая связь между ними. Поэтому *тот факт*, что софиология уходит своими корнями в дохристианскую даль, ее отнюдь не порочит.

Софиология есть учение о Божественной Премудрости. На древнегреческом языке слово «софия» не имело той связи с «божественным», к которой мы ныне привыкли. Оно означало: 1) мастерство, искусство; 2) сметливость, изворотливость, ловкость; 3) разумность, рассудительность, житейскую мудрость, практический ум; 4) ученость, просвещенность; 5) науку, высшую мудрость.

Это соответствует древнееврейскому слову «хохма», которое первично означало: 1) ловкость воина, искусство мастера; 2) умелость или способность администратора; 3) тонкость ума, хитрость, «промыслительную» мудрость, образование. Лишь в VI веке до Р.Х. слово «хохма» начинает приобретать религиозный оттенок. Но и в «хохмической» литературе после-пленного периода этот религиозный оттенок ограничивается имманентным планом послушания Богу, нравственностью, умением жить праведно, короче говоря, всем тем, что в жизни человека относится к праведности, уму и благоговению. «Начало мудрости — страх Господень» (Притч.10,10).

Свои ипостасные черты София-хохма впервые приобретает в книге Притчей Соломоновых. (Гл.8-я). Факт этот можно объяснить двояко: 1) как литературный прием *персонификации* вследствие отсутствия в древнееврейском языке абстрактных понятий; 2) как *прообраз,* дающий человеку, в проникновенной и символической форме, информацию, подлежащую будущему истолкованию и развитию.

Именно в этом, втором смысле, принятом и о. Сергием Булгаковым, София-хохма сыграла значительную роль в истории древнего гнозиса и современной софиологии. Развитие *понятия* Софии причудливо переплетается с понятием *логоса,* родившимся в древней Греции, а также с понятием *пневмы,*

выдвинутым древней Стоей. С этимологической точки зрения эти слова имеют много значений, но нас они будут интересовать в значении *слова-разума и — духа.*

Посмотрим, что мы можем найти относительно Софии в древней Греции.

Элементы учения о божественном разуме в древней Греции

Гераклит (VI-V в. до Р.Х) был первым, кто человеческое свойство разума проецировал на канву вселенной по закону аналогии: если господствующим началом в человеке является разум, то началом, образующим и владеющим всем миром, является разум космический, *логос*. Логос — наиболее совершенный, божественный элемент вселенной. У *Анаксагора* (500-428) вместо логоса выступает родственное понятие духа, разумного духа, «нуса». Нус является трансцедентной причиной движения всей материи. В школе *стоиков* разумное начало, имманентное миру, называлось попеременно *духом* (пневма) или логосом.

У Платона (427-347) все учение пронизано софийностью, но нет четко выраженного понятия Софии. В этом о. Сергий Булгаков — истинный платоник: «Аргументами трансцедентально-спекулятивными, — писал он, — нельзя *снять* интуитивно-данную проблему софийности мира и разъяснить ее в духе гносеологического формализма.

Попытаемся собрать рассеянные по всем сочинениям Платона софиологические элементы. Согласно своему постоянному методу, Платон начинает свою диалектическую цепь, отправляясь от вещей и наиболее простых понятий. Он сперва показывает мудрость в ее практически-техническом значении и таким образом перекликается с библейским хохмическим понятием мудрости, которое мы объяснили выше.

София — это хитрость, искусность, изворотливость, умение мыслить, складно говорить и убедительно доказывать. Высшая мудрость — это величайшая согласованность, гармоничность, а еще выше — мудрость математическая, вначале прикладной математики, а затем и отвлеченной.

Творение у Платона предполагает наличие трех «элементов»: 1) «первообраз» или «образец» (парадигма), или то, что он в другом месте называет «миром идей»; 2) творящего субъекта-демиурга; и 3) материю, которая «противостоит первообразу и демиургу как начало внелогическое, внеэйдетическое, сплошь неразумное, сплошь текучее и непостоянное, в полном смысле слова иррациональное». Иногда Платон сбивается с этой схемы и понятие демиурга заменяет «идеальной совокупностью всего того, что в дальнейшем будет воплощено в материи», т.е. *Софией.* Чистая материя — лишь голая возможность существования, однако, в качестве восприемницы идей, она является *матерью* всего существующего, т.е. космосом.

А. Ф. Лосев находит, что в «Филебе» Платон выражает мысли о Софии, как о «субстанциональной и в своем диалектическом самообосновании данной фигурности красоты».

Платон достигает вершин абстракции и, когда для диалектики не хватает уже воздуха, он переходит на мифологические образы. «Наднебесная область, — пишет Платон, — есть бескрасочная, и бесформенная, и неосязаемая, подлинно сущая сущность души, зримая одному лишь царственному уму». Сознавая философскую порочность монистских построений, Платон не является и сторонником дуализма, как это ему приписывают многие историки философии. Если будет дозволено употребить выражение С. Л. Франка, то о Платоне можно было бы сказать, что он — «монодуалистичен». Платон, по существу, триадичен, хотя эту триадичность надо *у него вскрыть за него;* триадическая перспектива у него несколько сдвинута. Так или иначе, чувство антиномичности у Платона всегда вообще налицо, и в данной связи, в частности. Мир идей, или, как мы его называем здесь, София, у него имеет два лика: один, трансцендентный, обращенный «ад интра», и второй, «ад экстра», которым София обращена к миру. Он выражается у него в признании существования Афродиты Небесной и Афродиты Простонародной и, соответственно, существования двух Эросов: божественного и человеческого. Здесь мы имеем полную аналогию с Софией Нетварной и Софией Тварной у о. Сергия Булгакова.

Туда, куда не достигает дискурсивный разум, проникает экстатический порыв эроса-любви к Софии-Афродите Небес-

ной, которая есть «красота вечная, несотворенная и не погибающая, которая не увеличивается, но и не оскудевает, которая неизменна во всех частях, во все времена, во всех отношениях, во всех местах и для всех людей» (Федр).

Следуя, с оговорками, принципу Протагора («мерой всего является человек» — антропоморфизм), Платон различал в космосе *ум* (дух), душу и тело. Соответственно, умная софийная красота выступала у него в трех модусах: мира идей, разумной основы физического мира и самого физического мира, в вещах и организмах воплощающего идеальные сущности.

Неоплатонизм и лже-гнозис

У Филона (25 г. — 50 гг. до Р.Х.), одного из самых видных представителей Александрийской школы, София вытесняется Логосом, который выступает не только в качестве синтеза иудейской «хохмы» и греческого логоса, но принимает ипостасные черты, становится Личностью.

Так как между филоновским учением о Логосе и *последующими* софиологическими учениями гностиков наблюдается близкая аналогия, мы посвятим его учению несколько больше внимания. К его учению, как к эталону, мы сможем примерить возникшие позже концепции.

Греческие теории о происхождении и природе Вселенной склонялись либо к монистическому решению (пантеизму, натурализму, материализму), либо к несколько вульгарно понимаемому платонизму — дуализму. Очевидность антиномических начал и понятий — Бога и мира, духа и материи, добра и зла — разрывала тесные рамки материалистического монизма, но разрывала столь широко, что между Богом и миром возникал вакуум, настоятельно требующий рационального *заполнения*. Человеческий ум *еще не знал христианского смирения перед антиномическим чудом*, и снова властно требовал объяснения, *каким образом* Бог создал и держит мир, *как* возможно возникновение несовершенных форм бытия от совершенного Божества. Одной из попыток найти связь между двумя совершенно чужеродными

полюсами была *градуалистическая* система Филона, носящая на себе яркую печать синкретизма.

Филон сочетал греческое понятие абсолютного бытия с иудейским богом Яхве: получилась концептуальная амальгама сомнительной однородности. С одной стороны, а именно — греческой, такому Божеству приписывались свойства самосуществования, единства, несложности, неизменности, сверхвременности и сверхпространственности; с другой же, иудейской стороны, Божеству приписывались антропоморфические свойства личности — благостность, промыслительность, всемогуществ, всеведеніь, справедливость и т.п.

Не совсем последовательно, Филон утверждал *абсолютную трансцендентность Бога миру,* онтологическую и гносеологическую (эпистомологическую), что плохо вязалось с Богом Израиля, принимавшим столь близкое участие в жизни «избранного народа».

Противоположный полюс по отношению к Божеству в системе Филона занимала материя, которую он понимал неоплатоновски. Будучи началом мэональности (и зла), она не могла быть созданием сверхблагого Бога. Филон повторял учение греков, что материя безначальна, хотя изначально и безобразна. А так как между этими двумя абсолютно гетерогенными реальностями, Божеством и материей, не может быть *непосредственно* ничего общего, то Филон заключал, что должна существовать *третья реальность,* третье начало, служащее звеном между двумя первыми.

У Платона этой третьей реальностью до некоторой степени был мир идей. И если Аристотель имманентизировал этот мир (идеи суть *в* вещах), то Филон, наоборот, трансцендентизировал, признав, что идеи — суть мысли Божии, приписав им энергию сил-актов. Согласно Филону, Бог мыслит тварными реальностями.

Мысль Божья, идея-сила, погружаясь в безвидную материю, испытывает «онтологическое» трение, (если можно так выразиться за Филона), и в результате такого сопротивления кристаллизуется в индивидуальную тварную реальность. Наподобие того, как цвета радуги представляют собой расщепление единого света, так и идеи, *до их объективизации,* составляют некое

органическое целое, которое Филон называл Логосом. Филоновское понятие Логоса весьма сложно. Будучи совокупностью божественных мыслей-идей, Логос одновременно является деепричиной тварных реальностей, не только в аспекте творящего акта, но и в аспекте их сущности, их содержания. Логос — это Душа и Разум вселенной.

Участвуя в божественной реальности (в качестве идеального образа, отображения божественного Субъекта, так сказать) и в реальности тварной (в качестве божественной Печати на мире материальном), *Логос является третьим началом, соединяющим Бога и мир*. Но этим характеристика Логоса у Филона не исчерпывается. Он Ему приписывает черты, заимствованные из иудейской религии: Логос есть личность, ангел, посредник между Богом и миром, посланник и заместитель Бога, сын Божий, «другой бог», «созданный бог» архитектор вселенной. К этому «третьему началу» Филон причисляет как мир ангелов, так и Софию.

Филонова схема Бога-Логоса-Мира была принята последующими мыслителями и развивалась особенно тщательно представителями гнозиса и софиологии, сосредоточившими свое внимание на втором члене этой триады, *на Логосе*.

В софиологии имя Логоса, с его характером третьего начала, заменено именем Софии. Таким образом, мы видим, что все основные *темы* софиологии в системе Филона уже наличествуют. Последующие софиологии лишь выправляли, уточняли или развивали то, основу чему заложил Филон.

К концу первого века нашей эры Логос прочно вошел в христианское вероучение. Хотя некоторые богословы и считают, что Логос из вступления к Евангелию от Иоанна не имеет никакой связи с Логосом Филона или греческим Логосом, утверждение их, как нам кажется, продиктовано, скорее, благочестием и не отличается полной убедительностью.

Термины — Слово (Логос), Начало (Архи), выражение «все через Него начало быть», противоположение Жизни-Света и враждебной ему Тьмы (Ин.1,1-5) невольно вызывают ассоциации с тем, что мы встречаем у Филона. Правда, Иоанн вкладывает в

эти слова много *нового* смысла, доселе не встречавшегося. Собственно в факте заимствования терминов нет ничего предосудительного — ученики Иисуса Христа не обладали собственной философской терминологией. А то новое содержание, которое ап. Иоанн вложил в уже известные термины, он черпал из божественного откровения, прежде всего — из уст самого Богочеловека, воплотившегося Логоса.

Основной смысл Иоаннова пролога сводится к трем утверждениям: 1) Логос совечен открывающемуся в Нем Богу-Отцу; 2) Логос есть Лицо (личность) и 3) Логос того же существа, что и Бог-Отец.

Далее из начальных стихов пролога следует, что Логос есть творящая вселенную Ипостась и что *вселенная (материя) возникает в результате творческого акта* (творение «ни из чего», ex nihilo). Иоаннов пролог, как новозаветное развитие пролога к Пятикнижию («В начале сотворил Бог небо и землю», Быт. 1,1), является нерушимой основой православной логологии и софиологии. Правда, само слово «Начало» (Архи) допускает некоторые толковательные нюансы, но мы этим здесь заниматься не станем.

Но где сеются семена, туда попадают и плевелы. В I в. нашей эры на территории Малой Азии и прилегающих стран появились странствующие лжеапостолы гностического толка; они, по примеру Филона, пытались создавать все новые и все более сложные космогемы, чтобы объяснить возможность перехода от Бога к миру. Для этого они *бесконечно дробили «третье начало»* и увеличивали число мироустроителей и миродержателей. От этих учений предостерегали ап. Павел и ап. Петр, называя их «иудейскими баснями и хитросплетениями». О Христе еще сравнительно мало кто знал; было чрезвычайно важно предостеречь людей от тщетной погони за «логосами», тогда, когда среди них уже явился Сам ЛОГОС.

Имя Софии чаще всего встречается в школе *офитов*, в учении которых очень ярко выразился религиозный антропоморфизм, как предвосхищение позднейшей Кабалы, с одной стороны, и учения о богочеловечестве, — с другой. В основу всего они клали Праначало, «Первого Человека» «Христа», от которого, в порядке сыновства, произошел «Второй Человек»,

или «Мысль». Третьим модусом Первочеловека была «Первая Жена», или «Мать живущего», или «Дух Святой» Эта триада являет собою полноту Божества. От сочетания первых двух «ипостасей» с третьей (офиты называли это сочетание «браком») родился Христос.

Единство Отца, Сына, Духа и Христа, божественной тетрады (четверицы) составляет Церковь. В какой-то срок Дух-Мать-Жена «преисполнилась» и пролилась «светоносным муже-женским началом» (София-Пруникос, сладострастная) на воды хаоса, приведя их в кипение. В результате «падения», т.е. погружения в хаотическую стихию, София создала свое тварное тело, плененное материальной средой, результатом чего была борьба разных персонажей небесно-земной драмы. По мольбе Софии, «Христос», «Первый Человек», сошел на человека Иисуса, чтобы собрать воедино все светоносные элементы и вернуть их в единство Церкви.

Наиболее сложные гностические теории были созданы в свое время Василидом, Валентином и Маркионом, египетскими мыслителями (и литераторами) II века нашей эры. Ниже мы изложим в общих чертах «систему» Валентина, наиболее яркую и стройную, в которой Софии отводится роль одного из эонов, наряду с Нусом, Логосом и Фроносисом, которые мы уже встречаем раньше у Василида.

Вот валентиновские тео-космогонические построения.

Божество, самосущее бытие и пранаучало всего, мыслимое *до* всякой внутренней дифференциации, это — Бездна (Вифос), насыщенная *все*возможностью. Первое самосознание Божества проявляется в Мысли и Радости, осознаваемых в Молчании (Сиги). Мысль есть движение, а радость — любовь. Из сочетания (супружества, сизигии) Бездны и Молчания рождается Ум и Истина (Нус и Алифиа). Таким образом, внутрибожественная совершенная Четверица (Тетрада) состоит из Бездны — Молчания — Ума — Истины. «Беременяя» от преизбытожествующей любви, Божество в чете Ума-Истины порождает следующую, третью чету: Логос — Жизнь (Логос-Зоя), а последняя, в свою очередь, рождает четвертую чету: Человек — Церковь (Антропос-Экклезия). Четыре божественные сизигии образуют «Первородную Восьмерицу».

Умножение сизигий следует и дальше: Логос-Жизнь порождает десятерицу эонов (пять сизигий), а Человек-Церковь — двенадцатирицу (шесть сизигий). Эти двадцать два эона проявляют Божество «ад экстра». Пятнадцать сизигий (4 + 5 + 6), т.е. тридцать эонов, составляют Полноту (Плерому) Божества.

Внутрибожественная иерархия сизигий представляет собой различную степень совершенства и, следовательно, обладает возможностью дальнейшего совершенствования.

В последнем, женском эоне Плеромы — в Софии, сочетающейся с Вожделенным, бытие и веденье наиболее умалены. В Софии неудовлетворяемое стремление эонов к постижению, к «поятию» Вифоса, достигает предельной силы и обращается в темную, жгучую страсть, недолжную, грешную — ибо недолжно дерзать на постижение Непостижимого. Расторгнув свой союз с Вожделенным и тем отвергнув единственно возможный для нее путь Боговеденья, София устремилась к Вифосу, в Бездну, где ее, а с нею и всех эонов, ею взволнованных и увлекаемых, ждала неминуемая гибель. Однако Плерома была спасена присущим ей началом остойчивости. На грани Четверицы восстал новый, нечетный эон — Предел или Крест. Не допустив Софию в Бездну, он спас ее и всю взволнованную ее полетом Плерому. «Похотение» же (Энфимисис), как новый, незаконно (ибо не от Вожделенного) рожденный ею эон, Крест (или Предел) отсек и низверг в Кеному, т.е. пустоту или небытие.

София желает невозможного: Вифос запределен и потому недоступен познанию. Единственно Ум может его обнаружить, но и то — отчасти, ибо рациональное уравновешивается иррациональным.

Чтобы выйти из положения, чета Ума-Истины порождает чету Христа-Св. Духа преобразуя последующие эоны следующим образом: все мужские представители сизигий становятся Христами-Логосами, все женские — Св. Духами-Жизнями. «И тогда по соизволению Христа и Духа Плерома, вся просветленная и ликующая, породила совокупными усилиями «совершеннейший свой плод», «совершеннейшую свою красу и звезду» — Иисуса, как воплощение Христа и Логоса. Иисусу не хватает его женского дополнения; его невеста — это низвергнутая в небытие Энфимисис. Перед Иисусом-Христом-Логосом

стоит задача *спасти* свою Невесту и тем самым восстановить Плерому.

Находящаяся во тьме Энфимисис, она же София Ахамоф, (хахамоф, испорч. евр. хохма) — не имеет сама по себе ни вида, ни образа. Иисус Христос через Свое распятие прикасается к ней и призывает ее к реальному существованию, порождает в ней жизнь.

Влекомая Воссиявшим на Кресте, София Ахамоф бросается к Нему, в Плерому. Но ей преграждает путь Предел-Крест. И она блуждает во тьме, скорбит, томится печалью о том, что ее цель недостижима, мучается страхом утратить жизнь, неведеньем и отчаяньем безысходности. Томление ее не есть преходящее изменение, как у ее матери, *Горней Софии,* но — «противоположность», нечто объективное, тяжкое. И поэтому слезы по исчезнувшему Иисусу становятся материальной влагой, улыбка при воспоминании о Нем — нашим светом, скорбь и тоска — твердым веществом, страх — демонами и сатаной, а стремление к Плероме — Демиургом и психическими существами. Вся эта теокосмогоническая фантастика, свидетельствующая о блестящем литературном таланте Валентина, продолжается у него дальше, но нас она в дальнейшем не интересует. Отметим только, что у последователей Валентина ситуация несколько изменена: женственность, женское начало, у них символ несовершенства, «восприемливости», податливой и ёмкой на действие творящего и спасающего мужского начала. Все «сизигии» — плеромы, ибо сочетают в себе оба начала (андрогинны). Наш мир происходит от женского начала, Софии, ускользнувшей от закона сочетаемости, и поэтому он несовершенен. Души человеческие, по природе женственные, вожделеют к Жениху, Спасителю.

Отметим здесь, на свежую память, понятия и термины, с которыми нам придется встречаться позже: София Горняя, София Падшая — невеста Логоса-Христа-Иисуса и София Падшая, Ахамоф, как основа тварного мира. Упомянем также, что у коптских гностиков III века имелась священная книга, озаглавленная «Пистис-София» («Вера-Мудрость»), посвященная развитию той темы, что запредельное Божество может пости-

гаться, так сказать, умудренным верованием и верующим разумом.

Иудео-христианское учение о Софии

В Библии о Хохме-Софии говорится в т. н. хохмических книгах, к которым принадлежат: *Притчи Соломоновы; Премудрость Соломонова; Премудрость Иисуса сына Сирахова, гл. 28; 12-28 книги Иова.* За исключением главы 8-й, особенно же ст. 22-31 *Притчей Соломоновых*, в остальных текстах рассматриваются различные аспекты Премудрости в ее практическом осуществлении и дидактическом применении.

О. С. Булгаков, вслед за о. Павлом Флоренским, в своей книге «Купина Неопалимая» дает различные отождествления Софии и цитирует много ветхозаветных текстов, которые можно рассматривать в качестве прообразов Церкви и Девы Марии. Он, равно как и о. П. Флоренский, отмечает, что «эти прообразы и пророчества не раз перечислялись в соответствуюших сочинениях» богословского и литургического характера:

«Она (София — *и. Г.*) есть новая земля и небо, творимые вместо прежних, осквернненных грехом, она есть рай и обетованная Богом в раю жена, семя коей сотрет главу змия. (Быт.3,15). Она есть Ноев ковчег спасения и лествица, виденная во сне Иаковом. Она есть Неопалимая Купина, виденная Моисеем, и Черное Море, в котором спасся Израиль. Она есть скиния и храм, и в целом и в частях, Ковчег Завета, и стамна, и скрижаль, и кадильница, и жезл Ааронов. она — руно Гедеоново. Она — Царица псаломская (пс.44) и невеста Песни Песней (св. Иоанн Дамаскин в слове на Рождество Богородицы). Она — Дева, прореченная пророком Исайей (7), и врата затворенные, виденные пр. Иезекиилем (44.1-4). Она — гора насекомая, виденная пророком Даниилом, и гора приосененной чащи, виденная пророком Аввакумом».

София отождествляется также с явлениями Славы Божией, чему посвящен целый экскурс той же книги о. Сергия Булгакова

(16), цитирующего тексты, обильно рассыпанные по Ветхому Завету.

О. Павел Флоренский отмечает следующие места Нового Завета, которые можно толковать, как символические указания на Софию: «жилище на небесах», «дом нерукотворный, вечный» (II Кор.5,1); «небесное жилище» (II Кор. 5,2); «наследство нетленное, чистое, неувядаемое, хранящееся на небесах», как противопоставление «земной лачуге» (I Петр.1,13-14); «вечная обитель (скиния)» (Лук.16,9); «Дом Божий» (Евр.3,6); «Великий Город, Иерусалим Небесный, Иерусалим Горний и Святой» (Откр. 21,2, 10; Евр.12, 22 и др.); «Царство, уготованное вам от создания мира» (Матф.25, 34).

В Откровении от. Иоанна имеется несколько мест, которые можно толковать софиологически, тем более, что здесь мы встречаем уже знакомые нам символические изображения.

«И отверзся храм Божий на небе, и явился ковчег завета Его в храме Его; и произошли молнии, и голоса, и громы, и землетрясение, и великий град. И явилось на небе великое знамение — *жена, облеченная в солнце;* под ногами ее луна, и на голове ее венец из двенадцати звезд» (гл.12); «Дракон сей стал перед *женой,* которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. И родила она младенца мужеского пола, которому надлежит спасти все народы»; «Возрадуемся и возвеселимся и воздадим Ему славу: ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя»; «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними».

*

* *

К т.н. «мужам апостольским» принадлежит церковный писатель Ерма (Эрма), живший, по всей вероятности, в начале второго века. В его писаниях чувствуется еще налет визионерско-апокалиптического характера. В единственном доше-

дшем до нашего времени его труде «Пастырь», он так описывает свое видение Церкви, явленной ему в образе женщины: «Явилась она мне, братия, — говорит Ерма — в первом видении...очень старой и сидящей на престоле. Во втором видении она имела лицо юное, но тело и волосы старческие, и беседовала со мной стоя; впрочем, была веселее, нежели прежде. В третьем же видении она вся была гораздо моложе и с прекрасным лицом, только волосы имела старческие... Во время сна, братия, — продолжает Ерма, — один красивый юноша явился мне, говоря: «Кто, ты думаешь, та Старица, от которой получил ты книгу?» Я сказал: «Сивилла». — «Ошибаешься, — говорит он, — она не Сивилла». — «Кто же она, господин?» И сказал он мне: «Она есть *Церковь Божия*». Я спросил: «Почему же она старая?» — «Так как, — сказал он — сотворена она прежде всего, то и стара; и для нее сотворен мир».

*
* *

О Премудрости Божьей развернулась обширная дискуссия между св. Афанасием Великим и Арием, но в ней дело шло главным образом о толковании слов Притчей Соломоновых, в которых Премудрость говорит о себе, что Господь «имел меня началом пути Своего, прежде созданий Своих, *искони*» (8,22). Так как у обоих оппонентов Премудрость отождествлялась с Логосом, то возникал вопрос о трансцендентности либо тварности Логоса. Отправляясь от вышеприведенного текста, Арий утверждал, что Логос, как и у Филона, хотя и *создан был до всякой твари,* тем не менее — **создан.** Афанасий Великий защищал ту точку зрения, что Логос, будучи Второй Ипостасью Св. Троицы, не может быть созданным, а что лишь только Его *проявление* в мире, как творческой Божественной Премудрости, имманентизировано.

Весь спор возник в связи с тем, что Арий исповедовал учение о моноипостасности Божества и делал логические выводы из этого ложного тезиса. Кроме того, как отмечает о. Сергий Булгаков, полемика о нетварности или тварности Премудрости Божией возникла из-за неверного перевода: «ектнѕе» (греч.)

«создал» вместо оригинального « εκτησατο». О. Сергий пишет, что Евсевий первым обратил внимание на разночтение этого текста, «причем в еврейском тексте нет прямого указания на тварность,» так что некоторые греческие рукописи содержат «εκτησατο». Бл. Иероним поставил в Вульгате "possed it me" (вместо "creavit"); русский синодальный перевод дает правильный смысл: «Господь *имел* меня началом путей своих».

Большинство отцов Церкви отожествляет Премудрость с Логосом, Богом-Сыном; некоторые из них — с Духом Св.; некоторые же не выделяют особо одной из Ипостасей, но приписывают Премудрость всей Св. Троице, отожествляя Премудрость с божественной «энергией энергий» в ее аспекте ад интра, и с божественными энергиями — в обращенности к миру и в ее, так сказать, имманентной (тварной) объективизации.

И неудивительно. Если мы возьмем тварное единоипостасное существо отдельного человека, то сможем различить много аспектов (или элементов) премудрости: объективную разумность в окружающем его мире; его самого, как носителя разумности в качестве мыслящего субъекта; его способность мыслить; его актуальное мышление; содержание мышления, и результат мышления. Все это удвоится, если мыслящий субъект воспользуется своей способностью рефлексии и обратит свое сознательное внимание на каждый из вышеприведенных членов, как на таковой, поднявшись, таким образом, на второй, высший план сознательного мышления. Если это все так сложно по отношению к человеку, скажем, по отношению к самому себе, то насколько сложнее, в смысле богатства нюансов — по отношению к запредельному Трехипостасному Субъекту, Творцу всех форм и содержаний Мудрости?! Поэтому всякое упрощение, всякое выделение или частное отождествление Премудрости — условно.

Софиологические ссоры затихают на долгие века и тема Премудрости возрождается, как феникс из пепла, в споре Варлаама со св. Григорием Паламой.

К спору этому, закончившемуся победой св. Григория Паламы, мы вернемся позже, в более существенной для нашей общей темы связи. Здесь же только отметим, что патристическое учение о Премудрости было очищено от визионерских элемен-

тов, свойственных апокалиптическим писаниям, равно как и от фантастики, присущей лжегностицизму. В духе восточной аскетической традиции оно суховато и трезвенно. И еще одно надо отметить: отцы и учителя церкви могли разнообразно понимать и различно толковать сущность Премудрости, но они *все* приписывают Софию или Св. Троице без различия, или же одной из ее Ипостасей по преимуществу.

(Окончание следует)

Игумен Геннадий Эйкалович

†

Редакция «Н.Ж.» с глубоким прискорбием извещает о кончине одного из бывших редакторов «Н.Ж.», известного русского писателя, профессора
Леонида Денисовича Ржевского,
последовавшей 13 ноября 1986 г., и выражает соболезнование семье покойного.

ПОЛИТИКА СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ПО ОТНОШЕНИЮ К ЮГОСЛАВСКИМ ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТАМ, 1917-1918 г.г.

Вопрос о движущих силах коммунистической революции 1917 г. нельзя отнести к банальным. Отвечая на него по-разному, историки, тем не менее, не могут игнорировать факта активнейшего участия в революции в России иностранных граждан. Речь идет, разумеется, не о коммунистах-фанатиках, прибывших в Россию для проведения социалистических экспериментов, но о нескольких миллионах иностранцев, в большинстве своем — пленных и беженцев, интернированных вглубь России в годы Первой мировой войны. Тех из них, кто добровольно или вынужденно пошли в ряды Красной армии или гвардии, либо поступили на службу в ВЧК, ВОХР или продовольственные отряды, в исторической литературе принято называть «интернационалистами».

Число югославян, оказавшихся в пределах Российской империи к февралю 1917 г., определить довольно трудно, так как в документах они никогда не выделялись в самостоятельную национальную группу, а включались в общие списки славян, вместе с поляками, чехами, словаками. По некоторым данным, однако, число военнопленных югославян в России доходило до 200 тыс. человек.

Еще до октябрьского переворота в Петрограде большевики

поняли, что находящиеся в России военнопленные при правильной политике по отношению к ним могут стать фундаментом интернациональной коммунистической армии, с помощью которой и будет осуществлена «всемирная социалистическая революция». К практической реализации идеи союза с военнопленными Первой мировой войны большевики приступили сразу же после февральской революции. В попытке опереться на военнопленных РСДРП/б/ не была одинока. Такую же политику вели и другие социалистические партии, в том числе меньшевики и эсеры. К концу октября 1917 г. военнопленные считались естественным звеном движущих сил революции. И не приходится удивляться поэтому, что уже в день большевистского переворота, 7 ноября*, Петроградский ВРК поручил М.А. Фаерману заняться делами военнопленных в России, а в декабре Совнарком создал Наркомат по делам военнопленных во главе с А.Л. Менциковским. Под контроль Менциковского перешли все организации, ведавшие военнопленными, а при местных советах в обязательном порядке образовывались отделы по делам военнопленных. Отделы военнопленных создавались и на более высоком уровне, в частности, при Наркомате Иностранных дел. Особое внимание, безусловно, уделялось вопросу коммунистической агитации. С этой целью был создан под руководством Б.И. Рейнштейна «сектор пропаганды», немедленно приступивший к изданию газет для военнопленных иностранных граждан в России.

Следуя пословице «соловья баснями не кормят», советское правительство не ограничилось мерами одного только идеологического воздействия. Чтобы заручиться благосклонным отношением иностранных военнопленных, правительство отменило принудительные работы в лагерях, а с 26 декабря 1917 г., на основании приказа наркома иностранных дел Троцкого, стало оплачивать работу пленных наравне с трудом русских рабочих.

Видя в коммунистической революции в России лишь первую ступень революции европейской, большевистское правительство рассчитывало, что подвергшиеся идеологическому воздействию в Советской России, военнопленные заразятся «бациллами боль-

* Все даты даны по новому стилю.

шевизма», способными, в свою очередь, заразить европейские страны. План «большевизации» военнопленных предусматривал создание органов внутреннего самоуправления военнопленных, солдатских комитетов, а также профессиональных, политических и хозяйственных организаций наподобие существовавших в русской армии.

В середине декабря по инициативе советского правительства создаются Московская и Петроградская организации военнопленных, игравшие «роль связующего центрального органа между уже созданными или создаваемыми в будущем организациями военнопленных»* . Тогда же, устами представителя ЦИК Вербо, была провозглашена и общая советская политика по отношению к военнопленным Первой мировой войны: «Долг каждого русского пролетария дружелюбно отнестись к военнопленным, которые хотят принять участие в социальной революции».

29 декабря в помещении цирка «Модерн» в Петрограде состоялось первое собрание военнопленных германской и австро-венгерской армий. Общая направленность митинга была очевидна: курс на европейскую коммунистическую революцию. Принятая собранием резолюция заверила «революционную Россию в том, что пролетарии, находящиеся в военном плену, в любую минуту готовы оказать ей поддержку».

В отличие от германских и даже венгерских военнопленных многие югославяне были подкуплены не столько лозунгами коммунистической европейской революции, сколько провозглашенными большевиками в демагогических целях «принципами самоопределения всех народов». Именно лозунг самоопределения и обеспечил большевикам поддержку не только солдатской массы военнопленных югославян, но и многих офицеров, а также югославских эмигрантов в Европе. Так, уже 13 января 1918 г. югославянские эмигранты в Париже обратились к советскому правительству «с просьбой, чтобы в условия демократического мира вошло справедливое требование сербов, хорватов и словенцев из Австро-Венгрии об их освобождении и объедине-

---

* *"Nemzetkozi Szocialista"*, без номера и даты (газета издана в виде плаката, как экстренный выпуск, 18 или 19 декабря 1917 г.).

нии с братьями в Сербии и Черногории в одно независимое государство». На следующий день конференция Революционного Югославянского Союза приняла резолюцию, в которой, в частности, указывалось:

> «Революционный Югославянский Союз как организация иностранных политических эмигрантов не имеет права вмешиваться в партийную борьбу в России, а, как организация, рожденная революцией, остается верной великим нашим идеям и будет стоять на страже добытой свободы. Для освобождения угнетенного народа одобряются все средства, не исключая и террора, в борьбе за скорейшее осуществление народного идеала. С благодарностью за обретенные права свободного развития революционного югославянского движения собрание приветствует все народы Российской Федеративной Республики в надежде, что мы будем иметь в их лице сильного защитника».

Резолюция призывала также в случае заключения сепаратного мира, «развернуть энергичную агитацию против возвращения военнопленных в несвободные области с тем, чтобы они не стали вновь пушечным мясом империализма», т.е. не были призваны в армию.

Советское правительство, однако, не устраивал «нейтралитет» югославских военнопленных в русской революции, а тем более их надежды на создание югославянского национального «буржуазного» государства. Поэтому уже 27 января 1918 г. издающаяся в России на сербохорватском языке пробольшевистская газета «Земля и воля» призвала югославянских военнопленных и солдат объединиться в борьбе за «красную свободную социалистическую Югославию».

Днем позже декрет СНК объявил об организации Красной армии. Согласно декрету, армия строилась по принципу добровольности, а ее солдаты брались государством на полное обеспечение и сверх того получали зарплату в размере 50 рублей в месяц. На призыв советского правительства первыми откликнулись военнопленные.

Нужно ли удивляться этому? Во-первых, у военнопленных не оставалось иного выхода, как записываться в Красную ар-

мию. Зимой 1917-1918 года выбор у них был невелик: между армией и *лагерем*, пайком и *голодом*, жалованием и *безденежьем*, кровом и *бездомным скитанием*, медицинским обслуживанием и *гибелью от эпидемий*. Формально приравненные к советским гражданам, военнопленные фактически оставались бесправными. При все сокращающемся числе действующих предприятий и росте безработицы именно рабочие-военнопленные первыми оказывались выброшенными за заводские и фабричные ворота. Лишь несколько позже из них стали формировать «рабочие батальоны», прообраз трудовых армий Троцкого. Из лагерей же выход для них был только один — в Красную армию.

По отрывочным документам того времени с трудом восстанавливается картина «добровольной записи военнопленных» в ряды РККА. Типичной является телеграмма начштаба 4-й армии советских войск Южных республик Г. Барабаша, посланная 14-го апреля 1918 г. комиссару I-го Югославянского полка В. Шпрайцеру: «Немедленно оповестить, как идет работа по организации боевой единицы и сколько человек, не желающих поступить. Из одних и других соорганизовать отдельные команды и ждать дальнейшего распоряжения. Сколько нужно денег для борцов? Немедленно вышлем». Военнопленные, отказавшиеся вступить в интернациональные отряды, квалифицировались не иначе, как «контрреволюционеры». В лучшем случае таких оставляли в лагерях для дальнейшей идеологической обработки и отправки на родину. Учитывая все это, естественным кажется, что к сентябрю 1918 г. ни в лагерях, ни в рабочих центрах не осталось сколько-нибудь существенного количества «свободных» военнопленных, не находившихся еще «на службе у революции».

«Правда» объясняла «порыв» иностранных военнопленных их желанием «совместно с русскими рабочими и крестьянами... бороться с контрреволюцией». Из военнопленных, стремившихся вырваться из лагеря или же обеспечить себе пусть минимальный, но стабильный материальный достаток; из интернационалистов, менее всего хотевших воевать на фронтах гражданской войны, подвергая себя серьезному риску, формировались позднее «элементы несознательные и безучастные». Будучи зачисленными в армию, они нередко оставались в ней до момента

отправления на фронт, а в ночь перед отправлением — сбегали. Впрочем, однажды вступив в РККА, они не имели права покинуть ее до истечения срока договора, а в случае побега приравнивались к дезертирам и подлежали аресту.

В первой половине 1918 г. многие интернационалисты отказывались принимать участие в сражениях на фронтах гражданской войны.

Есть указания на то, что уже в 1918 г. начались насильственные мобилизации военнопленных в Красную армию. Так, 29 мая Самарский ревком под председательством В.В. Куйбышева объявил город на военном положении и в последующие три-четыре дня мобилизовал в армию свыше двух тысяч человек, в основном, рабочих-коммунистов и интернационалистов.

Военнопленные вступали также и в красногвардейские отряды, создававшиеся в основном из иностранцев и коммунистов. В Киеве, например, в начале 1918 г. была сформирована Красная гвардия Югославянского революционного союза (ЮРС). Отряд возглавил Йован Шипош. Уже в феврале ЮРС приняла активное участие в коммунистическом мятеже в Киеве. Югославский Революционный Союз располагал не только гвардией, но и особыми «югославянскими рабочими дружинами», сформированными на основании приказа Главнокомандующего Юго-Западным фронтом от 8 ноября 1917 г.

Наряду с ЮРС в России существовал и Югославянский Союз, созданный в декабре 1917 г. по рекомендации сербского посланника М. Спалайковича в качестве филиала лондонского Югославянского комитета. В отличие от пробольшевистского ЮРС, Югославянский Союз придерживался демократической направленности. Российский филиал Союза возглавляла группа интеллигенции. Прельстившись провозглашенным большевиками в демагогических целях лозунгом самоопределения народов, Югославский Союз, тем не менее, апеллировал не к советскому правительству, а к «Русскому Учредительному собранию и всем демократическим организациям в России». Хотя большевистское правительство пока еще было не в состоянии прекратить деятельность Союза, так как последний пользовался у югославян некоторым авторитетом и считался сербской правительственной организацией, отношения между советским правительством и

пробольшевистским ЮРС, с одной стороны, и Югославянским Союзом, с другой, приняли напряженный характер и привели к скорому роспуску ЮС.

Вербовка военнопленных в Красную армию и формирование иностранных красногвардейских отрядов приняли массовый характер уже к концу февраля 1918 г. Пропагандистским оправданием послужило нарушение Германией и Австро-Венгрией условий перемирия.

20 февраля 1918 г. в Петрограде на митинге военнопленных была принята следующая резолюция: «Новое наступление немецкого и австровенгерского империализма явится покушением не только на революционную Россию, но и на общее дело пролетариев всех стран. Судьба советской республики прежде всего теснейшим образом связана с будущим всемирной пролетарской революции, поэтому задача и долг каждого военнопленного — защищать эту республику от всяких покушений всеми силами и всеми возможными средствами. Собрание призывает каждого военнопленного предоставить свои силы в распоряжение революции, служить ей с оружием в руках».

Формированию интернациональных отрядов большевики придавали решающее значение. В начале 1918 г. деморализованная антивоенной пропагандой большевиков старая российская армия не представляла из себя существенной военной силы. Боеспособные ее части, опасаясь братоубийственной гражданской войны и окончательно запутавшись в политических интригах многочисленных социалистических партий и социалистов, предпочитали оставаться нейтральными и не участвовать в революции. В той обстановке вакуума, когда царская армия фактически уже не существовала, а РККА еще не была создана, отряды Красной гвардии и интернационалисты были единственным резервом советского правительства, который можно было немедленно двинуть против внешнего врага, прежде всего, Германии и Румынии. Прибыв по поручению Ленина на Украину для заготовки продовольствия для России и организации Красной армии, Орджоникидзе обратил внимание прежде всего на формирование интернациональных отрядов. В телеграмме, посланной в Совнарком 4 марта из Харькова, он писал: «Сегодня приехал из Одессы. Там борьба с румынами продолжается.

Соорганизованы добровольцы — отряды из румын и сербов. Отряды красногвардейцев двинуты против румын и германцев».

Для того времени характерно следующее сообщение «Красной газеты»: «Харьков, 25 марта 1918 г. В Феодосию прибыла со своим штабом Одесская Красная Гвардия. Горо́д принял интернациональный характер. Расхаживают вооруженные китайцы-большевики из отряда международной гвардии. Масса румын, сербов и других народностей. Прибыли румынские части, ушедшие из Одессы ввиду приближения неприятеля».

Интернациональные отряды формировались не только в провинции, но и в центральных городах России. Уже в марте 1918 г. Бела Кун и Тибор Самуэли возглавили организацию московских интернациональных отрядов, а 2 апреля началось формирование 1-го Интернационального батальона Красной армии в Петрограде.

В создании интернациональных отрядов большую роль сыграли т.н. организации военнопленных. Первоначально образованные для ведения большевистской агитации среди военнопленных и защиты их экономических интересов, эти организации скоро взяли на себя решение многих политических и военных вопросов. Число членов таких организаций постоянно росло не только благодаря агитации, но и по причинам экономическим. В Оренбурге, например, работа предоставлялась в первую очередь членам организаций и лишь в последнюю — всем прочим членам. Экономические санкции переплетались с карательными.

Карательные санкции применялись не только в отношении пленных-офицеров, но и простых солдат. Операции по «очистке» городов от «контрреволюционных» военнопленных проводились в различных частях страны во втором квартале 1918 г. В Москве, например, репрессии приняли наиболее массовый характер в мае, после того как 20 апреля президиум Моссовета, заслушав доклад ВЧК «об использовании иностранными разведками военнопленных в борьбе с советской властью», вынес постановление «о мерах борьбы против контрреволюционно настроенных военнопленных». В постановлении, в частности, говорилось:

I. 1. Все военнопленные, проживающие в городе Москве, со дня издания настоящего приказа в семидневный срок должны явиться в участковые милицейские комиссариаты для проверки документов.

2. Не явившиеся в течение семи суток будут арестовываться и предаваться суду.

3. Всем домовым комитетам предлагается следить за явкой военнопленных в назначенный срок.

4. За неисполнение настоящего приказа домовые комитеты будут отвечать по всей строгости революционного закона[...]

III. Признать необходимым всех военнопленных, не имеющих разрешения советов на право жительства на частных квартирах, интернировать в особых концентрационных пунктах.

IV. Поручить комиссии из представителей военного комиссариата Московской области, комиссариата по иностранным делам Московской области и комиссариата по демобилизации в двухдневный срок рассмотреть вопрос о создании органа, заведущего военнопленными; поручить т. Фриче организовать названную комиссию.

V. Признать необходимым временно передать заведывание военнопленными в Военный комиссариат Московской области.

Советское правительство конечно же стремилось к полному контролю над военнопленными, но в ноябре 1917 — апреле 1918 г. еще нельзя было говорить об абсолютной централизации деятельности большевиков в отношении военнопленных и интернационалистов.

Время от времени возникали неясности и недоразумения. Так, 15 апреля комендант Сердобска Михайлов телеграммой запрашивал ВЦИК: «Можно ли оставить при организации Красной армии в Сердобске югославян, преимущественно сербов, соглашающихся защищать революцию и не желающих ехать во Францию?». Через неделю секретарь Подвойского, наркома по военным делам, Цимблер ответил: «Югославян и сербов можно принимать на общих основаниях с красноармейцами. От них же требуется беспрекословное подчинение советской власти».

Отсутствие четкой государственной политики по отношению к военнопленным сказывалось на темпах мобилизации интернационалистов в армию и ухудшало работу организаций военнопленных. С целью централизации их деятельности в Москве в середине апреля 1918 г. был проведен Всероссийский съезд военнопленных-интернационалистов. Решение о созыве съезда приняла состоявшаяся 14 марта в Москве конференция социал-демократов интернационалистов.

Результаты конференции вызвали у советского правительства большую тревогу. Как вспоминал впоследствии Бела Кун: «Домой! Домой! Мы не возьмемся больше за оружие! — таково было настроение большинства военнопленных». Советское же правительство рассчитывало на другое, на поддержку военнопленными лозунгов европейской коммунистической революции. Тем не менее, несмотря на такие настроения, большинство конференции одобрило создание иностранных коммунистических групп РКП/б/.

Поэтому для советского правительства важно было созвать съезд военнопленных и добиться принятия пробольшевистских резолюций его делегатами. Так как многое зависело от состава участников съезда, их подбор производился крайне тщательно, а делегатские мандаты выдавались лишь «на основании признания советской власти и необходимости революции в Германии и Австро-Венгрии».

Делегаты, примерно 400 человек, прибывшие из многих районов страны и представлявшие более полумиллиона военнопленных, оправдали надежды советского правительства.

14 апреля в Политехническом музее под возгласы «Да здравствует революция!» Бела Кун заявил собравшимся: «Вернитесь [в свою страну] и зажгите всю страну от конца до конца, сломите все препятствия на пути освобождения порабощенных. Превратите в пепел все замки, все дворцы, куда стекается все богатство и откуда широко разливается по стране нищета и голод».

В подробном отчете о работе съезда, опубликованном 16 апреля, «Правда» писала: «От польской коммунистической партии выступил тов. Бронский, выразивший уверенность в неизбежной близкой революции на Западе. От имени румынской

крестьянской революционной партии выступил тов. Генегау с призывом образовать на родине Красную армию. Тов. Бенеш от имени чешской группы при РКП/б/ говорил на чешском языке: «Спасение наше только в социальной революции... Защищайте революцию против всяких империалистов, какие бы они ни были». Затем выступали ораторы от латышской коммунистической партии и от имени Московского областного комитета РКП/б/. Потом говорили ораторы на сербском, на еврейском и на болгарском языках, подчеркивая важность и необходимость социальной революции... Тов. Кольман заявил, что германский и австровенгерский пролетариат взят в плен великой идеей русской революции и что он служит залогом исправления Брестского мира. Те из пленных, которые возвратятся на родину, перенесут туда пожар русской революции; те, которые останутся здесь, вступают в международную социалистическую армию для полной победы над буржуазией»*.

По предложению Московского комитета военнопленных делегаты единогласно приняли следующую резолюцию: «Мы объявляем свое непоколебимое решение взять на себя революционное руководство вооруженным восстанием против наших правительств дома, в Германии, Австрии, Венгрии и Болгарии, и не успокоиться до тех пор, пока и у нас не будут низвержены капитализм, империализм и милитаризм, а на их развалинах не будут воздвигнуты свободные республики советов».

Но успех советской политики по отношению к военнопленным не был полным, пока наряду с вербовщиками-интернационалистами, агитирующими в пользу мировой революции, существовали и действовали официальные национальные миссии иностранных государств, в том числе посольство Сербского королевского правительства. Последнее, по соглашению с царским, Временным, а затем и с советским правительствами, все еще занималось набором югославян в Сербский Добровольческий корпус. Впрочем, при поддержке советской власти на местах организации ЮРС успешно саботировали действия своего правительства.

18 апреля, в день окончания работы съезда военнопленных-

---

* «Правда», 16 апреля 1918 г.

интернационалистов, председатель военного отдела ВЦИК А.С. Енукидзе предложил народному военному комиссариату не вступать более в «положительные сношения» с сербским правительством относительно вербовки югославян в Добровольческий корпус и этим воспрепятствовать агитации сербского правительства и предотвратить потери потенциальных солдат коммунистической революции.

Советское правительство уделяло огромное внимание и делу пропаганды среди иностранцев в России. Как указывалось в ответе ВЦИК революционной интернационально-социалистической организации, «агитация велась в двух направлениях: усиленная вербовка борцов в ряды Красной армии; инструктирование возвращающихся на родину». Было бы удивительно, если бы не сработала советская пропагандистская машина, поставленная на столь широкую ногу. Уже 18 апреля, в последний день работы, съезд военнопленных обратился с воззванием к отъезжавшим на родину «военнопленным, рабочим и крестьянам». Суть обращения сводилась к одному слову: «*Восстаньте!*».

Много внимания уделялось большевиками организации митингов и средствам массовой информации, прежде всего газетам и брошюрам. Югославянский отдел только с 1 апреля по 1 октября выпустил для военнопленных югославян 300.000 экземпляров газет. Из-за нехватки бумаги на «интернационалистские» газеты правительство прибегало к «реквизициям» запасов бумаги у типографий иностранных газет — настолько серьезно относилось оно к делу пропаганды. Тиражи газет не были случайны, но отражали складывавшуюся политическую ситуацию. Так, в связи с мятежом чехословацкого корпуса, самый большой тираж вдруг получила газета «Прукопник свободы», выходившая на чешском. На иностранные языки переводились десятки брошюр, выпускались сотни тысяч прокламаций.

Для ведения большевистской агитации «в лагерях, где сконцентрированы военнопленные, возвращающиеся в Австрию и Германию», федерация иностранных коммунистических групп создавала специальные отряды. Агитаторы засылались и на родину военнопленных для ведения там пропаганды и разжигания коммунистических мятежей. Как указывал отчет ВЦИК революционной интернационально-социалистической организа-

ции, засланные из России агитаторы, «приехав в свои капиталистические страны... способствуют деморализации армии, из их рядов выделяются первые проповедники мыслей, которые они здесь, на территории Советской республики, приняли в свои души».

Сотни коммунистических пропагандистов засылались в части восставших чехословаков и в Мурманск, где сосредоточились незначительные контингенты сербских правительственных войск и десанта Антанты. В провинции создавались коммунистические «группы иностранных рабочих, крестьян и военнопленных». А для «всесторонней работы среди югославянского пролетариата на агитационном и организационном поприще» в сентябре 1918 г. были созданы курсы агитаторов при южнославянской группе РКП/б/.

На курсы принимались лица, согласившиеся после окончания курсов «продолжать вести революционную агитацию по указаниям Югославянской коммунистической группы». В период обучения курсанты обеспечивались жильем, питанием и стипендией. В течение 1918 г. курсы закончило 80 югославян. Они были направлены на работу в различные районы России и воинские части, в которых служили югославяне. Удостоверения «на право вести агитационную работу среди югославян» раздавались и многим югославянским коммунистам. Они ездили по русским городам, устраивая митинги и организовывая коммунистические ячейки среди иностранных рабочих и крестьян. Уже с апреля по всей России разъезжали со спецудостоверениями агитаторы для вербовки добровольцев в «интернационально-коммунистическую красную армию как из среды русских, так и из среды военнопленных».

Русские записывались в интернациональные части редко. Так, в Самаре, например, согласно докладу инспектора пехоты т. Семенова, в 1-м социалистическом революционном югославянском отряде «все солдаты — старых сроков службы, сербы, и среди них только четверо русских... Отряд прибыл с целью формироваться из сербов и боевых русских, чтобы в этот отряд вошли только те, которые стоят за советскую власть».

Формирование интернациональных отрядов производилось совершенно открыто и официально. В кампаниях по вербовке

иностранцев в армию активное участие принимали советские правительственные газеты. Вот типичное для того времени объявление в газете «Калужская Правда» о записи добровольцев в Красную армию: «Солдаты, чехи, словаки, сербы, хорваты, словенцы, поляки, румыны! Все, кому дороги идеи русской освободительной революции, записывайтесь в ряды образцовой добровольческой советской армии Южных республик... Пункт записи — Москва, 1-я Мещанская, 27» (18.IV.1918 г.).

В июне 1918 г. одна из самарских газет опубликовала воззвание «губернской коллегии по формированию Красной армии и окружной секции по формированию югославянских советских войск»: «Сербы, хорваты и словенцы и все югославянские революционеры! Решительный момент настал!... Все к оружию, товарищи! С радостным сердцем идите спасать русскую революцию, сознавая, что только в спасении русской революции будет спасение и освобождение нас и угнетенных всего мира. Товарищи югославяне! Все в ряды Красной армии! Все к оружию! Да здравствует свободная трудовая Россия! Да здравствует всемирная революция!»

Наряду с воинскими частями, состоявшими исключительно из иностранцев, создавались не только смешанные русско-иностранные советские части, но и так называемые «интернациональные легионы». В Московский интернациональный легион, например, могли записаться граждане РСФСР, «говорящие хотя бы на одном иностранном языке, и граждане нейтральных или союзных стран, стоящие на платформе защиты Советской власти и признания Интернационала»*... Вступающий в легион должен был служить не менее 6 месяцев.**

Организацией интернациональных отрядов занималась и Федерация иностранных групп РКП/б/, созданная в мае 1918 г. по решению ЦК РКП/б/ и состоявшая из немецкой, венгерской, югославянской, румынской и чехословацкой коммунистических

---

* «Известия Народного Комиссариата по военным делам» от 4 июня 1918 г.

** Интернациональный легион в Москве существовал уже в мае 1918 г. 22 мая в помещении театра «Унион» состоялся первый митинг бойцов легиона. Легионеры поклялись защищать советскую власть до самого конца (см. «Правда», 23 мая 1918 г.).

групп. Федерация была подотчетна ЦК РКП/б/ и действовала под его руководством. 16 июня она обратилась «к иностранным трудящимся с призывом встать на защиту советской республики». Воззвание было опубликовано на многих языках в виде листовок и объявлений в газетах.

В первой половине 1918 г. крупнейшей воинской единицей, имевшей в своем составе огромный процент интернационалистов, была так называемая 4-я армия, одна из пяти армий, бывших под командованием главкома по борьбе с «контрреволюцией» на юге России В.А. Антонова-Овсеенко. На полтавском направлении действовала 4-я армия под командованием вначале В.И. Киквидзе, а затем Ю.В. Саблина.

Начальником штаба 4-й армии стал Густав Барабаш; он был назначен на эту должность потому, что советское правительство планировало начать массовую вербовку военнопленных в 4-ю армию и ему предстояло возглавить эту кампанию. Уже 16 апреля он разослал во многие губернские советы РСФСР воззвания с призывом к иностранцам вступать в ряды Красной армии.

Первые крупные интернациональные отряды начали вливаться в 4-ю армию 16 апреля. 22 апреля в донесении Антонову-Овсеенко о ходе формирования интернациональных частей, Барабаш писал: «Имеются два батальона сербов, которые направлены на Балашов для формирования в полки. В Воронеже формируются 500 человек пехоты, в Екатеринодаре 1000 мадьяр и немцев, в Москве сформирован батальон пехоты и отправлен в распоряжение главковерха, там же сформированы два эскадрона кавалерии и один дивизион артиллерии.

Комитеты всех национальностей заявили, что посодействуют между своими земляками о поступлении в ряды 4-й армии. Особенно отличились румыны, которые обещали в самый кратчайший срок сформировать 10 тысяч штыков. Через месяц можно рассчитывать на армию в 15-20 тыс. штыков. Я отправился в Балашов вслед за сербами, чтобы взять в свои руки формирование их в полки и чтобы руководить агитацией и набором всех иностранцев Южной России. Если нужен личный мой доклад, прошу приказать, и я, закончив дела с расквартированием частей, прибуду лично. В Москве организован мобилизационный отдел в самом широком масштабе. Отдел разослал уже

совдепам воззвание, прося их содействия относительно набора иностранцев в нашу армию».

К началу мая на службе в 4-й армии находилось до четырех тысяч интернационалистов. Майские прогнозы Барабаша были много оптимистичнее апрельских. В докладной записке командующему армией Барабаш, в частности, писал: «Мною принята делегация из г. Ставрополя от имени 28 тысяч бывших военнопленных всех национальностей, желающих поступить в ряды 4-й армии. Принята также делегация из Екатеринодара от имени 3000 чел. военнопленных и, кроме того, есть большая надежда на окрестности города Цырицына, где сконцентрировано около 40 тысяч бывших военнопленных всех наций».

Образованные в провинции отряды переправлялись в Москву, где находился штаб армии и где происходило окончательное формирование боевых единиц. Как и прочие добровольцы, военнопленные получали зарплату; при этом оклад комиссара доходил до 1000 рублей «на всем готовом с правом пользования автомобилем».

В мае 1918 г. 4-я армия была расформирована. Но интернациональные ее отряды, как самые боеспособные, не распустили, а использовали на ответственных участках фронта гражданской войны, прежде всего на Севере — в Мурманске и Архангельске. В июне 1918 г., например, на Север был срочно переброшен, переименованный в 7-й Московский, бывший русско-сербский полк, считавшийся «наиболее подходящим...как по своей дисциплине, так и по своему командному составу».

Параллельно с набором интернационалистов в 4-ю армию проходила и обычная вербовка военнопленных в другие армейские соединения. Отряды военнопленных входили в части 2-й и 3-й армий и в многочисленные гарнизоны российских городов. Так, 10 мая в Саратов прибыл «остаток сербских боевых сил с Украины» численностью в 300 человек, сформировавших 1-ю и 2-ю сербские роты.

В связи с острой нехваткой кадров командного состава и недоверием к старым русским офицерам, интернационалисты назначались на высокие военные должности. Начштаба Барабаш, являвшийся, кстати сказать, членом ЦИК Югославянской компартии, не был единственным иностранцем, занимавшим

столь важный пост. Должность комиссара 4-й армии, например, занимал Андрия Петрович, а из 120 сотрудников штаба 4-й армии одних только югославян насчитывалось 25 человек. Иностранцы назначались и на военно-административные посты. Так, югославянин А. Стоянович с апреля 1918 г. занимал должность военного комиссара Ленско-Витимского горного округа. В июне 1918 г. иностранцы начали приниматься и на только что открывшиеся «курсы красных командиров». Срок обучения на «офицерских курсах» продолжался три месяца, а на «генеральских» — полгода.

Весной 1918 г. советское правительство провело некоторые мероприятия с целью централизации всей деятельности по организации Красной армии вообще и интернациональных отрядов, в частности. 29 апреля приказом наркома по военным делам были аннулированы мандаты, выданные отдельным лицам для вербовки «добровольцев» в Красную армию. Формирование отрядов Красной армии передавалось в ведение губернских и уездных военных комиссариатов или военных отделов. Несколько позже, 12 июля, Центральная Федерация иностранных групп РКП/б/ постановила «образовать из надежных, убежденных пролетариев крепкий духом коммунистический интернациональный отряд». Ядром нового отряда должен был явиться уже существовавший коммунистический отряд. Согласно постановлению, все члены иностранных коммунистических групп включались в «боевую дружину», которая в случае надобности могла бы «пополнить интернациональный коммунистический отряд». Одновременно Федерация решительно высказалась «против всяких национальных организаций», лишний раз подчеркивая, что военнопленные сражаются не за национальное самоопределение своего народа, но за всеевропейскую коммунистическую революцию.

Некоторые коррективы в советскую политику по отношению к военнопленным принесло заключение Брест-Литовского мирного договора, ратифицированного партийным съездом в марте 1918 г. Комплекс Брестских соглашений предусматривал не только взаимный обмен пленными, желавшими добровольно вернуться на родину, но и запрещение формирования воинских частей из иностранцев. Т.к. большевиков никогда не смущали формальности, уже в апреле 1918 г. был принят декрет о

предоставлении права убежища иностранцам, преследуемым у себя на родине за преступления политического или религиозного характера. Военнопленные, согласившиеся вступить в Красную армию, автоматически получали советское подданство и подписывали специальный договор-обязательство сроком на шесть месяцев. В связи с огромным количеством поступавших в армию интернационалистов, бланки договоров печатались как на русском, так и на немецком, венгерском и некоторых других языках. В особой инструкции о приеме в интернациональные части Красной армии говорилось: «В ряды Красной армии принимаются интернационалисты только по предъявлении *справки* о вступлении в русское гражданство... и документов о политическом соответствии от комитета интернационалистов». Но не было, однако, случаев, когда комитеты интернационалистов отказывали кому-либо в рекомендациях.

Для согласования, объединения и направления деятельности всех учреждений и организаций, ведавших делами военнопленных, гражданских пленных, заложников и беженцев советское правительство еще в конце апреля 1918 г. образовало Центральную коллегию по делам пленных и беженцев (Центропленбеж, или ЦКБП). Несколько позже, в июне того же года, для лучшей централизации деятельности по формированию интернациональных отрядов в Москве по инициативе председателя Федерации иностранных групп РКП/б/ Бела Куна при ВЦИК образуется специальная «комиссия по созданию интернациональных групп рабоче-крестьянской Красной армии». Комиссия работала «во всех пределах РСФСР в полном контакте (политически) с Федерацией иностранных групп РКП/б/». При местных организациях интернационалистов для формирования из военнопленных частей Красной армии образовывались так называемые «военные секции». Из Москвы в разные города России комиссия рассылала своих уполномоченных, в задачу которых входило «устройство политических секций и групп добровольцев для Красной армии» и «упорядочение дела организаций мелких (коммунистических) ячеек в провинции и руководство ими». Но главное, что должны были сделать уполномоченные — «внести в дело формирования известную планомерность и организованность».

Централизация советским правительством всей деятельнос-

ти по отношению к иностранным военнопленным и беженцам безусловно требовала упразднения других организаций, занимавшихся опекой иностранных пленных и беженцев. Так, по рекомендации советского правительства, 20 июля 1918 г. Южнославянская группа РКП/б/ приняла на своем заседании «предложение обратиться в ЦИК с просьбой о создании при Комиссариате по делам национальностей Южнославянского отдела и предпринять шаги для роспуска Югославянской Революционной Федерации». Для ликвидации «ЮРФ» советское правительство имело веские причины.

Созданная в апреле-мае 1918 г., «ЮРФ» окончательно оформилась на конгрессе военнопленных в Москве, но неизменно выступала под национальным лозунгом за освобождение и объединение «югославянской нации сербов, хорватов и словенцев». *Именно эта национальная ориентация Федерации и не устраивала советское правительство.*

25 июля Югославянская коммунистическая группа формально обратилась в Комиссариат по национальным делам с просьбой об учреждении при Комиссариате отдела для южных славян. Двумя днями позже Южнославянская группа РКП/б/ обратилась в ЦК большевистской партии с еще одной просьбой — «принять меры для упразднения Югославянской Революционной Федерации». В тот же день постановлением наркомата по национальным делам был сформирован Отдел южных славян, а уже в августе, согласно месячному отчету Южнославянской группы РКП/б/, «группа предприняла шаги для закрытия контрреволюционной газеты «Слобода» (выпускаемой «ЮРФ» — *Ю.Ф.*) и конфискации ее шрифта». Тогда же было реквизировано и передано Южнославянской группе Сербское подворье, находившееся под управлением сербского архимандрита Михайло.

Однако, «ЮРФ» все еще продолжала свое существование, оставаясь на позициях доброжелательного к большевикам нейтралитета. Советское правительство по мере своих возможностей пыталось использовать «национальную» репутацию этой организации. Так, 14 августа 1918 г. оно распространило воззвание «ЮРФ» к югославянам, находившимся в России, с призывом не участвовать в борьбе против советской власти.

В воззвании, в частности, говорилось: «Мы обездолены и

почти совершенно уничтожены. Не бросайте ваши силы и жизни в разные контрреволюционные авантюры, где бы они не вспыхивали. Вы не должны и никто от вас не может требовать, чтобы вы, вопреки своим чувствам, долгу и совести и сознанию своей революционной благодарности к России, обессиливали ряды наших революционных борцов и так уже поредевшие в продолжение шестилетней войны. Наша борьба еще не кончена. Помните, что наши силы и жизни, которых все меньше и меньше, будут нужнее для нашего полного освобождения от империалистического засилья и всемирного капитала. Еще раз призываем вас к невмешательству в борьбу с русскими революционными трудящимися массами... Сербы, хорваты и словенцы, не нам вмешиваться во внутреннюю борьбу в России». Призыва к активной поддержке советской власти не было и в тексте газетного сообщения о воззвании «ЮРФ», опубликованном 25 августа 1918 г. в г. Царицыне.

Большевики-интернационалисты не могли объяснить себе столь непонятной мягкости советского правительства по отношению к «ЮРФ». Они искренне недоумевали, как и почему советское правительство, не останавливающееся не перед какими карательными акциями, нянчится с организацией, стоящей на почти нейтральных позициях. Дело дошло до того, что югославянские интернационалисты обвинили советскую печать в покровительстве «ЮРФ», заявив, будто «пропаганде сербских офицеров советская печать немало помогала тем, что в советских газетах печатались воззвания Югославянской революционной федерации, призывающие южных славян не принимать участия в борьбе русского пролетариата с буржуазией».

Интернационалисты беспокоились зря. Как указывают советские историки, опубликованные в советской печати воззвания «ЮРФ» предназначались прежде всего для «югославян, вовлеченных представителями Антанты и сербского правительства в борьбу против советской власти (на севере России, в Сибири и в других районах).

Эти обращения «ЮРФ» были напечатаны в советских газетах, так как РКП/б/ и советское правительство использовали любую возможность для ведения разъяснительной работы в войсках интервентов, в том числе и в югославянских частях.

Терпимость большевиков к «ЮРФ» была, таким образом, тактическим маневром. В целом же пути советского правительства и «ЮРФ» все больше и больше расходились. Так, осенью 1918 г. ЧК арестовало сербскую военную миссию и ряд руководителей Югославянской Революционной Федерации, обвинив их в антисоветской деятельности. В ноябре того же года «ЮРФ» была окончательно ликвидирована.

В 1918 г. большевиков поддерживала не только «ЮРФ», но и созданная летом 1918 г. сербская социал-демократическая группа в Женеве. Эта группа была организована находившимися в эмиграции видными членами ССДП Михайло Тодоровичем и Илией Милкичем и была связана с комитетом ССДП в Париже. Социалисты, не испытавшие на себе большевизм, незамедлительно определили, что к власти пришло именно то «социалистическое Российское правительство», о котором «передовые умы человечества» мечтали уже много десятилетий. Большевики предоставили в распоряжение Женевской группы ССДП самую широкую трибуну. В своих пространных обращениях ССДП призывала сербов, находившихся в России, не участвовать в антибольшевистской борьбе и всемерно помогать советскому правительству.

Основной упор советское правительство, разумеется, делало на активизации деятельности отдела Южных славян при Народном комиссариате по делам национальностей. 26 августа 1918 г. было выработано специальное «Положение об отделе южных славян при Наркомнаце». Отдел организовывался из четырех секций: «воинской», «труда», «культурно-просветительной» и «политическо-агитационной».

В положении, в частности, говорилось: «Задачей воинской секции является *формирование национальных рот* для защиты советской власти и для борьбы с ее врагами, а также для того, чтобы к моменту возникновения революции в Австрии и на Балканах имелись хорошо обученные и подготовленные единицы борцов за советскую власть на Балканах, борцов, проникнутых сознанием необходимости диктатуры пролетариата. С этой целью в Москве и, если это позволят обстоятельства, в одном из южных городов Российской Советской республики (в Саратове или в Царицыне) устанавливаются базисы для форми-

рования и обучения таких национальных рот, которые по своем сформировании поступают в распоряжение военного комиссариата для включения их в полки Красной армии. В задачи воинской секции входит, кроме этого, поддерживание постоянной связи с теми из южных славян, которые уже сейчас состоят на службе в разных частях Красной армии, как то: сербские советские батальоны в Саратове, Царицыне и Астрахани. Воинская секция должна путем своих эмиссаров наблюдать за тем, чтобы эти сербские батальоны на юге Советской республики не были использованы в контрреволюционных целях подобно чехословакам.

Секция труда заботится о безработных южных славянах, работая в контакте с биржей труда, организует трудовые коммуны, устраивает сельскохозяйственные курсы. С освобождением Сибири от чехословаков предполагается изучение вопроса колонизации южных славян в Сибири и проведение этого на деле.

Секция политическо-агитационная занимается пропагандой коммунистических идей среди эмигрантов и военнопленных, организует коммунистические ячейки, устраивает митинги, устраивает агитаторские курсы, ведет пропаганду заграницей путем отправки агитаторов и литературы и т.д.

Отдел работает в постоянном контакте с коммунистической группой южных славян. Ответственные посты в отделе занимают только члены Коммунистических партий и групп».

Примерно с конца августа отдел Южных славян начинает свою активную работу. По данным сентябрьского отчета отдела, к этому времени в России находилось приблизительно 700 тысяч югославян, из которых около двухсот тысяч являлись бывшими военнопленными — рабочими и крестьянами. Для большей эффективности деятельности отдела в нем было образовано четыре национальные секции: болгарская, сербская, хорватская и словенская. Практическую деятельность по организации интернациональных отрядов брали на себя советские военные органы. Отдел же занимался, в основном, агитацией славян, распространением пропагандистской литературы и *заброской коммунистических агитаторов и большевистской литературы на родину военнопленных*. Отдел считал своей главной задачей «скорее и сильнее разжигать революцию в южной, центральной

и западной Австрии и на Балканах, где живет около 21-22 миллионов славян, что представляет хороший материал для революции».

Уже в сентябре группа югославянских коммунистов получила мандат на создание «в Царицыне и в местах, прилегающих к Царицыну» коммунистической организации южных славян. В мандате указывалось, что «Царицынский комитет коммунистической группы южных славян» «имеет полное право принимать членов в организацию и исключать таковых, а также право кооптировать в комитет новых членов. Комитет действует согласно инструкциям» ЦК группы южных славян РКП/б/ в Москве, «в полном контакте с Федерацией иностранных коммунистов в Царицыне и с Царицынским комитетом РКП/большевиков/».

На аналогичных началах коммунистическая организация южных славян была создана и в Астрахани. В директивах ЦК южнославянской группы РКП/б/, разосланных в Царицын и Астрахань во второй половине сентября, перед югославянскими организациями ставились следующие задачи: «Пропаганда коммунистических идей среди южнославянских эмигрантов и военнопленных... Вербовка южных славян в Красную армию из лагерей военнопленных и организация коммунистических ячеек из красноармейцев — южных славян». В обязанности организаций входила и «забота» о том, «чтобы все члены организации и вообще все южные славяне, способные к оружию и не состоящие в рядах Красной армии, числились в резерве Красной армии и по крайне мере два раза в неделю обучались военному искусству.

Конечной целью советского правительства являлась максимально возможная мобилизация военнопленных для нужд Красной армии. Планомерность наборов военнопленных в Красную армию обеспечивалась за счет предварительной регистрации иностранцев. Именно с помощью регистрации устанавливались относительно точные данные о количестве военнопленных в том или ином районе страны. Регистрации эти часто производились самими агитаторами-интернационалистами.

В обязанности коммунистической организации южных славян советское правительство вменяло и функции карательные. Организация должна была наблюдать «за деятельностью членов

сербской военной миссии и в случае надобности» принимать «меры для ареста членов и *упразднения* (!) самой миссии»; бороться «с южнославянскими контрреволюционерами, спекулянтами и мародерами» и «исключать» из состава югославянских воинских частей лиц, мешающих «успешной пропаганде коммунистических идей». *За организацией, таким образом, были закреплены широчайшие карательные права.*

Не приходится, конечно, удивляться, что Организация работала в тесном контакте с ЧК, и что многие югославянские коммунисты, состоявшие в рядах югославянских частей Красной армии, *одновременно являлись сотрудниками ВЧК*. Югославянские коммунисты-чекисты-осведомители были теми «ушами» советской власти, с помощью которых большевики уничтожали в зародыше любое проявление недовольства или заговоров в рядах интернационалистов. В этой связи представляется показательной история 1-го сербского советского батальона.

10 сентября 1918 г. царицынская газета «Солдат Революции» опубликовала следующее лаконичное сообщение: 1-й Сербский батальон, в связи с заговором разоруженный по постановлению Чрезвычайной Комиссии, вновь получил оружие и направляется комиссией в Черноярский уезд для проведения мобилизации и хлебной монополии. Выяснилось, что батальон состоит из преданных Советской России революционеров, которые заблаговременно дали знать о контрреволюционном заговоре, несмотря на широкие посулы заговорщиков. Батальоном выделена коммунистическая ячейка. Что же произошло?

Как и было предписано директивами ЦК царицынской южнославянской группе, коммунисты-югославяне вели бдительную слежку за теми из своих соотечественников, которым они не доверяли, прежде всего за всеми офицерами и сотрудниками сербской миссии.

Во второй половине августа 1918 г. югославянские осведомители донесли в ЧК, что, по их сведению, один из сербских офицеров связан с сербским консулом, а последний, в свою очередь, имеет контакты с «контрреволюционной организацией».

Арестованный офицер «признался» председателю царицынской ЧК А.И. Червякову, что в городе существует заговор. Поскольку в те месяцы большевики более всего были заинтере-

сованы в уничтожении партии эсеров, царицынская ЧК объявила заговор зверским и арестовала ряд эсеров-«заговорщиков» во главе с Котовым.

Эсеры, разумеется, ни к какому заговору в Царицыне причастны не были, а поздняя советская историография, пытавшаяся найти связь между арестом эсеров и разоружением сербского батальона, дала следующее, поражающее своей наивностью, объяснение: «Для введения контрреволюционеров в заблуждение ЧК по договоренности с руководством 1-го Сербского советского батальона разоружила его. После окончательной ликвидации заговора батальон получил свое оружие и за помощь, оказанную в деле раскрытия заговора, ему была объявлена благодарность»*. Т.е. батальон помог разоблачить заговор во главе которого стояли эсеры? Ни в коем случае. Эсеры, разумеется, тут были ни при чем. А судя по воспоминаниям видного югославского интернационалиста Н. Груловича произошло примерно следующее.

Командир сербского батальона и сотрудник ЧК Савва Лазич по заданию ВЧК и с ведома Ворошилова, а возможно и самого Сталина сыграл роль провокатора, для вида приняв активное участие в вербовке бывших офицеров и даже солдат сербского батальона для участия в «антисоветском заговоре». Когда число навербованных «заговорщиков» достигло значительных размеров, царицынская ЧК произвела аресты.

А так как репрессиям подлежали и некоторые бойцы Сербского батальона, царицынская ЧК, как заявил позднее Червяков, «из предосторожности» разоружила весь батальон. Впрочем, уже через три дня батальону вернули оружие. Эта бесхитростная провокационная операция позволила царицынской ЧК избавиться сразу от четырех врагов: сербских офицеров, еще не боявшихся вступать в контакт со своей миссией; бывших царских офицеров, проживавших в Царицыне; цырицынских эсеров и потенциально антисоветски настроенных солдат Сербского ба-

* Сербский батальон к 1 августа 1918 г. насчитывал 375 человек. Он находился в подчинении у начальника войск гарнизона Царицына И.В. Тулака. В сентябре 1918 г. этот батальон вошел в состав 1-го Югославянского коммунистического полка интернациональных войск, сформированного в Черном Яре.

тальона. Таким образом, батальон был очищен от ненадежных элементов и подготовлен к новому наисложнейшему заданию: соучастию в истреблении русской деревни — насильственной мобилизации крестьян в Красную армию и проведению в жизнь политики хлебной монополии, конфискации всего имеющегося в деревнях хлеба и прочих продуктов.

Круг деятельности почти пятитысячного отряда югославянских бойцов Красной армии не замыкался на вылавливании русских крестьян для насильственной их мобилизации в ряды Красной армии или командировками «для организации Советской власти и комитетов деревенской бедноты». Интернационалисты служили в продотрядах, ВЧК, Ревкомах, НКВД, ВОХР, милиции и советах; подавляли «контрреволюционные мятежи» и «контрреволюционные выступления» немецких колонистов.*

Энтузиазм югославянских интернационалистов не остановился на одном лишь «преследовании» членов сербской военной миссии, но довел дело до конца — до ареста официальных сербских представителей.

Юрий Фельштинский

* Похоже, что и никаких выступлений не было. Просто респрессиям подвергали немецких колонистов-крестьян, классифицированных большевиками как «немецкая буржуазия». Одновременно дали югославянам возможность сорвать свое зло на «немцах».

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ

ОБ УХУДШЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ЗАКЛЮЧЕННЫХ В СССР

И ОБ УСИЛЕНИИ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ИНАКОМЫСЛЯЩИХ

Основная волна усиления репрессий в СССР началась примерно два года тому назад и она продолжает нарастать — явно по новым указаниям М. Горбачева.

Мы даем лишь краткие, обобщенные сведения об этих репрессиях и новых законодательных актах властей СССР.

1. В лагерях СССР бараки отделены теперь друг от друга запретными зонами, колючей проволкой и общение заключенных из разных бараков в нерабочее время запрещено. За попытки общения строго наказывают. Режим в лагерях приближен к тюремному.

За любое мелкое нарушение режима (не встал при приближении надзирателя, не постриг наголо волосы, ношение ермолки религиозными евреями, обладание религиозными книгами, ношение одежды нелагерного образца, попытка отправить нелегальное письмо, недовыполнение нормы на работе и т.п.) заключенных лишают свиданий, права покупки в ларьке продуктов (на три рубля в месяц), переписки, или бросают в карцер. Если раньше карцер мог быть назначен лишь на десять дней, то теперь есть новинка: после десяти дней могут продлить еще на пять-десять дней этот срок, а потом еще и еще.

В ледяном помещении, без кровати (доска на ночь, и ее кладут на покрытый льдом бетонный пол), без одеяла, в тонком нижнем белье, на пониженном питании (миска супа из гнилых овощей раз в три дня), без медицинской помощи — это практически равносильно смертному приговору, так как воспаление легких и последующий туберкулез неизбежны.

У нас все прибавляются адреса специальных лагерей для лагерных инвалидов, куда посылают умирать тех, кто не может работать на советскую власть. Описание этих лагерей вызывает ужас: на общих нарах гниют полутрупы, не могущие обслуживать себя, лишенные сил

выйти в уборную. Об этом опубликованы уже подробные материалы вырвавшимся на свободу бывшим заключенным-инвалидом Фефеловым.

2. Ранее администрация лагерей имела право помещать заключенных «за нарушение режима» в ПКТ («помещение камерного типа» — внутренняя тюрьма в лагере) на срок до трех месяцев. Теперь этот срок продлен до одного года.

В этих внутренних лагерных тюрьмах пониженное питание, но заключенный обязан работать как на обычном пайке.

Кроме того, администрации разрешено за «лагерные нарушения режима» осуждать заключенных лагерным спецсудом на срок до трех лет с отправкой на спецстрогий тюремный режим (например, в тюрьму города Чистополя и ряд других); этот срок входит в ранее вынесенный приговор.

Но вот появились в Уголовном кодексе РСФСР новые статьи №№ 188 и 191, разрешающие специальным судом осуждать находящихся в лагерях на новый срок, не входящий в предыдущий приговор. Это дает администрации право не выпускать на свободу неугодных ей заключенных под предлогом «неисправившихся нарушителей режима» и держать их в лагерях, по сути, бессрочно.

Вот перечень лишь нескольких жертв этого нового закона:

— *Микола Горбаль*, деятель украинского освободительного движения, получил дополнительно 3 года лагерей в 1984 г. по суду в лагере.

— *Самуил Эпштейн*, математик, арестованный за деятельную помощь полизаключенным, осужден в 1985 г. дополнительно на два года в канун освобождения.

— *Мераб Костава*, музыкант, осужденный ранее дважды за участие в группе по защите прав человека, опять осужден в 1985 г. на два года строгих лагерей.

— *Виктор Гринев*, отказавшийся от советского гражданства и осужденный за это на три года, осужден спецсудом еще на полтора года строгого режима.

— *Александр Шатравка*, осужденный в 1982 г. на три года лагерей за сбор подписей под петицией о разоружении, получил еще два года «за продолжение политической деятельности в лагерях».

Список таких новых осуждений велик: *Н. Батурин, Я. Скорняков, А. Козорезов. Н. Бойко, М. Хорев, М. Жихарев* повторно осуждены в лагерях за веру в Бога.

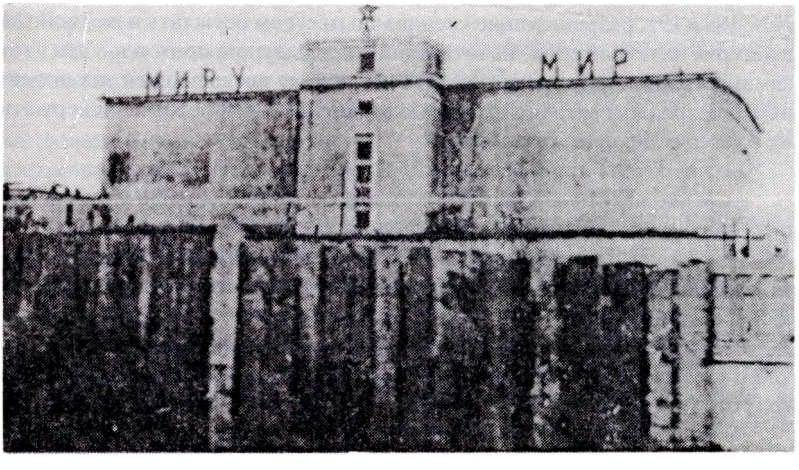
Этот новый закон показывает, что советские власти не хотят выпускать из концлагерей «неисправившихся». Мы и ранее сообщали, что власти СССР, нарушая собственный закон, предусматривающий

предельный срок осуждения в пятнадцать лет, держат заключенных в лагерях и тюрьмах по двадцать-тридцать лет: *Ю. Шужевич* — 32 года, *М. Сорока* — умер после 23 лет лагерей. *Владимир Шелков* умер после 28 лет лагерей и сидел только за веру в Бога «верил без регистрации»(?!).

3. Месячный расход на питание заключенных, как мы ранее сообщали уже более подробно, колеблется от пятнадцати до восьми рублей на человека.

Теперь администрация явно получила разрешение снижать нормы питания в тех случаях, когда сочтет это нужным, для доведения заключенного до отчаяния.

Так, например, стал известен ряд случаев незаконного снижения нормы питания в карцерах: пищу иногда не выдают произвольно по нескольку дней и доводят заключенных до самоубийства или совершения преступлений в камере.



Тюрьма в г. Караганда

Вот выдержка из письма заключенного К. Борисова об одном из таких происшествий: «Я был брошен в карцер и пробыл там шесть месяцев. Вначале пищу (суп и 200 грамм хлеба) выдавали регулярно раз в три дня. Потом начальник режима лейтенант Данилов велел сократить мне выдачу пищи, «как неработающему паразиту», и мне начали давать суп (воду с гнилыми овощами) раз в неделю. После шести месяцев я просто озверел от голода. Когда же ко мне в камеру посадили еще одного заключенного и ему начали давать пищу раз в три дня (суп, кашу, хлеб), и он ее ел, чавкал при мне, то я уже не мог выдержать. Я

ему велел уходить из камеры. Но он не послушался и не потребовал перевода. Я просил его опять... И вот я не выдержал однажды: выхватил у него миску с едой и начал его дико избивать, избил до бесчувствия. Теперь я получил за это еще шесть лет срока. Я очень прошу помочь мне; ведь меня довели до этого избиения».

Неудивительно, что мартиролог жертв лагерей все растет. Между недавними жертвами — *В. Стус, Я. Дирксен, В. Винкелис, М. Тихий, Я. Виголинис, И. Мкртчан, В. Марченко, М. Дикарев* и многие другие.

4. Недавно администрация лагерей получила разрешение «в случае массового неподчинения режиму» открывать огонь, стрельбу по зоне лагеря с вышек.

Мы уже знаем о таких происшествиях: в городе Туле в 1984 г. стреляли по зоне лагеря № 45, заключенные которого работают на «самоварном» заводе (изготовляющем патроны); в Армении охрана стреляла в зону лагеря в городе Ленинакане.

И при этом администрация произвольно конфискует даже жалобы заключенных, лишает их права встречи с родными. Практикой стало лишение заключенных под любыми предлогами «нарушения режима» права на получение посылки от родных (напоминаем, что «право» это наступает только после того, как отбыта половина срока по приговору — тогда можно получить посылку в пять килограммов раз в год). Опять стало практикой избиение заключенных за малейшие «провинности»: бьют, одев наручники. Все это ведет заключенных к состоянию депрессии; часты случаи членовредительства, совершенные в состоянии отчаяния: рубят себе пальцы, руки, вскрывают вены, животы. У нас есть много свидетельств об этих случаях. Вот, например, заключенный *Ю. Брызгунов* из лагеря УЕ-394 в Башкирии сообщает: «Я сижу с шестнадцати лет. Теперь мне 26 лет. На спецстрогом режиме меня держат уже восемь лет; я вижу побои и голод изо дня в день. За все десять лет мне не дали ни одного свидания с родными. Администрация лагеря всегда находит «нарушение режима в моем поведении. А в лагере царит бесправие. Как тут не возражать! Нормы работы невыполнимы, над заключенными издеваются. Часто заключенные протестуют, как могут: вскрывают себе вены, режут животы, рубят на работе пальцы, а то и руки, прыгают со второго или третьего этажа новостроек...».

А вот что пишет в своем письме *Бронислав Гайдис* из лагеря ЯБ-257/3 из Хабаровска: «В лагере у нас распространена пелагра, авитаминоз, мы теряем зубы, а начальство лагерное не выдает посылку, если в ней чеснок, лук... «Перевоспитывают» нас побоями и карцерами; голыми бросают на цемент, морят голодом. В отчаянии — я сам видел — заключенные рубят себе руки, глотают ложки...».

5. В своем поведении напоказ офицеры КГБ сейчас крайне вежливы и любят повторять: «Мы не такие, как в 1937 году». Но это только внешнее, маскарад. В отношении к подследственным они жестоки и методы их все более «совершенствуются».

Так, после «вежливого» допроса и непризнания, подследственного бросают в стоячий карцер, где в глаза ему направлена лампа-«мигалка», дающая сотни колебаний света в минуту; это доводит заключенного до состояния дикого неравного напряжения, потери сознания, истерии. Но мигания так часты, что мучимый даже не знает причины мучений.

В других случаях «вежливый» следователь отправляет непризнающегося подследственного в так называемую «пресс-хату». Это камера, где специально откормленные уголовники группой избивают подследственного и «советуют» признаваться.

Если это не помогает, то подследственного насилуют, делают педерастом, издеваясь при этом.

Эта практика КГБ ныне подтверждена и описана многими свидетелями. Один из последних таких случаев — происшедшее в 1985 г. с *Даном Шапиро*, еврейским активистом. Его сломали в Москве на следствии, избивая и насилуя в «пресс-хате».

Показания о «пресс-хатах» дали до этого *М. Кукобака* о тюрьме города Елец, *А. Смирнов* о Москве, *А. Болонкин* об Улан-Удэ, *С. Солдатов* о Таллине, *В. Сильченко, Д. Захаров* и другие.

Кроме этого есть и показания и уголовников, действовавших по указанию КГБ.

Уже не новость, что советские власти скрывают общее количество политзаключенных в лагерях, тюрьмах, психотюрьмах. Один из методов сокрытия политзаключенных — это направление их в лагеря для уголовников. Наш Центр насчитывает от пяти до тридцати политзаключенных в 2500 лагерях СССР. И всегда администрация лагерей натравливает уголовников на политзаключенных. Мы имеем много таких показаний. Так, например, *А.Шатравка* был доведен избиениями уголовников до попытки самоубийства в лагере города Жантас в Казахской ССР. По его словам, надзиратели еще раз избили его по возвращении из госпиталя, где он находился после попытки самоубийства.

6. За последние два года КГБ СССР направило свои усилия на полную ликвидацию инакомыслящих в СССР, действуя против национальных движений (евреев, украинцев, немцев, татар, прибалтов), против верующих в Бога, не желающих регистрации у властей, печатающих нелегально Библию, сжигаемую властями, как «антисоветская литература». Однако, подпольные типографии действуют, несмотря на постоянные аресты: последние аресты за печатание в Молдавии Библии

в 1985 году это: *А. Боринский, З. Тарасова, М. Шевченко, Б. Яншиевская, Л. Иващенко, А. Яншиевская*.

Часты случаи разрушения целых семей верующих; родителей отправляют в лагеря с лишением родительских прав, а детей в спецдетдома для «перевоспитания»; эти «детдома» являются, по сути, тюрьмами для детей. Уже есть случаи, когда подросших в «детдомах» отправляют в лагеря. А в лагерях упомянутое выше законодательство о присуждении нового срока часто используют именно по отношению к верующим, давая им вторые и третьи сроки. Примерами могут служить семьи *Германюк, Козорезовых, Рытниковых, Юдинцева, Фирсова*; жена Козорезова вынуждена сейчас скрываться от властей и живет на нелегательном положении.

Что касается борющихся за свои права национальных групп, то следует учесть различие их целей: евреи и немцы требуют свободной эмиграции; украинцы, белоруссы, прибалты и многие другие требуют прекращения руссификации их народов и прекращения оккупации их стран; крымские татары хотят вернуться в Крым, откуда их насильно вывезли в Сибирь в 1943 г.

Борьба всех этих групп является реальной угрозой деспотии коммунистов (официально кричащих о «праве наций на самоопределение» во всем мире, но не в СССР).

Все эти движения искореняются арестами, ссылками, высылками, запугиваниями, прямыми убийствами (от убийств дома топором до «автокатастроф»), или избиениями в подъездах, на улице. При арестах сейчас *начали избивать открыто*, в присутствии соседей и близких, чтобы распространялись слухи, что ждет остальных.

В азиатских республиках (Узбекистан, Таджикистан и др.) катализатором роста национально-религиозных движений является война в Афганистане, так так население этих республик воспринимает ее *как борьбу против мусульманства*. Проникающие из Афганистана в СССР партизаны снабжают эти движения как листовками, так и оружием.

Поведение КГБ, директивы Горбачева в 1985-1986 гг. стали абсурдными: преследования за встречи с иностранцами (инвалид без двух ног *Ю. Киселев* был за это зверски избит), за внедрение поп-музыки — аресты; за участие в незарегистрированных демонстрациях за мир — аресты; за исповедание религиозного учения Кришны — аресты (за 1985 г. начало 1986 г. арестовано 35 человек).

7. Молодежь на аресты отвечает усилением сопротивления.

Характерно, что в лагере для политзаключенных-женщин в Мордовии №ЖХ-385/3-4) за период 1983-1986 гг. было 193 забастовки с требованием изменить невыполнимые нормы работы, улучшить пита-

ние, прекратить издевательства. За эти «нарушения режима» женщины бросались в карцеры, осуждались на новые сроки; все идет так же, как описано выше о положении в мужских лагерях («равноправие» женщин в СССР...).

8. Положение еврейских диссидентов значительно ухудшилось за последние два года; преследования властей распространились на верующих евреев, на изучающих иврит, на еврейских детей.

Иосиф Бегун арестован и осужден в третий раз за преподавание евреям их родного языка иврит, а *Евгений Койфман* в 1986 г. осужден за это же на два с половиной года (официально); он обвинен еще и в «наркомании» — ему подбросили наркотики. *Ю. Эдельштейн*, также преподававший иврит, арестован по сфабрикованному обвинению в наркомании.

Зверкие избиения еврейских детей в школах и на улицах (*К. Эльберт* — Киев, *Ави Гольдштейн* — Тбилиси, *Юля Лерман* — Ленинград и многие другие) свидетельствуют о том, что власти используют избиение детей как метод запугивания родителей.

Зверским избиениям подвергают евреев во время следствия и в лагерях: *Надежду Фрадкову* избивали в психбольнице; *Захара Зуншайна* избивают в лагере; *Александра Панариева* (или *Панарева*) избивали в армии (куда он был насильно мобилизован), а теперь избивают уголовники в концлагере; *Иосифа Бернштейна* покалечили, выбили глаз; *Юлия Эдельштейна* зверски избивали в тюрьме и искалечили в лагере; *Дана Шапиро* зверскими избиениями, травлей собаками и помещением в «пресс-хату» (где уголовники его изнасиловали) довели до «признания вины« и публичного покаяния.

9. Все эти проявления жестокости и беззакония нельзя рассматривать, как «местные» нарушения властей. Из новых законодательных актов видно, что именно власти поощряют беззаконие.

Так, например, 13 июня 1985 г. Президиум Верховного Совета СССР принял новое постановление, ужесточающее применение методов психиатрического лечения в отношении здоровых людей, не желающих мыслить коммунистическими штампами.

Теперь карательные органы СССР могут назначать принудительное психолечение в спецпсихтюрьме за «психопатическое развитие личности, которое может быть приравнено к психическому заболеванию», или «за временное расстройство душевной деятельности» (?!).

При таком «диагнозе» можно поместить в спецпсихтюрьму любого человека, так как уже во время следствия КГБ может вдруг решить, что наступило такое «временное расстройство душевной деятельности».

Таким образом, область действия репрессивной психиатрии с приходом к власти Горбачева резко расширяет свои рамки.

10. Другой новый закон — Постановление СМ СССР № 736 от 6 августа 1985 г. запрещает посещение Москвы лицам, ранее осужденным. Специальное разрешение они должны запрашивать за 72 часа до посещения.

Так, например, на похороны близких им надо испрашивать особое разрешение. Без свидетельства о смерти такое разрешение не выдается.

Этот закон делает Москву закрытым городом. В условиях перманентного полуголода в стране это бьет по «мешочникам», приезжающим за хлебом, по больным, стремящимся к специалистам. Осужденным ранее диссидентам отныне невозможно посещать в Москве библиотеки, театры. И, конечно, встречаться с западными корреспондентами.

Теперь для всех них посещение Москвы влечет автоматический арест.

Наш Центр еще в 1980 г. установил наличие использования рабочей силы заключенных в СССР на шахтах по добыче урана и обогащения урановой руды в шести концлагерях, которые могут быть названы лагерями уничтожения; работая там без защитных средств и без спецмасок, заключенные заболевают белокровием и умирают после полугода или года работы.

Сейчас, в 1986 г., в нашем распоряжении есть сведения о сорока пяти лагерях уничтожения, где умирает в год до 200 тысяч заключенных.

Вот показания о таком лагере, полученные от *Б. Аксельрода* в 1985 г.: «В 100 километрах от города Красноярска, по реке Енисей, на правом берегу (напротив пионерского летнего лагеря отдыха) в Сухобузинском районе около поселка Усть-Кан расположены шахты, где добывают уран; рядом расположена обогатительная фабрика. Все это скрыто тайгой. А заключенные живут под землей, в отработанных штреках. Местное население говорит, что этапы заключенных в этот лагерь часты, но из этого лагеря никто не освобождается никогда. Солдаты охраны, посещающие поселок около пионерлагеря для покупки водки, рассказывали мне по пьянке, что в лагере до 20 тысяч заключенных, и они охраняют их снаружи, так как внутри шахт очень сильная радиация».

Данные о лагерях СССР, публикуемые различными организациями, дают лишь отрывочные сведения; дать полную картину ужасов в концлагерях СССР сейчас невозможно из-за секретности, которой власти СССР окружают их.

После падения большевистского режима в России мир содрогнется от сведений о бесчеловечности и показаний очевидцев. Но поздно будет говорить о 80 миллионах убитых властями СССР, как поздно теперь плакать о миллионах жертв нацизма. Поэтому действовать против убийц, узурпировавших власть в России, *надо сегодня*.

Июнь 1986 г.
А. ШИФРИН
Директор Центра исследования лагерей, тюрем и психотюрем СССР

МОИ ВСТРЕЧИ С РУДОЛЬФОМ ШТЕЙНЕРОМ

За свою жизнь у меня было только две встречи с Рудольфом Штейнером. Первая встреча была в 1907 году в бытность мою студентом Политехнического Института в г. Карлсруэ, в Южной Германии, а вторая — в 1910 г., по окончании этого Института, перед отъездом в Россию.

Первой встрече в 1907 г. предшествовали следующие обстоятельства: поступив в Политехнический Институт, я поселился в комнате, сдававшейся семьей местного художника-пейзажиста Карла Плокка. Это был человек с самыми разносторонними интересами в различных областях искусства, литературы, а также вообще в различных культурных течениях тогдашнего (начала XX-го столетия) времени. А главное, это был человек обаятельно-приветливого характера, наряду с достаточной долей добродушного юмора. Он был уже не первой молодости и зарабатывал свой хлеб писанием пейзажей. Он писал, в основном, пейзажи окрестных предгорий Шварцвальда, окружавших Карлсруэ и соседний широкоизвестный курорт Баден-Баден (который, между прочим, очень любил в свое время И. С. Тургенев), а также живописную долину реки Неккар, протекающей возле Гейдельберга с его самым старинным в Германии университетом. Эти его пейзажи охотно покупали приезжавшие в Баден-Баден курортники, а также посещавшие Южную Германию туристы.

Несмотря на нашу большую разницу в годах — он был уже пожилым человеком, а я был тогда еще совсем «щенок» — мы с ним быстро подружились, и он много сделал для меня хорошего, в частности, в области пополнения моего знания европейской культуры.

Здесь я хочу остановиться на одном эпизоде. В эти годы в начале XX-го века, в Европе (и в Америке) возникло вызвавшее большую сен-

сацию (особенно среди физиков и химиков) учение о так называемом «спиритизме». Основоположником этого учения следует, по-видимому, признать известного и даже знаменитого английского физика Вильяма Крукса, основоположника учения о «невидимых» лучах, выдвинувшего теорию о том, что наряду с известными нам физическими силами — теплотой, светом, электричеством и т.д. — существуют еще малоизвестные нам психические силы; причем он считал, что эти психодушевные силы в той или иной мере остаются в виде некоего комплекса и *после смерти человека могут быть обнаружены с помощью некоторых манипуляций.*

Крукс выступил с этим утверждением на заседании Английской Королевской Академии Наук, а также прочел ряд публичных лекций. Это вызвало необычайную сумятицу и ряд ожесточенных дискуссий. Сообщение Крукса нашло свой отзвук в России. Так, в Петербургском университете возникла резкая полемика между такими ведущими химиками, как, с одной стороны, Д. И. Менделеев, а с другой стороны, — профессор Бутлеров, причем Менделеев занял резко отрицательную позицию по отношению к выводам Крукса, подвергая сомнению выводы Крукса, а главное, считая недопустимым механический подход Крукса к проблемам духовного характера.

Бутлеров защищал идеи Крукса. Не остался в стороне от этой дискуссии и Лев Толстой, написавший сатирическую комедию «Плоды просвещения», в которой едко высмеивал увлечение спиритизмом, считая его шарлатанством. Не буду подробнее останавливаться на этом вопросе, упоминаю лишь потому, что все эти разговоры о спиритизме докатились и до нашей квартиры в Карлсруэ; квартирохозяин Карл Плокк и некоторые его знакомые решили сами проверить факты, описываемые Круксом (а впоследствии и некоторыми другими исследователями) и организовали в нашей квартире кружок спиритизма. Естественно, что через некоторое время оказался в числе членов этого кружка и я. В результате получилась достаточная бестолочь.

Главным «медиумом» кружка был еще очень молодой человек (еще моложе меня) *Рихард Заттлер*, сын местного мастера музыкальных инструментов, богато одаренный музыкальными способностями. Во время сеансов он впадал в транс, требовал себе лист бумаги, цветные карандаши и быстро, почти судорожно вырисовывал различные фигуры типа арабесок, заявляя при этом, что через него хочет выявить себя «душа» недавно умершего профессора архитектуры Ратцеля (родственника одного из участников кружка); что в этих фигурах, якобы, выражаются определенные душевные переживания; что, например, синефиолетовый цвет выражает настроение пассивного благоговения, красный — активности, направленной вовне, зеленый и желтый — различ-

ные оттенки чистой мысли, тогда как в *буро-сером находят свое* отражение низменные инстинкты, и т.д. От всего этого появлялось чувство жутковатости и неловкости.

Отец этого молодого медиума — Рихарда Заттлера — был ревностным католиком и, узнав об участии сына в спиритическом кружке, категорически потребовал от него «прекратить общение с нечистой силой», угрожая в противном случае изгнать его из своего дома. Молодой Рихард заупрямился, и тогда отец действительно привел в исполнение свою угрозу. Пришлось как-то выручать бедного мальчишку и мы вместе с Плокком решили хотя бы временно поселить его у меня. Так и сделали. А кружок распустили. Но душевное состояние молодого Рихарда все ухудшалось. Он стал мне говорить, что вот, теперь Ратцель, не дожидаясь его впадения в «транс», «разговаривает с ним» и «нашептывает» ему следующее: «Я сам покончил жизнь самоубийством (вскрыв сонную артерию) и нахожу, что это очень удобный способ уйти из этого мира, с его злом». Не хотите ли и вы последовать моему примеру?».

Я увидел, что это уже совсем плохие шутки и надо принимать экстренные меры. К этому времени мой квартирохозяин (ставший моим другом) заинтересовался антропософией, и мы, предварительно попробовав всякими способами вырвать молодого Рихарда из той беды, в которую он попал, решили попросить помощи у Рудольфа Штейнера, приехавшего как раз в соседний город (Манхайм) для чтения публичной лекции по антропософии. Карл Плокк нашел возможным рассказать ему о нашей беде и попросить его помощи. Штейнер сказал: «Я знаю этот народ, с ними очень трудно, *они, ведь, и слушать ничего не хотят, но давайте попробуем*. Если вам удастся, то привозите его послезавтра вечером ко мне, после лекции я попробую им заняться». В назначенный день я без дальних разговоров сгреб Рихарда и отконвоировал его в Манхайм; к назначенному часу вместе с ним прошел в гостиницу, где остановился Штейнер.

Там в комнате Штейнера произошел (в моем присутствии) следующий разговор: *Штейнер:* «Герр Заттлер, вы, говорят, очень стремитесь вступить в общение с духовным миром? Но знаете что: вы, по-моему, избрали для этого нездоровый и даже, более того, недопустимый путь. Я вам, впрочем, не буду запрещать чего-нибудь, но хочу только попросить вас последовать моему совету, а именно: каждое утро, как только вы проснетесь, спустите с постели *правую ногу*, сказав себе: «Aufrecht stelle ich mich ins Leben», то есть: «Стойко ставлю я себя в жизни». А спустивши *другую ногу*, скажите: «Zuversichtlich gehe ich meinen Lebensweg», то есть: «Уверенно иду я своим жизненным путем».

Кроме того, я посоветовал бы вам ежедневно днем прочитывать хотя бы по полстранички нескольких абзацев из книг «Теософия» и «Как достигнуть познания высших миров». На этом разговор и окончился.

На обратном пути в вагоне Рихард сказал мне: «Ну, Алексей, знаешь, таких людей я во всю свою жизнь не видел, какое благородство во всех его жестах, какая правдивость чувствуется за его словами! На такого человека можно положиться».

Рихард продолжал жить вместе со мной еще около месяца, последовав советам Штейнера и постепенно совершенно оправился. Затем отец отправил его в другой город (Нейменхардт в Северной Германии) на продолжительную выучку к своему старому другу, тоже мастеру музыкальных инструментов.

Примерно через полгода Рихард заехал еще раз к Штейнеру (на этот раз уже по своей инициативе, один, без меня). И вот в разговоре Штейнер спросил его: «А вы герр, Заттлер, не демонстрировали своего голоса кому-либо из учителей пения?» — «Нет, не демонстрировал». — «Так спойте какому-нибудь преподавателю оперного пения, мне кажется, что у вас очень интересный голос».

Вначале Рихард отнесся к «предложению» Штейнера скептически, а затем все же отправился к преподавателю пения. Там, как мне впоследствии рассказал Рихард, имел место следующий разговор:

Преподаватель: «У вас очень интересный голос, и я с удовольствием возьмусь его окончательно отшлифовать». *Заттлер:* «Спасибо, но у меня нет денег, чтобы платить Вам за уроки». *Преподаватель:* «Я буду учить вас бесплатно, а вот когда вы станете знаменитым певцом, — я не сомневаюсь, что вы таковым станете, и разбогатеете, — тогда вы мне и заплатите».

Позанимавшись некоторое время с Заттлером, преподаватель рекомендовал его в Мюнхенский Придворный Оперный театр, куда Заттлер и поступил. Сначала он выступал во второстепенных партиях, а затем стал солистом (преимущественно в операх Вагнера).

В 1910 г. я окончил Политехнический Институт в Карлсруэ и мне надо было возвращаться в Россию, где предстояло отбывать воинскую повинность. Перед отъездом я имел возможность повидать Р. Штейнера, причем счел нужным просить его совета о том, как мне отнестись к предстоящему призыву в армию.

Дело в том, что еще будучи гимназистом, в последних классах гимназии я сблизился с одним из своих однокашников, Н. Н. Гусевым (который, замечу в скобках, в дальнейшем стал «толстовцем», и,

переехав в Ясную Поляну стал даже одним из секретарей Л. Н. Толстого; в советское время Госиздат издал сборник его воспоминаний о Л. Н. Толстом). Гусев, знакомя меня с философскими взглядами Толстого, говорил, что толстовцы демонстративно отказываются от вступления на военную службу, что влечет за собой их немедленный арест и предание суду. Теперь мне хотелось узнать мнение на этот счет Штейнера.

И вот какой у нас с ним получился разговор. После того, как я сказал Штейнеру о моем желании последовать примеру толстовцев, он сказал мне следующее: «Знаете, это будет с вашей стороны, конечно, очень благородным и смелым поступком, но не думаете ли вы, что это будет выглядеть несколько эгоистично?» Я спросил Штейнера: «Не понимаю, доктор, в чем же здесь эгоизм?» Штейнер ответил: «Вы создадите себе очень хорошую личную карму. Но тем самым вы оторвете себя от кармы своего народа. Вы, конечно, читали рассказ вашего великого соотечественника Владимира Соловьева «Три разговора». Сейчас я хочу остановить ваше внимание только на одном эпизоде, на рассказе старого генерала о том, как он, будучи еще молодым офицером драгунского полка, стоявшего на Кавказе вдоль турецкой границы, расправился с отрядом турецких башибузуков, накануне подвергших зверской, необычайно жестокой резне жителей и пограничного селения. Старый генерал заканчивает свой рассказ словами: «Я много грешил на своем веку. И вот, когда я после смерти предстану пред грозные очи Небесного Судии, то только тем и надеюсь оправдаться перед Ним, что расскажу, как я со своим отрядом драгун крошил саблями этих башибузуков, чтобы впредь им неповадно было совершать такие злодейские поступки». Штейнер добавил: «Хочу лишний раз напомнить вам о том, что в свое время (в конце средних веков), когда полчища татар двинулись на Европу, ваша родина, Россия, приняла на себя их удар и тем спасла культуру Европы. Так что всегда ли непротивление злу правомерно?» На этом наш разговор со Штейнером закончился.

В заключение хочу добавить, что судьба обошлась со мной милостиво: в воинской комиссии врачи признали меня негодным для строевой службы; ввиду слабости зрения меня направили в одну из военных лабораторий.

А. Д. Лебедев

БИБЛИОГРАФИЯ

P. A. Florensky. Mnimosti v geometrii (Moskva, 1922); Nachdruck nebst einer einführenden Studie von Michael Hagemeister. München. Vlg. Otto Sagner, 1985 (Specimina Philologiae Slavicae, Bd. 14), 69 c.

О. Павел Александрович Флоренский (1882-1943?) принадлежит к тем деятелям русской культуры, чье наследие успешно замалчивается на его родине и с трудом находит себе исследователей за ее пределами. Дело не только в трагических превратностях судьбы замечательного философа и ученого. Даже вполне любознательная публика в Москве середины 70-х годов знала об о. Павле Флоренском больше по репродукции знаменитой картины М. В. Нестерова «Два философа» (на которой он изображен вместе с о. С. Булгаковым), нежели по изуродованным цензурой современным публикациям или самиздатским машинописям.

Вывихи русской истории нашего века способствовали образованию многочисленных темных мест для ее исследователей. Недоступность архивов в СССР до сих пор обрекала все попытки биографического (или просто библиографического) анализа на довольно бледные результаты. К настоящему времени, вероятно, уже и не осталось в живых даже младших современников Флоренского.

В свете вышесказанного следует признать и приветствовать тот факт, что марбургский ученый Михаэль Хагемайстер проявил завидное рвение в составлении подлинного свода всего доступного биографического материала по о. Павлу Флоренскому. Как, пожалуй, никому из его предшественников, Хагемейстеру удалось уточнить целый ряд дат и фактов из жизни философа.

Важность сведения ценного биобиблиографического материала ни в коей мере не умаляет важности публикации самого текста последней из опубликованных при жизни Флоренского философских работ «Мни-

мости в геометрии». Для нематематиков наибольший интерес в этой книге, вероятно, представляет последняя главка, где автор предлагает «истолкование мнимостей в связи со специальным и общим принципами относительности, по новому освещает и обосновывает то Аристотеле-Птоломеево-Дантово миропредставление, которое наиболее закончено выкристаллизовалось в «Божественной Комедии». Согласно Флоренскому, «область мнимостей реальна, постижима, а на языке Данте называется эмпиреем. Все пространство мы можем представить себе двойным, составленным из действительных и из совпадающих с ними мнимых гауссовых координатных поверхностей; но переход от поверхности действительной к поверхности мнимой возможен *только через разлом пространства и выворачивание тела чрез самого себя*». Прослеживая путь Данте и Вергилия, автор находит предвосхищение неэвклидовой геометрии у гения флорентинского средневековья.

М. Хагемейстер приводит реакцию советской печати: там ценителей теории о. П. Флоренского не нашлось. Все рецензенты видели во Флоренском идеологического врага. Типичен отзыв поэта Сергея Городецкого в «Красной Ниве», назвавшего работу Флоренского образцом «самого необузданного мракобесия». Подобные характеристики охотно припомнили Флоренскому десять лет спустя, когда его вторично отправили в ссылку.

Иной отклик имела работа о. Флоренского среди самостоятельно мысливших представителей русской культуры. Публикатор разыскал ряд уникальных эпистолярных материалов, проливающих новый свет на соотношение «Флоренский — русская культура 20-х гг.». Письмо М. Волошина философу наводит публикатора на мысль о прямой зависимости строк

Земля была недвижным темным шаром,
Вокруг нее вращались семь небес,
Над ними небо звезд и первосилы,
И все включал пресветлый Эмпирей.
Из-под Голгофы — внутрь земли воронкой
Вел Дантов путь к сосредоточью зла.

от работы о. П. Флоренского. Еше ранее М. О. Чудакова обратила внимание на связь между последней главой «Мастера и Маргариты» М. А. Булгакова и интерпретацией Флоренским «Божественной Комедии». М. М. Пришвин в 1930 г. записывает в своем дневнике впечатления о «Мнимостях». Как справедливо отмечает марбургский ис-

следователь, проблема «Флоренский и русская культура» не может быть изучена без пристального анализа работ *А. Ф. Лосева*, который, однако, старался избегать упоминания имени о. П Флоренского.

М. Хагемайстер справедливо указывает на удивительное пренебрежение со стороны западных исследователей (если не простое невежество) к роли Флоренского в развитии современной философской и эстетической мысли в СССР. Он отмечает возрождение интереса к Флоренскому со стороны представителей точных и естественных наук. Именно им удается в последнее время использовать страницы научно-популярных журналов если не для публикаций, то, по крайней мере, для распространения данных об идеях православного ученого. Пройдет, вероятно, еще немало времени, прежде чем работы о. П. Флоренского станут во всем объеме доступными на его родине.

Сергей Шуйский

Книга о лирике Сергея Клычкова

Избранная поэзия. YMCA PRESS, Paris, 1985.

ИМКА Пресс выпускает серию «Избранная поэзия», которая, как сообщает издательство, «ставит себе целью дать в пределах приблизительно ста стихотворений самое главное из широкого наследия лучших русских поэтов». Уже вышли из печати избранные стихотворения Осипа Мандельштама (составитель Никита Струве), Зинаиды Гиппиус (составитель Тамара Пахмус), Сергея Клычкова (составитель Мишель Нике).

Имена Осипа Мандельштама и Зинаиды Гиппиус говорят сами за себя. Что же касается Сергея Клычкова, то его больше знают, как прозаика, чем как поэта, хотя оба, и поэт и прозаик, не пришлись к соцреалистическому двору.

Клычков одновременно и исключительный прозаик и замечательный поэт. Горький говорил, что Клычков чем-то напоминает ему Лескова. А критик Георгий Горбачев видел в Клычкове пореволюционного преемника Алексея Ремизова. Переборчивая и требовательная Анна Ахматова находила, что Сергей Клычков — «своеобразный поэт». Очень тепло отзывался о поэзии Сергея Клычкова Осип Мандельштам.

О друзьях Клычкова — Николае Клюеве, Сергее Есенине и Петре Орешине и говорить не приходится. Для Клюева Клычков — автор «хрустальных песен», для Есенина — «истинно прекрасный народный

поэт», для Орешина Клычков — «стиходей, строки которого пахнут неувядаемой сиренью».

Клычкова затравили. Он погиб в ежовщину. По одним сведениям его расстреляли во время допроса в 1937 году, по другим — он умер как доходяга в советском концлагере в 1940 году. Сборники Клычкова в Советском Союзе не переиздавались, хотя вычеркнуть его имя из русской поэзии 1910-1936 гг. — значит обеднить эту поэзию. Вот почему с такой радостью встречаешь недавно выпущенный ИМКА Пресс сборник.

Сборнику, составленному Мишелем Нике, предпослана статья молодого советского литературоведа, скрывшегося под псевдонимом *А. М.* В аннотации издательства к этой статье сказано: «Это не статья, а выдержки из частного письма 1978 года. Они печатаются без ведома автора. Открытие клычковской поэзии уже в университете помогло автору увидеть поэзию в своем собственном деревенском детстве. «Статья *А. М.* свидетельствует о том, что поэзия Клычкова еще и сейчас находит глубокий отклик у современного читателя, что она еще может за видимым открывать потаенные миры. Автор вступительной статьи чутко и верно раскрывает лирическую сторону творчества Клычкова. Он пишет: «В русской поэзии Клычкову нет равных в умении внушать особого рода интимно-отшельнические настроения: не медитативно-созерцательные, а какие-то первозданно-поэтические, очень цельные своей бесхитростностью... Тихий деревенский пейзаж Клычкова сотворен не по описательно-реалистическим образцам, о чем свидетельствуют символические образы деда (Лесовика), Лады, Лешего и других мифических существ. Составляющие его предметы представляются как бы в сдвинутой перспективе и словно бы в лубочных пропорциях, потребных для «одомашниванья» мироздания».

Клычков, как полагает автор письма, воспринимает обыденное как необычное. Традиционная русская деревня естественно и непринужденно претворяется Сергеем Клычковым в потаенный, сказочный мир.

Сам Клычков, в судьбе которого принял участие либреттист и музыковед Модест Чайковский, родной брат Петра Чайковского, очень любил Четвертую Симфонию классика русской музыки, в которой звучит мотив русской народной песни «Во поле березонька стояла...». Клычков находил, что Чайковский как бы срывает фольклорный мотив, подобно цветку, чтобы поместить его в драгоценную вазу собственных музыкальных идей и настроений. Тогда как он, Клычков,

идет обратным путем: ставит во главу угла не музыкальную идею, а первозданный фольклорный мотив. Так, Лада для Клычкова — не богиня, а зажиточная крестьянка на лесном хуторе.

Повязалась Лада
Шелковым платком,
Ходит Лада в поле
С липовым лотком.
Ходит Лада — сеет,
Вкруг нее синеет.
Взборонена борозда,
Что ни зернышко — звезда.
Ходит Лада в поле
С липовым лотком
По росе ступает
Мягким лапотком
Ходит Лада — сеет,
Вкруг нее синеет,
Из-под белого платка
Выплывают облака.

Критик Петр Коган находил, что для Клычкова характерна «гесиодизация» образов и персонажей как русской народной сказки, так и опер Римского-Корсакова и Глинки на темы русских легенд и сказок. И, действительно, Лель, Бова, Лада, Дубравна в ранних стихах Клычкова — это, скорее, празднично наряженные парни и девки предреволюционной русской деревни, чем собственно мифологические существа.

Была над рекой долина
В дремучем лесу у села.
Под вечер, сбирая малину,
На ней меня мать родила.

Мне виделись в чаще хоромы,
Мелькали к заре терема,
И гул отдаленного грома
Меня провожал до домà.

Ах верно с того я и дикий
С того-то и песни мои,
Как кузов лесной земляники
Меж ягод с игольем хвои.

Чем старше становится Клычков, тем горестнее и «хмурнее» его лирика. Молния разбивает вертоград песен и сказок. Но, в то же время грустящий Клычков вырастает как лирик. Вспоминаются слова Глинки: «В России нет ничего, но есть песни, от которых хочется плакать:»

Село сгорело, у дороги
стоят пеньки. И как убогий
Ветряк протягивает шест.
Не разгадаешь: что тут было,
Вот только спотыкнулся крест
О безымянную могилу.

Нет больше сказки. Осталась страдальческая правда погорельщины.

Золотятся ковровые нивы
И чернеют на пашнях комли...
Отчего же задумались ивы,
Словно жаль им родимой земли.
Та же Русь без конца и без края
И над нею дымок голубой —
Что ж и я не пою, а рыдаю
Над людьми, над собой, над судьбой?
И мне мнится: в предутрии пламя,
Пред бедою затеплила даль,
И сгустила туман над полями
Небывалая в мире печаль.

В этом сборнике представлено лучшее в песенной лирике Сергея Клычкова. Но сугубо личная лирика Клычкова непосредственно и непроизвольно перерастает в гражданскую; гражданские мотивы в поэзии Клычкова мало в чем уступают мотивам лирическим.

В доказательство приведем хотя бы эти, не вошедшие в сборник стихи Сергея Клычкова:

И оттого так горек опыт
И невозвратен каждый шаг,
И тщетен гнев и жалок ропот
Что вместе жертва ты и враг.

Таких стихов у Сергея Клычкова немало. Существенный недостаток сборника «Избранной поэзии» Сергея Клычкова в том, что в нем опущены многие гражданские стихи этого большого поэта. Может быть и стоит в дополнение к этому сборнику выпустить гражданские стихи Сергея Клычкова отдельным изданием.

Не будем, однако, осуждать составителей сборника. В период т.н. «оттепели» КГБ передал Союзу Писателей не весь архив загубленного поэта, а только часть и многое из литературного наследия С. Клычкова все еще остается недоступным.

Вяч. Завалишин

В безбрежном море зарубежной поэзии.

Пятнадцать лет тому назад, подписывая подаренную мне книгу донской поэт *Марк Иловайский* полушутя-полусерьезно заметил:

Писать стихи — быть может, проще
Чем их в рассеянии сбирать...

Как насчет писания стихов — не ведаю, но знаю точно: издавать их крайне трудно и, если хотите, почти невозможно. Причина тому — вызывающая оскомину марксистская формулировка «товар-деньги-товар», или проще: поэтическая продукция в нашем изгнании спросом не пользуется, сборники стихов поэтов-эмигрантов, как правило, так и остаются на стелажах *их* же книжных полок.

Предвижу возражения. Зажиточная итээровская рать и не менее успешное купечество точно усекли веяния момента: в их новых американских домах место советского тридцатитомного Горького или шестнадцатитомной исторической энциклопедии заняли элегантные эмигрантские издания Ахматовой, Мандельштама, Волошина, Гумилева.

Однако, несмотря на почти мертвое состояние эмигрантского книжного рынка, ежегодно из печати выходят сотни поэтических сборников и антологий (да, я не оговорился — сотни!), и в этом — удивительнейший феномен зарубежной поэзии, ждущей своего исследователя. Далеко не все выходящее, однако, равнозначно.

Казалось бы, литература Зарубежья на нынешнем этапе практически не в состоянии создать что-то цельное, значимое, неэпигонское, поскольку она живет в «тени» Солженицына и Бродского. К счастью, это не так. Недавно издательство «Эрмитаж» выпустило первый томик стихов *Льва Лосева* — «Чудесный десант», и книга сразу же стала явлением. Лев Лосев начал писать очень поздно, в тридцатисемилетнем возрасте, уже в эмиграции. Еще раз потерпела фиаско излюбленная советская концепция, что, дескать, в отрыве от родного небосклона и стройных березок поэт существовать не может, он гибнет.

Творчество парижанина Б. Поплавского, харбинцев Перелешина и Колосовой — доказательство обратного: пальма Свободы успешно заменяет березовые рощи... Сейчас стало модным ставить поэтов по ранжиру, с равнением на правофлангового. Оградив Лосева от такой сомнительной чести, можно без лишнего пафоса сказать: «спасибо, мастер». Стихи поэта отточены, свежи, оригинальны, полны находок, а рифмы... рифмы так и просятся в качестве примеров в «Поэтический словарь». Вот первые, почти наугад:

Блеснет Адмиралтейства шпиц,
и местная анастезия
вмиг проморозит до границ
то место, где была Россия
(«Последний романс»)

Политическая поэзия — один из сложнейших жанров. Покорился он и Лосеву:

Прекрасно! Ностальгия по сивухе!
А по чему еще — по стукачам?
По старым шлюхам, разносящим слухи?
По слушанью «Свободы» по ночам?
По жакту? по райкому? по погрому?
По стенгазете «За культурный быт»?
А, может, нам и вправду выпить рому —
Уж это точно свалит нас с копыт.
(«Разговор»)

Восемь строк — восемь образов — Льва Лосева можно цитировать и цитировать, однако, жесткие рамки обзора обязывают. Хочется верить, что о «Чудесном десанте» будут написаны интереснейшие статьи и что книга поэта найдет многочисленных читателей.

Казимеж Вежинский — один из величайших польских поэтов XX-го века. Имя его, к сожалению, почти неизвестно в Советском Союзе. Краткая Литературная Энциклопедия упоминает о поэте лишь однажды: «В группу «Скамандр» входили Ю. Тувим, А. Слонимский, Я. Ивашкевич, Я. Лехонь, К. Вежиньский (в КЛЭ ошибочно вставлен мягкий знак в фамилию поэта). К сожалению, и русский читатель Зарубежья почти незнаком с творчеством выдающегося поэта. Правда, в 1929-м году в Берлине, в издательстве «Петрополис» по-русски вышел сборник К. Вежинского «Олимпийский лавр» в переводе Михаила Хороманского (книгу эту, увы, сейчас невозможно найти). Отдельные стихотворения поэта переводил еще *Олег Ильинский*. *Зоя Юрьева* посвятила творчеству Вежинского многие годы. Благодаря ее труду мы получили прекрасный подарок: книгу «Избранное. Вежинский», недавно выпущенную нью-йоркским издательством «Мост». Этот сборник почему-то прошел мимо внимания критики. Прекрасный стилист и знаток русской и польской литератур, Зоя Юрьева оказалась *конгениальным переводчиком с только ей присущим голосом*. Она умело избежала влияния одного славянского языка на другой, обошла рифы языковой интерференции и сумела передать гармоничность музы Вежинского, ее классический эстетизм и лаконичность. Первый на русском языке сборник стихотворений Вежинского «Избранное» небольшой, в нем всего лишь 96 страниц.

Никакой редактор не позволит мне привести 96 цитат, поэтому ограничусь одной, финалом стихотворения «Русский романс», в котором невозможно отделить Вежинского от переводчицы, а последнюю — от поэта:

За окном канарейка и клетка,
Скрипка вишневая, каждая ветка
Пела о скуке смертельной,
И паровоз уходил безвозвратно,
В мраке рассыпав звездные пятна,
А расписанье висело на станции
За олеандром
Бесцельно.
И уплыла ты по воздуху смело,

Плавно раскинув свободное тело,
И разорвав календарь неудачи...
Рифмы опали тоской нежитейской,
Русской хандрой, нищетою еврейской
На крыши Рязани,
На Витебска дачи.
Видел я, как сонная, реешь,
Ветер же сыплет страниц твоих снежность,
Сыплет на скрипку и на прощанье,
На канарейку, на смерть-расставанье,
На цвет черемухи, на безнадежность...

Нью-йоркское издательство «Эффект» только что выпустило приятную книжечку стихотворений бывшего петербуржца *Вадима Крейда* — «Восьмигранник». Обложка сборника, как и книги Вежинского «Избранное», работы известного художника *Сергея Голлербаха*. «Восьмигранник», однако, страдает одним полиграфическим недостатком, типичным, кстати, для эмигрантских изданий — корешок книги «мертв», на нем нет названия книги и ее автора. Сборнику В. Крейда предпослано двухстраничное предисловие *Саши Соколова*, озаглавить которое можно было бы — «Мнемозина и Каисса». В сборнике В. Крейда «Восьмигранник» восемь разделов, «в каждом из коих по восемь пьес. Восемью восемь?» Символ — шахматная доска. Из восьмистиший поэта запоминается следующее:

Горький запах запустенья,
Пустырек да лопухи,
Сор, забор, уединенье,
Травы тучны, мхи глухи.
Длится тишина, искрится
Редким вкрапленьем слюды.
И умеют в счастье слиться
Сор, эдемские сады...

Антологии Зарубежья, как правило, отличаются высоким вкусом отбора, профессионализмом их составителей. Но нет правил без исключения. Таким печальным исключением стала «Антология любовной лирики» (составитель *Я. Землянин*), выпущенная нью-йоркским издательством «Анакреон». Интенции составителя можно было лишь приветствовать: он хотел объять необъятное — показать, как поэты мира

воспевали любовь. Но в разделе «Россия» не представлены, например, ни Мережковский, ни Гиппиус, ни Аксаков, ни Батюшков, ни Жуковский, ни Дельвиг, ни Лохвицкая, ни Окуджава, но зато есть стихотворения Урина и Туровского(?!). Да и это еще полбеды. В начале книги стихам Шекспира и Пушкина, Байрона и Лермонтова предпослано вступление, озаглавленное — «Вместо предисловия».

Э. Штейн

Русская поэтесса Ольга Капабланка. В популярном романе А. Котова «Белые и черные» есть ее описание: «Пышная прическа светлых волос, огромные голубые глаза, выразительные, тонкие черты красивого лица. Черное панбархатное платье, закрытое спереди, обтягивало ее стройную фигуру. Сзади платье имело глубокий вырез, открывая ровную, красивую спину... Мадам Ольга Чегодаева». Для полноты картины автор решил добавить еще несколько слов: «Из ее рассказов Капабланка понял, что она много читала, много знает и даже писала в русских журналах».

Это «даже», вклинившееся в цитату, выдает, прежде всего, неведение автора. Не будем, однако, строги к Котову — откуда ему знать, что Ольга Чегодаева с ранних лет начала писать, что она родственница Сергея Городецкого, что ее благословил на литературные дерзания сам Константин Бальмонт. Позднее поэтесса расскажет об этом в стихотворении «Птигран».

На томике заглавье: Городецкий.
О Боже, сколько лет и стран
Нас отделяет от порога детской,
Где я когда-то вас звала: Птигран.

Тогда я познакомилась с Бальмонтом
И он на путь меня благословил.

Ольга Чегодаева прожила большую и на редкость интересную жизнь. Она была той, кто скрасила последний период жизни гениального Хосе Рауля Капабланки, она же проводила в последний путь героя Америки, славного адмирала Кларка.

Стихи Ольга Капабланка писала всю жизнь и только сравнительно недавно в Буэнос-Айресе выпустила свой первый сборник «Памяти любимых неживых».

Заголовок книги — «Памяти любимых неживых» соответствует тематической сути стихотворений, но поэтессе удается отодвинуть личное на задний план, выдвигая на первый неразрешимый в нашей литературе конфликт — «поэт и власть». О близком ей когда-то Сергее Городецком поэтесса говорит:

Вы расплатились в низкопробной лести
Похуже, чем придворный подхалим.
Что ж получили вы, Птигран, за это?
Как видно, трусость одолела вас,
И даже ваш прекрасный дар поэта
В трескучей лживости угас.

Стихотворение «Птигран» с его ярко выраженными политическими акцентами занимает в сборнике особое место, выделяясь как своим звучанием, так и своей «социологией».

Ольга Капабланка — поэтесса камерного плана, ее голос чист и искренен. Ее стихи подкупают своей мелодичностью, в них *отсутствует модернистское трюкачество,* они прозрачно легки:

Мне от ночи укрыться нельзя,
Лунным светом она заиграла.
Разлилась серебристая жуть,
И коварная, светлая, пряная,
Не дает эта ночь отдохнуть.

И дальше:

...Я узнала, как чудно сладка
На губах острота поцелуя.
А распелась в саду тишина,
Рассветились на небе дороги,
И в росистом восторге влажна
Укусила трава мои ноги...

Некоторые свои стихотворения поэтесса посвятила миру наших четвероногих друзей. Можно лишь пожалеть, что эти стихи неизвестны детям:

Лилось веселье широко.
О, как изящно и легко
Коты мазурку танцевали
В паркетной белостенной зале
В сияньи восковых свечей.
Всех восхищала дебютантка
Зеленоглазая Белянка,
Из рода славных шеншилей.

К ней подошел тигровый котик,
Которого мамаша Мурка
Представила своей дочурке.
Белянка приоткрыла ротик
И даже вовсе без кокетства:
Они знакомы были с детства.
И он признался, как он рад,
Что много дней тому назад,
Когда совсем еще котятки,
Они уже играли в прятки.

(*«Кошачье Рождество»*)

Книга Ольга Капабланки страдает одним существенным недостатком — ее почти невозможно приобрести. Думается, читатели только выиграют от второго издания сборника «Памяти любимых неживых».

Эдуард Штейн

Русские художники на Западе. Так называется книга Александра Глезера, только что вышедшая в свет в Нью-Йорке в издательстве «Третья волна». Это серьезная и значительная работа. В авторском предисловии Глезер предуведомляет читателя, что «в книгу вошло около сорока живописцев, скульпторов и графиков, представляющих все три поколения художников-нонконформистов и самые разнообразные тенденции, существующие в неофициальном русском искусстве».

«Я решил разбить всех участников книги на три группы, три поколения художников-нонконформистов, — пишет Глезер, — а уже внутри каждой группы расположить их по алфавиту».

«По непонятным причинам отказался от участия в этой книге ряд

мастеров, относящихся к третьему поколению художников-нонконформистов (А. Косолапов, В. Кульбак и И. Шелковский)», — сожалеет Глезер.

К отсутствующим в книге можно, например, добавить имя такого значительного художника, как Игорь Тюльпанов, который живет под Нью-Йорком и выставляется в галерее Нахамкина, зачастую вместе с Шемякиным и Целковым. Стоит упомянуть имена и парижан Любушкина, Воробьева, Андреева, Горюнова — все они самобытные художники. Я полагаю, что их работ нет в Музее современного русского искусства в изгнании, и поэтому их имена не попали в книгу.

И второе замечание. Стоит ли всех зачислять в движение художников-нонконформистов? Некоторые из живописцев никогда к этому движению не принадлежали и оказались на Западе «по причинам личного семейного порядка», а другие просто перестали ими быть. На Западе у всех пути разные и степень нонконформизма здесь иная.

Книга Александра Глезера построена по принципу каталога. В ней присутствует вступление, хронология выставок, биографические очерки, отзывы иностранной прессы. Потребность в подобной книге давно назрела, поскольку коллективные выставки русских художников периодически проходят в большинстве стран свободного мира.

Бесспорен интерес, который должна вызвать эта книга в кругах российской интеллигенции. Как-никак железный занавес препятствует полной информации. Мы видим и слышим наших друзей гораздо лучше, чем они нас. И книга Глезера своей беспристрастной фактографичностью более или менее восполняет этот пробел. Она представляет ценность не только для будущего историка русского искусства, но дает достаточный матриал для размышелний и современному исследователю.

Я знаю лично почти всех героев этой книги. И мне было интересно читать о том, как сложилась судьба заокеанских знакомых, как повлияла на них Америка.

Лейтмотивом в книге проходит тема «Мы и Запад» или «Запад и Мы». Надо учесть, что художники и писатели третьей волны выехали с уникальным опытом жизни, зачастую обожженные и «святым огнем» искусства и «адским пламенем» действительности. Выехали в первую очередь те, кто духовно давно порвал с социальной системой, кто вернул себе независимость в творчестве. Немудрено, что многим из них несладко пришлось и на Западе.

Приведу один пример. Когда я был в Ленинграде, со мной охотно советовался один из администраторов музея «Бобур» по поводу организации выставки «Париж-Москва». Он бывал у меня в гостях, приглашал навестить его в Париже... Но в Париже встретить его мне не удалось. Друзья мне объяснили, что Бобур избегает русских эмигрантов.

Через комиссию Министерства культуры они покупают изредка картины русских мастеров, но явно в расчете на дальнее будущее. Сегодня двери Бобура для русских художников на Западе закрыты, — для живых русских художников. Мастера двадцатых-тридцатых годов заняли почетное место в музейных залах.

Можно сказать, что книга Александра Глезера — первый серьезный справочник по современному русскому искусству. Подход автора к различным живописцам, как и к всевозможным художественным тенденциям, объективен и благожелателен. Конечно, очерк о близком друге Глезера — Оскаре Рабине выделяется среди других: и теплотой интонации, и богатством биографических деталей, и художественным анализом.

Глезер прослеживает изменения в творчестве, которые произошли у многих живописцев, пересекших границу. Как правило, изменился колорит холстов, постепенно исчезли мрачность и угрюмость. Но отнюдь не у всех. Например, Алек Рапопорт, живущий в Калифорнии, не поддался американским влияниям, а Михаил Шемякин, пройдя через несколько метаморфоз, вернулся к сюжетам своей юности, к превосходной живописной серии черепов. Я вспоминаю, как говорил мой питерский друг Громов: «Хочешь знать, какая самая совершенная форма в природе? — Это форма черепа!»

Оскар Рабин высказал свое мнение о книге: «Я читал ее с большим интересом, потому что я практически всех художников знаю. Я думаю, что это книга для специалистов и любителей русского искусства. В России она должна вызвать еще больший интерес. На Западе регулярно издаются энциклопедии и справочники по современному искусству. Так вот, книга Глезера — своего рода первый справочник по современной русской живописи. Работа, в общем, большая и нужная».

Вадим Нечаев

Нонна Белавина. Стихи. Нью-Йорк, 136 стр. 1985.

Имя Нонны Белавиной известно читателям, особенно двух первых волн русской эмиграции.

Нонна Сергеевна Миклашевская, рожденная на берегах Черного моря и пятилетним ребенком вывезенная из родной страны, до Второй мировой войны жила в Югославии. Годы учения в Донском институте сохранили ее русский язык, которым она отлично владеет. Высшее образование она получила на юридическом факультете Белградского университета, но ее истинным призванием оказалась поэзия. Начав писать стихи рано, она не утратила свой дар в трудные годы войны и беженского существования в Австрии и Германии, и принесла его в США, где начала новую жизнь в 1949 году.

В отчетную книгу с кратким предисловием Б. А. Нарциссова, кроме новых произведений, вошли избранные стихи из сборников «Синий Мир» (1961), «Земное счастье» (1966) и «Утверждение» (1974). Многие из них давно известны, ибо Белавина много печаталась в периодических изданиях.

Внешне простые, но отделанные строки Белавиной, не претендующие на новизну формы, легко узнать по удивительному жизнелюбию их автора. Из «Синего Мира» включены стихи, написанные в самые трудные и страшные годы жизни Белавиной в «разбомбленной чужой стране», когда она «покинула все пепелища» и с болью признавалась: «Боже, как горька она/Чаша нашей жизни». Силу и утешение она находила в близости любимого человека и наперекор всему утверждала:

Твердо верю, что все прокатится,
Только сможем ли мы забыть?
Но за все мученья заплатится
Самой ценной радостью — жить!

Стихи, взятые из второй, более зрелой книги поэта «Земное счастье» убеждают читателя в творческом росте автора. Но основная тема остается прежней:

Каждый миг несет с собою чудо!
Жду его, по улице идя.

Все трудности жизни скрашены для Белавиной глубокой любовью к мужу-другу и радостью материнства. Совсем не по-женски поэт не боится старости и убеждает читателя:

... каждый локон седой
Считай высокой наградой.

Однако Белавина признается, что «буянит, как мальчишка/сердце непокорное мое», посылая «дерзкий вызов серебряным листкам календаря».

Стихи из сборника «Утверждение» подчеркивают жизнелюбие автора и углубляют типично белавинскую тему:

Поверьте: стóит самых лучших свеч
Игра, что жизнью называем!

Строки «Из старой тетради» посвящены любви и разлуке. «Новые стихи», наиболее грустные во всем творчестве Белавиной, возвращаются уже подробнее к теме подступающей старости и воспоминаниям об ушедших друзьях. Они как бы подводят итог нелегкой, но счастливой жизни, когда

... щедрой такою судьба была,
Что я и смерть ей прощу.

«Стихи» Нонны Белавиной, собранные под этим названием в ее новой книге, несомненно найдут отклик у многих читателей.

Татьяна Фесенко

КНИГИ НА ОТЗЫВ

Д. А. Антонов. Сегодня (22 июня 1941 — Чернобыль). Чеховград, 1986, 224 стр.

New and old poets of Russia. Translated by Yakov Berger, London, 1986, 48 p.

Л. Геллер. Вселенная за пределом догмы. Советская научная фантастика. Overseas Publ. Interchange Ltd., London, 1985, 443 стр.

Вольфганг Леонард. Революция отвергает своих детей. Overseas Publ. Interchange Ltd., London, 1984, 591 стр.

Бранко Лазич. Никита Хрущев. Доклад на XX съезде КПСС. Исторический очерк. Лондон, 1986, 122 стр.

Валерий Фефелов. «В СССР инвалидов нет! ..» Overseas Publ. Interchange Ltd., London, 1986, 163 стр.

А. Мурженк . Образ счастливого человека или письма из лагеря особого режима. Overseas Publ. Interchange Ltd., London, 1985, 254 стр.

М. И. Володарский. Советы и их южные соседи Иран и Афганистан (1917-1933). Overseas Publ. Interchange Ltd., London, 1985, 241 стр.

Юрий Любимов. Сценическая адаптация «Мастера и Маргариты» М. А. Булгакова. Overseas Publ. Interchange Ltd., London, 1985, 104 стр.

Дора Штурман и Сергей Тиктин. Советский Союз в зеркале политического анекдота. Overseas Publ. Interchange Ltd., London, 1985, 468 стр.

А. Авторханов. От Андропова к Горбачеву. YMCA Press, Paris, 1986, 347 стр.

Виктор Кондырев. Сапоги — лицо офицера. Overseas Publ. Interchange Ltd., London, 1985, 312 стр.

Эли Люксембург. Десятый голод. Роман. Overseas Publ. Interchange Ltd., London, 1985, 313 стр.

А. Мурженко. Образ счастливого человека или письма из лагеря особого режима. Overseas Publ. Interchange Ltd., London, 1985, 254 стр.

В. Некрасов. Маленькая печальная повесть. Overseas Publ. Interchange Ltd., London, 1986, 88 стр.

Надежда Васильева. Стихи. Книга вторая. Изд-во «Старая Москва», Западная Германия, 1986, 112 стр.

А. Шевченко. Разрыв с Москвой. Авториз. перевод. Liberty Publishing House, New York, 1985.

STATEMENT OF OWNERSHIP, MANAGEMENT AND CIRCULATION

(Required by 39 U. s. C. 3685)

1. Title of Publication — The New Review. — A. Publication No. 596680

2. Date of Filing — [as published]

3. Frequency of issue — Quarterly. — A Number, of issues published annually — 4

— B. Annual Subscriptions price $35.

4. Location of known office of publication — 2700 Broadway, New York, N. Y. 10025.

5. Location of the headquarters or general business offices of the publishers — 2700 Broadway, New York, N. Y. 10025.

6. Names and complete addresses of publisher, editor and managin editor — Publisher. The New Review Incorp. 2700 Broadway, New York, N. Y. 10025; Editor Roman Goul , 506 West 113th Street, New York, N. Y. 10025; Editor: Yuri Kashkarov, 2700 Broadway, NYC 10025.

7. Owner: The New Review Inc. — 2700 Broadway, New York, N. Y. 10026.

8. Known bondholders, mortgages, and other security holders owning or holding 1 percent or more of total amount of bonds, mortgages or other securities. — None.

9. For completion by nonprofit organizations authorized to mail at special rates (Section 132.122, Postal Manual).

The purpose, function, and nonprofit status of this organization and the exempt status for Federal income tax purposes. — Have not changed during preceding 12 months.

10. Extent and nature of circulation

	Average No. copies each issue during preceding 12 months	*Actual number copies of single issue published nearest to filing date*
A. Total No. copies (Net Press Run)	1,300	1,300
B. Paid circulation		
1. Sales through dealers and carriers, street vendors and counter sales	60	60
2. Mail Subscriptions	1,067	1,015
C. Total paid circulation	1,127	1,075
D. Free distribution by mail, carrier or other means, samples, complimentary, and other free copies	45	50
F. Copies not distributed	1,172	1,125
1. Office use, left over, unaccounted, spoiled after printing	128	175
2. Returns from news agents		
G. Total (Sum of E & F and 2 — should equal net press run shown in A)	1,300	1,300

11. I certify that the statements made by me above are correct and complete. (Signature of editor, publisher, business manager, or owner) — The New Review, Inc.

12. For completion by publishers mailing at the regular rates (Section 132.121 Postal Service Manual).

Signature and Title of Editor, Publisher, Business Manager, or owner

Oksana Radysh: Business Manager, Secretary & Treasurer

НОВЫЙ ЖУРНАЛ

РЕДАКТОР
ЮРИЙ КАШКАРОВ

■

В 1986 году выйдут ЧЕТЫРЕ КНИГИ

■

Подписная цена на 1986 год 35 долларов
(за 4 книги)

Цена одной книги — 10 долларов

■

ЗАКАЗЫ АДРЕСОВАТЬ В КОНТОРУ
«НОВОГО ЖУРНАЛА»

THE NEW REVIEW, 2700 BROADWAY
NEW YORK, N.Y. 10025

Телефон редакции и конторы 666-1692

Прием по делам редакции и конторы — по понедельникам и средам, от 10-ти до 12-ти час дня